ДОН_новый 16/1

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Орган Союза писателей России, министерства культуры Ростовской области и Ростовского регионального отделения Союза писателей России

Главный редактор Г.В. Студеникина

Общественный редакционный Совет:
А.Г. Береговой, Ростов-на-Дону
В.А. Воронов, Ростов-на-Дону
А.И. Глазунов, Сальск Ростовской области
Н.И. Дорошенко, Москва
Г.В. Иванов, Москва
И.С. Капаев, Черкесск
И.Н. Кудрявцев, Ростов-на-Дону
В.И. Лихоносов, Краснодар
Б.А. Орлов, Санкт-Петербург
Г.Т. Селигенин, Ростов-на-Дону
Б.М. Стариков, Тихорецк Краснодарского края

Учредители: Союз писателей России
Ростовское региональное отделение СП России
Журнал выходит при поддержке министерства культуры РО

Издатель: ООО «Издательство «Донской писатель»

СОДЕРЖАНИЕ:

МЕМОРИАЛ

Людмила Малюкова. *«Ещё не раз вы вспомните меня».* К 130-летию со дня рождения Гумилева. 12+ 4

ПРОЗА

Алексей Береговой. *Дорога на Селиндер.* Роман. (Окончание 1-й части). 16+ 18

Василий Воронов. *Муниципальные люди.* Роман. (Окончание). 16+ 102

Татьяна Грибанова. *Крыльцо для Аграфены*. Быль. 14+ 150

Марина Некрасова. *Пустое.* Рассказ. 16+ 162

Тамара Иванченко. *Лекарка*. Рассказ. 12+ 177

Людмила Хлыстова. *Сколько всего интересного!..* Рассказы для детей. 0+ 195

ПОЭЗИЯ

Абдуллах Бегиев. *Насущней хлеба.* Стихи. 14+ 15

Владимир Молчанов. *Ни найтись... Ни потеряться...* Стихи. 14+ 52

Дмитрий Ханин. *До последней улыбки. Стихи.*14+ 98

Алексей Сазонов. *Маршрутами спасения.* Стихи. 14+ 139

Елена Арент. *С яблочной мякотью.* Стихи.14+ 148

Людмила Андреева. *Не знаешь.*Стихи. 14+ 160

Анатолий Власов. *Капля воска.*Стихи. 14+ 173

Елена Родченкова. *Пришёл серенький.*Стихи. 14+ 185

Николай Пидласко. *Рассвет.*Стихи. 14+ 190

Нина Осташкова-Зенкова. *Пропадаю.* Стихи. 14+ 194

ПУБЛИЦИСТИКА

Николай Коняев. *Святой, отмоливший Русь.* Исторический очерк. 14+ 54

Юлия Жура́влева. *Мой Египет*. Дорожные заметки. 12+ 141

Степан Деревянко. *Полынь не бывает сладкой.* Очерк. 14+ 186

Вячеслав Зименко. *Шоу под дождём*. Антиалкогольное эссе.14+ 191

«КРУТОЯР»

Михаил Шолохов. *Бахчевник.* Рассказ. 14+ 116

Игорь Бондаренко. *О Михаиле Шолохове.* Эссе. 14+ 126

Владимир Моисеев. *Моей Руси – прекрасны отраженья.* Стихи. 14+ 130

Журнал «ДОН_новый» распространяется на территории России и стран СНГ

***

Содержание журнала не всегда отражает точку зрения редколлегии на затронутые авторами темы

***

За точность имён, фактов и чисел ответственность несут авторы

***

Редколлегия оставляет за собой право не разъяснять авторам причины отказа в публикации их произведений

***

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

***

Все произведения в журнале публикуются пока на безгонорарной основе. Авторам предоставляются бесплатно по 2 экземпляра номера журнала (с их публикациями). Присыл авторами своих произведений для печати в журнале «ДОН_новый» считается их согласием на безгонорарную публикацию

Проба пера:

Елена Шевченко. *Посмертно*. Стихи. 14+ 132
Арпи Оганян. *«Весна...»* Стихи. 14+ 132
Анастасия Кнутова. *«Подоконник следы «заметает»...»* Стихи. 14+ 134
Сергей Волошин. *Венчание*. Стихи. 14+ 135
Ирина Дьяченко. *«Нежно и тало...»* Стихи. 14+ 136
Наталья Воронина. *«В сердце — колкие тревоги».* Стихи. 14+ 136
Татьяна Волокитина. *У кромки Млечного порога.* Стихи. 14+ 137

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Владимир Мостипан. *Небесные волны.* Отрывок из фенологического этюда «Грусть ли осень?!» 12+ 198

Условия набора и присылки литературных материалов в журнал «ДОН_новый»

Свои произведения авторы присылают в журнал только электронной почтой по адресам: **donpisatel@yandex.ru** или **don_new@rambler.ru** в программе «**WORD**» без архивирования и макетирования.

***

Рукописи для публикации в журнале «ДОН_новый» принимаются только при соблюдении следующих правил набора:

1. Обязательное использование в наборе буквы «Ё»
2. Не допускается использование знака «дефис» (-) или знака «нижнее подчёркивание» (_) вместо знака «тире» (—) и наоборот.
3. При наборе прозы использовать знак «длинное тире»(—), при наборе поэзии знак «короткое тире» (–).
4. Не допускается установка абзацев текста при помощи кнопки «Табулятор».

Рукописи, не соответствующие условиям набора, рассматриваться не будут.

***

По вопросам подписки на журнал «ДОН_новый» обращаться по адресу:
344002, Ростов-на-Дону, ул. Суворова 10, ООО «Урал-пресс-Юг»,
тел. 8(863) 269-84-00; 269-44-33; 244-12-12; 240-92-15.

ББК 96(2Рос-Рус)56
Д-177
ISBN 978-5-87612-070-7
Литературно-художественный и общественно-политический журнал
«ДОН_новый» № 1, июль 2016 г.
Издатель: ООО «Издательство «Донской писатель»
Над выпуском работали:
Баштовая К.Н., Береговой А.Г., Журавлева Ю.И.,
Кухмистрова Д.А., Лозбенева О.В., Студеникина Г.В., Ханин Д.И.
Фотографии А. Аникина, Н. Бородулина, В. Хлыстова
Главный редактор Студеникина Г.В.
Директор издательства Береговой А.Г.
Тираж 990 экз. т/ф. 8-918-599-67-51; 8-988-567-43-95; 8-918-854-80-59.
e-mail: don_new@rambler.ru

К 130–летию со дня рождения Николая Гумилёва

«Ещё не раз вы вспомните меня…»

Строка, вынесенная в название статьи, взята из стихотворения Н. Гумилёва, написанного в 1918 году и вошедшего в сборник «К синей звезде», изданный лишь спустя пять лет в Берлине в русском издательстве «Петрополис», когда поэта уже не было в живых. Стихи обращены в грядущее и, как показало время, стали пророческими. Вспомнили — почти через вековую давность. И не только вспомнили.

Сегодня Николай Гумилёв по праву в первом ряду звёздных поэтов блестящего серебряного века.

А мне вспомнился 1989 год — столетний юбилей Анны Ахматовой и по этому случаю — научная конференция в Бежецке. Недалеко — Слепнёво, имение Гумилёвых и вокруг памятные места, оставившие яркую печать в жизненных и творческих судьбах двух великих поэтов. Тогда о Николае Гумилёве заговорили после долгого молчания: в серии «Библиотека поэта» впервые издали его сборник стихотворений и поэм, а в московском доме учёных в переполненном зале была прочитана лекция о нём. Заговорили и о его причастности к Таганцевскому делу: статья К. Симонова «Открыто и честно» призывала признать участие поэта в заговоре как «факт данности», а стремление «некоторых литераторов» реабилитировать его неприемлемым; последовавшее за этим выступление компетентного юриста Г.А. Терехова в статье «Возвращаясь к делу Н.А.Гумилёва», ознакомившегося с материалами следствия, доказывало виновность поэта лишь в «недоносительстве» о существовании контрреволюционной организации. Неожиданный поворот вызвал взрывную волну ранее закрытого и сдерживаемого интереса к поэту: всё, связанное с ним, магически притягивало и рвалось наружу.

И вот загадочный Бежецк. Конференция завершилась, и нас решили по-

знакомить с тверскими «палестинами». Слепнёво сразу отпало: сохранился лишь вековой дуб, к которому нужно идти по долгому бездорожью, да обнажённая земля, из которой вывезли в Градницы дом Гумилёвых. Едем в Градницы. По осеннему пути нас сопровождают с обеих сторон голые поля с редкими строениями — и ни деревца вокруг (мгновенно возникают в памяти ахматовские строки: *«Но всё мне памятна до боли тверская скудная земля»)*. Наконец прибыли к вожделенному месту. Первое, что остановило наш удивлённый взор: руины с конусообразным остатком стены и на ней табличка с парадоксальной надписью: «Храм XVIII века. Охраняется государством». В глубине — пустующий дом с мезонином и запертой дверью. (В скольких стихах поэтов он оставил свою бессрочную печать!) За ним под сплошной кроной деревьев небольшое заброшенное. Что-то нас тогда потянуло к нему. И вдруг, не веря собственным глазам, увидели, как на одной старинной, забитой грязью, плите проступила славянская вязь: «**ГУМИЛЁВЪ»**. С трудом установили: могила деда поэта. Но вот что поразило тогда: оказалось, что ни живущие рядом люди, ни «культурная среда», десятилетиями проходя мимо, то ли не замечали, то ли не сочли нужным обратить внимание на это, забытое людьми и Богом, скорбное погребение? Тогда же, в связи с столетним юбилеем поэта, в зарубежной газете «Русская мысль» её редактор Н. Струве заметил: *«Столетие со дня рождения «одного из лучших сыновей» России — поэта, мореплавателя, воина — Николая Гумилёва в его же стране будет замолчано, потому что 65 лет назад, «в какой-то дикой щели», он пал жертвой ленинского террора… Первая жертва от литературы в длинном, нескончаемом мартирологе России, первый в XX веке поэт без могилы»*.

Всё это всплыло в памяти в связи с огромным вниманием к наследию Николая Гумилёва и его незаурядной личности в наше время. Бесспорно, что для сохранения его наследия и изучения, много сделала культурная диаспора русского зарубежья: ею сохранены рукописные труды поэта, прижизненные издания книг, изданы мемуары, исследовательские и критические работы. Традиции акмеистической школы, основанной в России поэтом, в русской эмиграционной поэзии получили наибольшее углубление и распространение. Его «Поэтические Цеха» («Синдики») открывались во многих городах Европы: Париже, Берлине, Таллине, Белграде, Софии, Риме. Дух гумилёвской поэзии свято хранили его ученики: Г. Адамович, Г. Иванов, И. Одоевцева, Н. Оцуп.

Сегодня амплитуда колебаний общества резко «взлетела» в сторону интереса к творчеству и личности поэта. Ныне в Бежецке установлен первый памятник семье Гумилёвых, открыт «Народный музей», десять лет подряд в Слепнёве проводятся поэтические встречи. В Петербурге на ул. Радищева в доме №5, в котором жил поэт, и в Николаевской гимназии, в которой он учился, открыты мемориальные доски, в Академическом университете — мемориальный кабинет. И что не менее примечательно: тяготение к творчеству поэта сориентировало проведение международных конференций, литературных форумов, круглых столов. А в Коктебеле, куда не раз приезжал поэт, совсем недавно прошёл очередной гумилёвский поэтический фестиваль.

Между тем стала востребованной не только лирика, но и драматургия Н.

Гумилёва, к которой сам он был довольно индифферентен. Считалось, что язык его стихотворных пьес мало соответствует сценическому воплощению. Однако пьеса «Гондла» оказалась в числе лучших драматургических произведений на театральных подмостках. И не в столичных театрах, а в Ростове-на-Дону. Вначале 1920 года в городе открылась «Театральная мастерская». Актёры не были профессионалами, но их подлинная страсть к Мельпомене привлекала зрителя. В небольшом зале на 80 мест в ныне реставрированном особняке купцов Черновых, который возвышается на пересечении улицы Большая Садовая и переулка Халтуринский, «ожили» тени далёких времен. О том, что спектакль состоялся и с триумфом прошёл на сцене, поэт не ведал. Об этом событии он узнал от своего друга Ю. Айхенвальда, который по случаю побывал на представлении. Но по пути в Севастополь в июне 1921 года поэт сделал остановку в Ростове, чтобы познакомиться с артистической труппой. К сожалению, декорации были уже разобраны, кого-то не оказалось в городе, и всё-таки артисты представили пьесу её автору в сценическом чтении. Н. Гумилёв был в восторге, пообещал содействовать переезду студии в Северную Пальмиру. Своё слово он сдержал, и вскоре театр обосновался в Питере на Владимирском проспекте, торжественно заявив в январе 1922 года о своём открытии спектаклем «Гондла». Зрители неистовствовали, требуя автора на сцену. Но автора к этому времени в мире земном уже не было. 24 августа 1921 г. по обвинению в Таганцевском контрреволюционном заговоре вместе с другими обвинёнными он был расстрелян на Ржевском полигоне ст. Бернгардовка. После первого представления спектакль с репертуара сняли.

В наше время многое изменилось в освоении и самом подходе к драматургии Н. Гумилё ва, потому как современные театры заметно потянулись к ней. Его «Отравленная туника» обошла многие сценические подмостки. В «Мастерской» Петра Фоменко на Кутузовском проспекте пьесу поставил македонец Иван Поповски, вызвав бурную полемику критики. Один из рецензентов за-метил, что театр из пьесы сделал *«уникальный музей, какой не снился и мадам Тюссо. Вместо восковых фигур — живые актёры, вместо витрин — сцена, нужную атмосферу создаёт и грамотно подобранная музыка»* (М. Шимадина). Другой — воспринял её как «стихотворный памятник» гумилёвской истине, *что «женщина не только человек, а кроткий ангел с демоном свирепым таинственно в ней оба совместились. И с тем, кто дорог ей, она лишь ангел, лишь демон для того, кого не любит»* (И. Корнеева). Конечно, полемика требует дальнейшего углубления и разветвления мысли. Но в «случае» с Н. Гумилевым здесь важен крутой поворот к его творчеству, особые «точки» соприкосновения, поиск новых нестандартных подходов. В связи с этим нельзя не заметить, как потянулась к стихам поэта и наша «романсовая» элита. В 60–70 гг. их исполнение было событием в кулуарном репертуаре ленинградского певца и гитариста Валерия Агафонова. Но записи его голоса на пластинках стали широко доступными только в конце 80-х годов, когда певца уже не было в живых. Сегодня редко кто из известных представителей звёздной эстрады не включает стихи поэта в свой репертуар (А. Малинин «Крест», Ж. Бичевская «Если можешь, прости», Н. Расторгуев «Это было, было», Б. Стоун «Жираф»), их исполняют и театральные артисты (В.

Лановой «Шестое чувство», «Жираф»). Они включены в репертуар лучшего исполнителя романсов нашего времени Олега Погудина. Словом, сегодня Н. Гумилёв признан, как неоспоримый «мэтр» поэзии: воздали должное тому, что замалчивалось десятилетиями.

Для историков литературы это имя связано с реформированием русской поэзии начала XX века — времени, когда символизм, с его соловьёвской «двумирностью» и отблесками зыбких те-ней, уходил в прошлое. Требовались новые художественные формы, иные оживляющие поэтиче-ский стих философско-эстетические критерии. В 1913 г. Н. Гумилёв пишет статью-манифест *«Наследие символизма и акмеизм», в которой заявляет о завершающем круге символизма и противопоставлении его мистическим устремлениям к «непознаваемому» «стихии естества»*. Впервые в его публикациях (и в целом литературном мире) возникает незнакомое слово «акмеизм» (от греческого слова acme— высшая степень), ознаменовавшее появление оригинальной поэтической школы, как поворот в сторону нового реализма. Декларирование конкретно-чувственного восприятия «вещного мира», ориентация на «классицистические» каноны стиля, возвращение слову его изначального смысла, всё это, при всей эклектичности и противоречивости ряда утверждений, воспринималось как новый виток в глобальном литературном процессе. Обесценивание слова (*«Но забыли мы, что осиянно/ Только слово средь земных тревог»*), утрата его магического значения, когда *«Солнце останавливали словом,/ Словом разрушали города»*, требовало и определённого круга учителей, среди них: Теодор Готье, Виктор Гюго, Леконт де Лиль, «проклятые» поэты Верлен, Бодлер, Рембо, ценимые за *«беспощадную точность и сжатую экспрессию»*. Из русских поэтов особое предпочтение отдавалось И. Анненскому, заменившему традиционную поэтику рационального исследования и представления переживаний на поэтику ассоциаций. Разумеется, список учителей был гораздо шире и внушительнее. Впрочем, вести речь о Гумелёве, как о поэте исключительно акмеистской «сущности», едва ли правомерно. Это немало ощущал и сам он, отмечая в своей статье символизм, как «достойного отца» акмеизма, тем самым признавая и себя его преемником. Отзвуки «достойного» предшественника — звучат и в более поздних стихах поэта: *«И совсем не в мире мы, а где-то/ На задворках мира средь теней…»* Достижения символизма в области поэтического языка, звуковой партитуры, живописной палитры оставались для акмеистов всё-таки жизненно важными.

Но невольно возникает закономерный вопрос: в чём тайна поэзии Н. Гумилёва, этого трагического мастера, заставившего в наше апокалиптическое время так интенсивно потянуться к нему? Несомненно, в волевом «нерве» гумилёвской поэзии неожиданно открывается то близкое и чаемое в тоске по сильной мужественной личности, что так катастрофически обесценено и утеряно нами. Неуёмная страсть поэта к овладению пространством (морями, небом и землёй), трагическое ощущение себя «посреди странствия земного», максималистский стоицизм, порождающий презрение к смерти, культ дружбы и чести, к тому же космический размах духа в «контексте» с высокой техникой стиха и его заразительно эмоциональным воздействием — всё это, как,

впрочем, и многое другое, влечёт и располагает к её глубокому постижению. В то же время грандиозность познания мира, и в первую очередь экзотической Африки (поэт участник четырёх экспедиций, — первый европеец, который с научной целью прошёл по неизученным землям Харрара, древнего Аксума и Тигрэ), её народов и неведомых стран, которые воссоздавались в стихах с той яркой и пленительной живописностью, что сродни уникальной гогеновской кисти, — немало захватывает и покоряет. Конечно, поэзия Н. Гумилёва в новых поколениях, становясь наследством, подвергается своеобразной интерпретации, но она не допускает холодного равнодушия и банальных унификаций. Поражает и сама личность поэта, жизни которого хватило бы ни на один захватывающий приключенческий роман. Его загадочность лишь приоткрывается в противоречивых воспоминаниях современников.

Кажется, за ним потянулся пёстрый шлейф определений: скиталец, неутомимый путешественник, конкистадор, «азартный игрок в жизнь». Уже в раннем стихотворении «Крест» возникает образ безумца, поставившего жизнь на карту призрачной судьбы (*«Весь банк, — закричал, — покрываю я в карте!»/ И карта убита, и я побеждён»*). Инвектива игры врывается и в любовную тему, включая и цикл стихотворений, посвящённых Ахматовой, — первой и несравненной его музе, сердце которой он покорял долго и мучительно: трижды просил её руки, мог преодолеть сотни километров, чтобы издали увидеть её, и в итоге прийти к драматическому финалу: *«Я проиграл тебя, как Дамаянти/ Когда-то проиграл безумный Наль»*. Романтический «имидж» создавал себе и сам поэт. По свидетельству его друга Э. Голлербаха, он «неисправимый романтик, бродяга-авантюрист, неутомимый искатель опасностей и сильных ощущений… любил всё красивое, жуткое, опасное»;*«нёс в себе веру и суеверия, сближающие его с поэтами средневековья, почи-тал астрологов, изучал Кабалу, верил в заклинательную силу амулетов»* (Н. Оцуп). Но вот что писал о нём, близко знавший его, издатель и поэт С. Маковский: «*Настоящий Гумилёв — вовсе не конкистадор, дерзкий завоеватель Божьего мира, певец земной красоты, т.е. не тот, кому поверило большинство читателей, особенно после того, как он был убит большевиками. Этим героическим его образом и до «октября» заслонялся Гумилёв — лирик: мечтатель, по сущности своей романтически-скорбный… всю жизнь не принимавший её такой, какая она есть, убегавший от неё в прошлое, в великолепие дальних веков, в пустынную Африку, в волшебство рыцарских времён и в мечты о Востоке «Тысячи и одной ночи»*.

Вероятнее всего, именно такой образ поэта сопряжён с его подлинной личностью. В одном из своих откровений Н. Гумилёв заметил: *«Ведь мир иным меня вообразил»*. А «воображал» он и охотно верил в облик «железного конкистадора», весело проходящего по «пропастям и безднам», «странного палладина, с душой, измученной нездешним», обольстительного Дон-Жуана, стремящегося «обмануть медлительное время» и т.д. Магический заряд этой романтической «маски» порою был так силён и заразителен, а энергия ритма так упруга и стремительна, что некоторые его произведения, или даже отдельные строки, не уходили из жизни даже в период забвения. Так, например, произошло с его «Капитанами», «покорителями новых земель», мажорные

строки которых врывались в пьесу советского образца Н. Погодина «Оптимистическая трагедия», где женщина-комиссар весьма своеобразно отрезвляет анархическую массу на корабле: *«Тот, кто бунт на бор-ту обнаружив,/ Из-за пояса рвёт пистолет,/ Так, что золото сыплется с кружев,/ С розоватых брабантских манжет»*.

Между тем под маской поэта в глубине души возникал и бурлил такой неуёмный каскад тревожных дум и сомнений, что они «обосабливались» в самостоятельную тему, открывая вещую панораму злой человеческой судьбы. В стихотворении «Думы» это звучит как предопределённый знак «мести» за былое счастье любви, поглотившее всё видимое вокруг. Риторический вопрос: *«Зачем они ко мне собрались, думы,/ Как воры ночью в тихий мрак предместья?»* обнажает по-следовательную смену мучительных «эпизодов», отражённых и читаемых героем «на призрачной скрижали». И вдруг все они обрываются, как в прерванном внезапно фильме на большом современном экране, вселяя неодолимый ужас рокового конца жизни: *«И думы, воры в тишине предместий,/ Как нищего во тьме меня задушат»*.

Обозревая всю масштабность творчества Н. Гумилёва, тотчас возникает его пророческая инвектива собственной трагической гибели. Он словно не допускает иного исхода в своей судьбе, периодически напоминая об этом: *«У жирафьева колодца/ Я окончу жизнь мою», «И умру я не на постели/ При нотариусе и враче,/ А в какой-нибудь дикой щели,/ Утонувшей в густом плюще», «И не узнаешь никогда ты,/ Чтоб в сердце не вошла тревога,/ В какой болотине проклятой/ Моя окончится дорога»*. Предчувствия растут, переходя в зрительные галлюцинации. Незадолго до своей гибели в «Заблудившимся трамвае» поэт «увидит» себя поверженного: *«В красной рубашке, с лицом, как вымя,/ Голову срезал палач и мне,/ Она лежала вместе с другими/ Здесь, в ящике скользком, на самом дне»*. В то же время его прозрения не ограничивались судьбой личности. Их метафизический оголённый «нерв» мощно включался в глобальный космический контекст, приобретая уже «всемирное» обобщение. И здесь Н. Гумилёв, несомненно, выходил к философской идее земного апокалипсиса «поэта непримиримых противоречий» Ф. Тютчева. В монологическом откровении «Больная земля» трагически зазвучало: *«И снова будет торжество./ И снова буду я единой./ Необозримые равнины/ И на равнинах никого»* (Сравним у Ф.Тютчева: *«Когда пробьёт последний час природы/ Состав частей разрушится земных:/ Всё зримое опять покроют воды,/ И Божий лик изобразится в них!»*). Но пустота страшит, а появление нового Бога пугает (*«Так страшно слышать в тишине шаги неведомого Бога»*). Нарастает внутренняя тревога (*«За часом час бежит,/Я падаю во мглу»*). И тогда, как спасительный акт, возникает волевая энергия, стремящаяся разорвать замкнувшийся круг роковой судьбы. Поэт заклинает: *«Но смиряйся, проклятое тело,/ Перед волей железной моей!»*, а о смерти скажет: *«Я с нею буду биться до конца, / И, может быть, рукою мертвеца»*.

Всепроникающий максимализм в поэзии Н. Гумилёва поражает. Как правило, в его поэзии трагические предчувствия сопровождаются испытанием чувств и поступков на предельный «излом». Заложенная А. Пушкиным традиция, ставшая философско-поэтическим изречением: *«Есть упоение в*

бою/ И бездны мрачной на краю», со временем у Н. Гумилёва приобретает своеобразный разветвлённый полифонизм. Обрекая себя на жизнь суровую и тяжкую («Я принял мир и горестный и трудный»), погрузившись в неё, не сетуя («Горько счастлив тёмной я судьбою»), этот обречённо-добровольный выбор поэт воспринимает с лёгкой иронической улыбкой. Но его откровение *«Я вольно выбрал мир наш строгий/ И в этом мире полюбил/ Одни весёлые дороги»* тотчас вызывает, даже при внешнем прочтении, некое чувство «не сопряжённости»: мира «строгого» и «весёлых дорог». Между тем как за всем этим скрыта целая философия жизни, ставшая традиционной в гоголевской ностальгической формуле: *«Скучно жить на этом свете, господа»*, — скука смертная хуже неволи.

Нет сомнения, что поэт исходил из ощущения жестокого несовершенства мира, его безжалостных и неуправляемых метаморфоз («Весь мир — как могила»), который вызывает чувство отторжения. Приняв за основу известную инвективу бытия: *«Есть Бог, есть мир, они живут вовек, / А жизнь людей мгновенна и убога»*, он развивает свою философскую версию человеческой судьбы. Человек — Божье создание. Но, создав, — *«навсегда уступил меня року Создатель»*. Покинутый и обречённый «на самого себя», он становится игрушкой в руках злого рока. Мир предстаёт перед ним как театр абсурда, а *«все мы — смешные актеры, / В театре господа Бога»*. Все «вечные» ценности в нём — с «наоборотными» знаками («Жаль, если Каин рыдает, Гамлет изведает счастье»). От таких лирических откровений становится не по себе, а вместе с этим возникает и тревожный вопрос: *«Что, коль не кончится праздник/ В театре господа Бога?»*. В подобном контексте предстаёт необходимым открытие парадигмы своего спасительного миропространства. Первозданная Африка и загадочный Восток, как арена действий, этой цели отвечают, может быть, как никакой другой. Поэт безмерно покорён и ослеплён этими континентами (*«Сердце Африки пенья полно и пыланья»*). Их яркая экзотика и своеобразная «антология» жизни властно врываются в его книги «Чужое небо», «Колчан», «Фарфоровый павильон», «Шатёр», «Мик». Но, в результате, все они с их неволей, нищетой и рабьим трудом, при всей первозданности, будут далеки от поэтической «райской» мечты. С публицистической достоверностью поэт замечает: *«Мы пустились в дорогу. Дышала трава… И белели средь чёрных, священных камней/ Вороха черепов и костей/ В целой Африке нету грозней Сомали./ Безотраднее нет их земли»*. О жестоком покорении и истреблении народов Африки Н. Гумилёв напишет в цикле стихотворений «Абиссинские песни» с ключевым стихотворением «Невольничья». Он создал великолепный образ африканского «пророка», «жирного негра», восседающего на персидских коврах, *«точно идол в браслетах, серьгах и перстнях»: «Всё расспрашивал он, много ль знают о нём/ В отдалённой и дикой России… Я склонился, он мне улыбнулся в ответ, по плечу меня с лаской ударя,/ Я бельгийский ему подарил пистолет/ И портрет моего государя»*. И всё-таки социальный мотив в его африканской теме весьма приглушён, а порою «тяга» к войне, как «возможности риска и гибельного упоения» в сочетании с «доморощенным конкистадорством», внезапно вырывается на поверхность (*«Завтра мы встретимся и узнаем,/Кому быть*

властелином этих мест»). Неслучайно критика сравнивала его с Киплингом, в творчестве которого идея колониализма носила оправдательный характер. К счастью, таких произведений у Н. Гумилёва немного. Да к тому же подобные «экскурсы» не носили программного характера, а скорее были обусловлены романтической психологией личности, живущей «на уровне» жизненного риска. Более характерен его «заинтересованно-преобразовательный» взгляд на «перспективу африканского континента». Так, пленённый «царственным» Нигером, что *«сражается с хищною стаей песков»*, поэт не отступает от своей мечты «преобразователя мира», с уверенностью утверждая: *«Я тебе, о мой Нигер, готовлю другую/ Небывалую карту, отраду для глаз./ Я широкою лентой парчу золотую/ Положу на зелёный и нежный атлас»*. А между тем вся эта великолепная мечта начинает вдруг отдаляться, гаситься идеей всемирной катастрофы. На новом витке творчества Н. Гумилёв возвращается к уже высказанной им ранее тютчевской идее всемирного апокалипсиса, в приближении которого он замечает немало и человеческого фактора: *«Дико ринутся хищные стаи песков/ Из пылающей юной Сахары./ Средиземное море засыпят они,/ И Париж, и Москву, и Афины,/ И мы будем в небесные верить огни,/ На верблюдах своих бедуины»*.

Но очень скоро вся африканская тема в творчестве Н. Гумилева не только потеснится, но бук-вально взорвётся более грозным испытанием для его романтически смелой, увлекающейся и дерзкой натуры. Первая Мировая война станет поворотом в творчестве и всей жизненной судьбе поэта. В отличие от многих известие о ней он встретил в полной готовности. По воспоминаниям современников, «патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоговорочно было и его религиозное исповедание» (А. Левинсон). Через три недели поэт отправляется на фронт, отразив увиденное и испытанное в ряде стихотворений («Война», «Солнце духа», «Наступление», «Смерть», «Пятистопные ямбы», вошедших позже в сборник «Колчан») и фронтовых очерках «Записки кавалериста». Война в них по-прежнему остаётся романтикой риска, азартом охоты, уже знакомых по африканским стихам. В письме А. Ахматовой он напишет: *«Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия. Аналогия почти полная: недостаток экзотичности покрывается более сильными ощущениями… Если бы только почаще бои. Я был бы вполне удовлетворен судьбой»*. «Дивное зрелище», «высокое зрелище», «величественный ужас», крики «ура», сравниваемые с «пением жнецов», «жужжащие шрапнели» — с пчёлами, собирающими «ярко-красный мёд», за плечами воинов — «крылатые серафимы», а сама война представляется как «святое дело», — вся эта атрибутика высокого стиля весьма точно отражает личность поэта — не ведающего страха находчивого войскового разведчика, идущего по краю смертельного карниза и вскоре награждённого двумя Георгиевскими крестами, удостоенного звания офицера. В то же время на этом пафосном витке возникает христианский мотив сострадания и благоволения к слабому и побеждённому (*«Но тому, о Господи, и силы/ И победы царский час даруй,/ Кто поверженному скажет: «Милый,/ Вот, прими мой братский поцелуй!»*), к тому же война для Н. Гумилёва предстаёт и тем мощным энергетическим зарядом, который освобождает от гнетущего безверия, уводит

на спасительный путь жизненного утверждения: *«В немолчном зове боевой трубы/ Я вдруг услышал песнь моей судьбы/ И побежал, куда бежали люди,/ Покорно повторяя: «Буди, буди».* Нельзя не заметить, что акмеистическая «ясность» и «точность изображения» дали возможность воссоздать такие картины и образы боевых событий, которые по стилевому воспроизведению близки фронтовым сообщени-ям и дневниковым записям (*«Мы четвёртый день наступаем,/ Мы не ели четыре дня», «Здесь товарищ над павшим тужит/ И целует его в уста», «Здесь играют марш величавый/ Над едва заметным холмом»).*

Но, находясь в самом пекле войны, уже к концу 1914 года поэт начинает резко менять своё мировосприятие: экспедиционная африканская война слишком не походила на Первую мировую с её газовыми атаками, мощным техническим вооружением, изощрённой стратегий и массовым уничтожением. Он весьма чутко улавливает настроение российского воинства и надломленность собственной души. В письме А. Ахматовой с прискорбием сообщает: *«Рождается рознь между армией и страной. И это не моё личное мнение, так думают офицеры и солдаты, исключенья редки»*, а летом 1915 года, прибыв в отпуск, он будет рассказывать *«о крови, о бессмысленности убийства, о человеческом терпении, о беззащитности людей перед судьбой»*. В Петрограде он часто посещает церковь, — всегда один, предаваясь раздумьям. Всё больше его притягивает религиозное творчество французского поэта Шарля Пеги, погибшего в начале войны. С глубоким интересом читает труды Павла Флоренского, приходит к выводу: *«У человека есть свойство всё приводить к единству, по большей части он приходит этим путём к Богу»*. По утверждению А. Ахматовой, именно, участие в войне дало Н. Гумилёву «понимание России». При всей высокой патетике, сквозь густую канву православия её универсальность начинает заявлять о себе настойчиво и рьяно («Золотое сердце России/ Мерно бьётся в груди моей»). В стихотворении «Старые усадьбы» появляется образ Руси, «бредящей Богом» и «красным пламенем» (Невольно возникает представление о народе И. Бунина: *«Из нас то икона, то дубина, в зависимости, кто её обрабатывает: Емелька Пугачёв или Сергий Радонежский»*). В отличие от потаённой, блоковской, Русь предстаёт во всей конкретике быта, с её родовыми и семейными неурядицами, вековыми обычаями и нравами: *«В садах настурции и розаны,/ В прудах зацветших караси,—/ Усадьбы старые разбросаны/ По всей таинственной Руси».* Впервые поэт высказывает свою незаёмную любовь к ней: *«О Русь, волшебница суровая,/ Повсюду ты своё возьмешь./ Бежать? Но разве любишь но-вое/ Иль без тебя да проживёшь?»*

События Февральской революции прошли для Н. Гумилёва незамеченными, а вернувшись в Петроград, он отнёсся к к ним весьма равнодушно. Но всё более у него прорывается недовольство анархией на фронте, ограниченностью стратегического мышления командования. Вероятно, это привело к решению уехать на Салоникский фронт специальным корреспондентом газеты «Русская воля», аккредитованной в Париже. По пути он останавливается в Лондоне, встречается с представителями элитарных литературно-художественных салонов, а в Париже знакомится с русскими художниками Н.

Гончаровой и М. Ларионовым. И много пишет. Захваченный новой любовью к красавице Елене Дюбуше, посвящает ей сборник стихотворений «К синей звезде». Если учесть высказывание поэта — когда «пишутся стихи, горит часть души», когда влюблён — «горит вся душа», то непременно ощущается какая-то особая, неизъяснимо тонкая «материя» его ин-тимных стихов.

Возвращение Н. Гумилёва в мае 1918 года в взвихренную революцией Россию, — в то время, когда многие уезжали на Запад или готовились к отъезду, — своего рода загадка. Вероятнее всего, здесь оказались совмещёнными несколько неблагоприятных обстоятельств. Одно из них, как определяющее, — в смене власти в России, которая привела к иной дислокации фронта (страна выходила из войны). В результате стремление уехать на Персидский фронт оказалось тщетным, как и возможность получить назначение в Месопотамию для того, чтобы сражаться в английских войсках. В Англию его командировали, но денежный аттестат выдали только до апреля 1918 года. К этому времени русский военный комиссариат в Париже был уже упразднён. Поэт остался без поддержки и средств к существованию. Неудача на личном фронте (предложение руки Елене Дюбуше не было принято) выбивает из привычного ритма жизни. По возвращении в Россию его ждало ещё одно драматическое известие: А. Ахматова подала на развод, соединив свою судьбу с учёным-ассириологом В. Шилейко. Вскоре последовал и поспешный брак с А. Энгельгард.

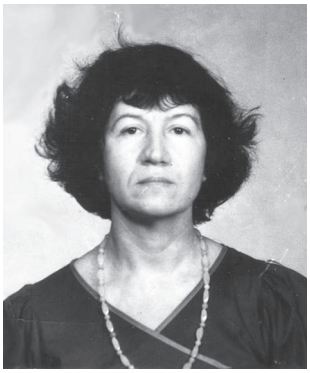
В холодном и голодном Петрограде Н. Гумилёв переносит все лишения революционного времени. Особняк, доставшийся ему по наследству от родителей, реквизируют. Поэт вынужден продавать оставшиеся вещи и книги. Но жизнь идёт, и он включается в её неистовое творческое пространство: реанимирует работу в «Цехе поэтов», основывает студию для молодёжи «Звучащая раковина», читает лекции в литературных студиях «Дома Искусств» и Пролеткульта для моряков Балтфлота, по приглашению М. Горького входит в редколлегию издания «Всемирная литература», много переводит и издаёт (книги «Мик», «Костёр», «Фарфоровый павильон», «Шатёр»). Но его лирика наполнена образами сна, предчувствием наступающих страшных перемен, в ней возникает стремление прозреть тайны далёких эпох, мифологизировать по-своему традиционные ценности. Поэт строго обходит всё непосредственно связанное с войной и революцией (*«Не прикован я к вашему веку,/Если вижу сквозь бездну времен»*). Биение пульса катастрофического времени можно почувствовать лишь в интонациях растерянности и предельной напряжённости переживаний. И только в стихотворении «Стокгольм» начнёт звучать мотив такой всепокоряющей аберрации, который станет предельным обобщением в стихотворении «Заблудившийся трамвай», изданном в посмертном сборнике «Огненный столп» (*«И понял, что я заблудился навеки/ В слепых переходах пространств и времён»*). Возникший образ Нового Иерусалима — провозвестника некоего космического света, как дорогой мечты, надламывается «Индией Духа», куда «купить билет» оказывается невозможным. Мчавшемуся с космической скоростью и страшным звоном трамваю, как достижению современного технического прогресса, этому подобию библейскому чудовищному змею, дорога в благодатный Иерусалим «заказана»: он символизирует

заблудившееся время, в которое по воле судьбы брошен трагический человек. Настоящее, *«мерцающее в планетном хоре»,* оборачивается апокалиптической картиной, где *«люди и тени стоят у входа/ В зоологический сад планет»*. В эпилоге стихотворения «Заблудившийся трамвай», которое А. Ахматова считала «самым биографическим», — к раннему предчувствию собственной гибели добавляется и собственное «отпевание» (В Исакии — *«Там отслужу… панихиду по мне»*).

Ни одного компрометирующего жеста не было сделано поэтом в сторону революционной власти, не написано ни одной стихотворной строфы против неё. По воспоминаниям многих современников, близко знавших Н. Гумилёва, его холодный, скептический и проницательный ум был лишен веры в возможность что-либо изменить в условиях установившейся диктатуры. Вероятнее всего, этим, отчасти можно объяснить и отход поэта от воссоздания современных процессов. Друг поэта В. Немирович-Данченко в своих мемуарах вспоминал о готовившемся ими побеге через эстонскую границу, где знакомые рыбаки согласились переправить их за небольшую сумму за пределы России. Но 3 августа 1921 года Н. Гумилёв был арестован и через три недели расстрелян. До сих пор нет единого мнения, был ли он непосредственным участником контрреволюционного заговора, как, например, утверждала его ученица по «Цеху поэтов» Ирина Одоевцева в книге «На берегах Невы», или его обвинение было полностью сфабриковано злой волей неприязненно относившихся к нему некоторых представителей новой власти.

Многое до сих пор остаётся неисследованным и не изученным в личной судьбе и творчестве этого талантливого и оригинального мастера поэтического слова. Но нет сомнения его упругий, мускулистый и заразительный стих прочно вошёл в историю русской поэзии, заложив традицию и обогатив лирику не только поэтов 20-30-х годов XX века, но и оставив заметный след в после-дующих поколениях. А его откровение: *«Потомством взвесится, кто сколько утаил»* открывает дальнейшую перспективу изучения этого, так долго ускользающего от нас, трагического творчества.

Людмила Малюкова



Малюкова Людмила Николаевна, член Союза писателей России, критик, литературовед, доктор филологических наук, автор ряда литературоведческих книг и научных работ.

Живёт и работает в Таганроге Ростовской области.

Абдуллах Бегиев

НАСУЩНЕЙ ХЛЕБА

СЛОВО

Ты в венах, смешиваясь с кровью,
рвалось,
        блуждало,
                жгло – дотла...
То тяжко, что – куда надгробью!
То – легче пёрышка орла...

Насущней хлеба ты порою.
В тебе –
        тоска и страсть моя.
А иногда тебя,
не скрою,
до дрожи
        ненавижу я!

Ты человека
        то возвысишь,
то – из него исторгнешь стон…
Порой –
сильней, чем он, не сыщешь,
порой –
беспомощней, чем он!

Абдуллах Бегиев — балкарский поэт, переводчик и общественный деятель, автор множества поэтических книг, исследователь фольклора и творчества Кязима Мечиева. Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан, сопредседатель Кабардино-Балкарского отделения СП России.

Родился в 1950 году.

Живёт и работает в г. Нальчике Кабардино-Балкарской республики.

Главу склоняют пред тобою.
Мечом ты служишь – и щитом.
Готово к празднеству и бою,
быть можешь лаской –
и кнутом!

Века – клинок бы не пронзил их! –
своим лучом пронзаешь ты.
А то,
листка пробить не в силах,
ты плачешь
горше сироты...

(Перевод Георгия Яропольского)

***

Погибшим молодыми

Есть на дереве жизни моей
завязь сладких и горьких плодов,
что под осень, как с гибких ветвей,
опадут с пролетевших годов.

Но спокойно созреют одни,
а других – град внезапный побьёт,
и зелёными гибнут они, –
плачут звёзды над ними с высот.

Сколько ж должен я в песню вложить,
чтоб за них, не успевших созреть,
недожитые годы дожить,
недопетые песни допеть!?..

(Перевод Лазаря Шерешевского)

***

Ходили по земле, людьми считаясь…
Но в трудный час их голод миновал.
В смертельный час – они целы остались,
когда других разило наповал.

Когда враги пытались на колени
поставить нас – они тряслись в тени.
Другие в битвах гибли и горели,
Но выжили, как водится, – они!

…Порою те, кого не знали беды,
к знаменам пав, вещают, что заря
той долгожданной радостной победы
взошла над миром им благодаря!

Неужто, жизнь, кому-то это надо:
одних – чужим одаривать добром,
других – бросать на прихоть снегопада,
как топоры, отстроившие дом?!..

***

Из тьмы – и снова в темноту –
Чреде ночей в угоду…
Живу, как в аэропорту
В нелётную погоду.

Ничьих не различаю лиц.
Мне цвет небесный – в тайне.
Что делать мне? Осталось лишь
Сплошное ожиданье.

Мне не поётся ни о чём,
И нá сердце – «оскома».
Не дома я. А где мой дом –
Не знаю… Нету дома.

Я годы в аэропорту
Провёл – какие годы!
Но – ни ногою за черту,
Покуда нет погоды.

Опять откладывают взлёт. –
Смешон итог стараний.
Туман колышется, плывёт…
Живу, как все, – в тумане.

(Перевод Георгия Яропольского)

Алексей Береговой

ДОРОГА НА СЕЛИНДЕР

Роман

(Окончание 1 части. Начало в №№ 1-2-3-4-2015 г.)

Глава тринадцатая
ЗАБОР ИЗ НИЧЕГО

1

Да, это был забор — глухой, прочный, неизвестно из чего выстроенный. Верхушка его уходила в мглистую, морозную полутемень, и потому он казался безверхим. Человек протянул руку и пощупал его, постучал по нему замёрзшими костяшками пальцев. В ответ раздался глухой, какой-то ватный звук. Не камень, не дерево, но стоял он неодолимой крепостью перед ними — обледенелый, засыпанный, запорошённый снегом. Ухватиться за него, уцепиться хотя бы за что-то не было никакой возможности. Он стоял, гладкий и ровный, как специально созданное препятствие всему, что мог бы сейчас предпринять этот человек.

Но тот и не пытался преодолевать это препятствие, лежал и лишь отчётливо понимал: обратной дороги ему не осилить.

Полежав какое-то время, человек медленно поднялся. Девушка в куртке на этот раз не пропала, — он совсем забыл про неё, но, споткнувшись о её тело, вспомнил и как-то удивлённо, будто в первый раз, посмотрел на девушку. Она снова лежала с открытыми глазами, и он, наклонившись над ней, легонько пошлёпал замёрзшими пальцами по её щеке. Глаза девушки совершенно не реагировали на его шлепки, и тут в неярком свете наступающего рассвета он вдруг заметил, что девушка необычайно красива. Было что-то такое в её

Береговой Алексей Григорьевич, член Союза писателей России, прозаик, публицист, автор тринадцати книг прозы и публицистики. Председатель правления Ростовского регионального отделения Союза писателей России, Секретарь Правления Союза писателей России, член Приёмной Коллегии СП России.

Рассказы писателя печатались в Болгарии в переводе на болгарский язык.

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

бессмысленных глазах, что не давало отвести взгляд, притягивало, притягивало, притягивало…

Он с трудом отвернулся и посмотрел в ту сторону, откуда они приехали, скользя по снегу. Два следа в глубоком снегу чётко обозначились на склоне, как бы прочерчивая для них направление обратного пути.

«Там — дорога, она повернула вправо, а мы соскользнули прямо, надо вернуться на дорогу,.. — с трудом ворочая застывшими мыслями, вспомнил человек. — Ведь куда-то же она ведёт…»

Он снова взял куртку за ворот и, наклонясь, медленно побрёл назад к дороге, — теперь уже вверх по склону.

И вдруг девушка в куртке оказалась неимоверно тяжёлой, да и сам он теперь с большим трудом передвигал ноги, которые почему-то стали вдруг ватно-свинцовыми. Появилось ощущение того, что кто-то умышленно его держит, не пускает назад, к дороге, что ему нужно именно оставаться здесь, у этого глухого, бесконечного забора, чтобы, возможно, замёрзнуть и остаться возле него навсегда. И ещё у него появилось неодолимое желание бросить эту девушку — свою случайную, невесть откуда свалившуюся на него в эту пуржистую ночь, попутчицу, которая теперь неожиданно, в один миг прибавила в весе раз в десять.

С трудом, но человек понимал: исполни он все эти свои желания, и им с девушкой наступит конец. Именно этот конец и тянул их к себе так сильно.

Медленно, шаг за шагом, постепенно теряя уверенность и надежду, он всё же передвигался вверх, к дороге, и, если бы не след их спуска на снегу, он бы давно решил, что дороги нет, и никогда не было, что всё это плод фантазий его воспалённого мозга. След — это было единственное подтверждение его прежней связи с реальным миром.

И вот, когда он уже совсем потерял надежду выйти на дорогу, когда единственным его желанием стало желание упасть в снег, закрыть глаза и больше не шевелиться, перед ним вдруг открылась тёмная, почти без снега, полоса асфальта. Она выглядела так, будто кто-то её совсем недавно расчистил. Для него… Для них…

Уже ни о чём не думая, он ступил на дорогу, которая, круто повернув вправо, всё же шла вниз, спускаясь медленно и полого. И сразу девушка потеряла вес…

Но человек это уже не чувствовал, — он просто брёл по дороге без мыслей, без эмоций…

2

Говорят: «Как витязь на распутье». Часто нам приходится бывать на этом самом «распутье», и от того, какую дорогу мы на нём выберем, часто зависит наша последующая жизнь. Так и я сейчас. С одной стороны мне надо побыстрее смываться из этого города, уже не надеясь на дедушку Авроры, с другой стороны — я не мог уехать не выяснив, куда она делась и что за синяя иномарка её забрала от гостиницы, — мой отъезд в таком случае выглядел бы просто позорным бегством человека, бросившего, уже ставшую близкой, женщину на произвол судьбы.

Я всё ещё ждал Аврору в холле гостиницы и пытался рассуждать. И с той стороны, и с этой. Одно лишь я знал точно: поступить так я не мог, но что-то придумать — тоже, и потому вообще не представлял себе, как мне быть дальше.

Эта синяя иномарка не давала мне покоя, внося в мысли сумятицу. Всё как бы крутилось возле неё. Может быть, за ней прислали эту машину, но может быть и такое, что её просто арестовали, — сказала же горничная, что из автомобиля выскочил какой-то человек и за руку повёл её к машине и, скорее всего, насильно усадил в иномарку. Да, её наверняка арестовали. Или бандиты похитили… И что я могу теперь для неё сделать?

Неожиданная догадка пронзила всё моё существо: взяли-то её возле гостиницы? Как могли вычислить, где она? Никто же, кроме нас двоих, не знал, где мы находимся! Неужели, она на них работает? Или отслеживали? Будто мы такие важные персоны, что за нами установили наблюдение? И кто мог это сделать? Менты? Бандиты? Или Аврора сама сообщила заранее?

Голова уже пухла от вопросов, и мне очень хотелось курить, будто курево могло бы ответить хотя бы на часть из них.

В маленьком холле гостиницы — никого, даже хозяйки за стойкой не видно, и я тянул время, поглядывая сквозь стеклянную входную дверь на мутное содержимое улицы, которое не предполагает какое-то конкретное время дня — не понять, то ли утро сейчас, то ли вечер.

Неожиданно всё разрешилось само собой. В поисках пачки сигарет я полез в карман куртки и обнаружил в нём неизвестный мне кусочек бумаги. Достал, развернул. Неровным почерком, почему-то карандашом на нём было написано: «Обстоятельства переменились, срочно уезжай из города. За меня не беспокойся, со мной всё будет хорошо. Бог даст, свидимся ещё. Люблю тебя, твоя Аврора».

Ну вот. Кажется, она и тут помогла мне. Прощай, моя Богиня! К сожалению, надежды «свидеться» у меня нет.

Я скомкал бумажку, снова засунул её в карман. Бросил ключ от номера на стойку и, подхватив сумку, решительно направился к выходу…

Улица встретила меня сильной, почти весенней, оттепелью. Серое низкое небо выплёвывало крупные, но одинокие капли дождя, редкие машины на проезжей части широко раскидывали по сторонам жидкий снег. В природе — сыро, неуютно и тоскливо. Так же тоскливо и неуютно было у меня на душе...

3

Падал редкий, мокрый, уже с явным намёком на скорую весну, снежок, заставляющий ёжиться от сырости и спешить редких прохожих.

Узкий переулок перед гостиницей — пустынен и тих, прохожие все куда-то подевались, и я, посмотрев по сторонам, осторожно шагнул к проезжей части. Мне нужно было поймать машину, в которой сидел бы только водитель.

Наконец-то, после нескольких безуспешных попыток, я остановил рыжую от грязи, когда-то белую «шестёрку».

— На автовокзал, — открыв переднюю дверцу, сказал я.

— Што платишь?

На меня смотрела довольно наглая белобрысая морда парня лет тридцати пяти. На вид — русский или хохол. Судя по манерам, это был профессиональный «бомбила».

— Десять баксов устроит? — спросил я.

Парень непонятно хмыкнул и сказал:

— Садись…

Его хмыканье стало понятным через пять минут. Автовокзал находился на соседней улице в двух кварталах от гостиницы и пешком до него можно было добраться минут за пять-шесть. Впрочем, потерянные десять баксов сейчас меня не интересовали, — пусть это «морда» считает, что ей повезло.

Я расплатился и, выйдя из машины, быстро пошёл к стоянке такси.

Три или четыре разномастных автомобиля с жёлтыми шашечками на крышах стояли в очереди. Подойдя к первой из машин, прежде чем открыть дверцу, я внимательно посмотрел по сторонам. Ничего подозрительного.

Открыл дверь «Волги» и, усевшись на заднее сиденье, сказал:

— В аэропорт!

Наверное, это у меня получилось весело, потому что водитель, солидный русский дядька лет пятидесяти пяти в кожаной куртке также весело ответил, запуская двигатель:

— А сколько платишь, шеф?

— А сколько стоит, столько и плачу. Ты, наверняка, знаешь…

Мой ответ объяснял дядьке, что сам-то я совершенно не знаю, сколько стоит, — это я понимал чётко, но мне, как-то поверх сознания, почему-то хотелось проверить его порядочность, хотя я совсем не понимал, зачем мне это. Просто этот случайный человек почему-то внушал мне доверие.

Водитель непонятно усмехнулся и сказал:

— Будет сделано, шеф!

Пока всё вроде бы складывалось удачно.

— Куда летим, шеф? — неожиданно спросил таксист, выезжая с привокзальной площади. — Судя по твоей сумке, не так далеко?

Я насторожился. Но голос звучал вполне приветливо и даже доброжелательно, весь вид дядьки говорил о том, что он простой работяга, далёкий от спецслужб и бандитских группировок, хотя кто его знает? Времена сейчас пошли такие, что нельзя доверять даже самому себе, а профессиональные убийцы зачастую выглядят кроткими агнцами.

Неожиданно для самого себя меня прорвало:

— Слушай, батя, отвези меня в Гурьев, неохота лететь на самолете, да и билета у меня нет…

Мне показалось, что «Волга» на секунду запнулась.

— Не понял… — сказал таксист.

Гурьев «вылетел» из меня как бы сам по себе. Я не принимал решения ехать туда, скорее, я надеялся улететь первым же рейсом куда угодно, только подальше, и я знал, что от Гурьева совсем недалеко до Астрахани, — а это Россия, причём мне уже знакомая, потому что там я когда-то служил в армии, — это уже как бы дом родной, который мог бы мне помочь, но в который

мне возвращаться нельзя. И я совершенно неожиданно ощутил, что улететь из Казахстана куда-то за границу мне будет довольно проблематично, а забираться ещё дальше в бескрайние степи этой европейско-азиатской страны мне совершенно не хотелось, и даже мысли об этом вызывали во мне какую-то нервную дрожь.

— В Гурьев отвези, я заплачу туда и обратно по двойному тарифу, доволен будешь…

— А куда это? — неожиданно спросил таксист.

— Гурьев не знаешь?

— Знаю. Вернее, знал…

— А сейчас забыл? — с ехидцей в голосе спросил я.

— Нет, не забыл, — в тон мне ответил таксист. — Просто нет больше такого города.

— Как нет? Снесли, что ли?

— Не снесли. Просто вытерли название с карты. Местные националы, получив в подарок такой кусок русской земли, постарались побыстрее вытравить память о том, что она русская. Попереименовывали в девяносто первом году всё, что было можно переименовать, а заодно и то, что переименовать было нельзя. Ликвидировали память о купце Гурии, который на свои бабки и построил этот городишко. Теперь у нас это, тьфу! — прости Господи! — город Атырау, центр Атырайской области. Почти «райской», — одним словом.

— Ну, Атырау, так Атырау. — Сейчас мне было не до топонимических потрясений. — Отвези в этот Атырау…

Таксист несколько минут молчал, видимо, что-то соображая. Я напряжённо ждал.

— Нет, — сказал он. — Грабят на дорогах сильно… Мне моя жизнь дороже…

— Ну что ты, батя, — разочарованно протянул я, уже понимая, что он не поедет. Да и вообще, чего это ради он должен рисковать? В наше-то время…

— Езжай лучше автобусом, — добавил он. — Или поездом… Всего-то десяток часов…

Автобусом ехать хорошо, и поездом тоже. Только легко они проверяются по дороге, а имя мое, которое записано в моем казахском паспорте, кой-кому известно. Машину могут остановить только гаишники и то — проверять будут лишь водителя. Но какие гарантии безопасности я могу ему дать!

— Я бы и сам поехал на поезде, да долго это, не успею… на свадьбу, — сказал я. — Потому и хотел лететь на самолете.

— Я думаю, самолеты зимой туда не летают, — как-то мрачно произнёс водитель, — аэродром там был земляной, летний… Сейчас, правда, не знаю, но, думаю, мало там что изменилось…

— Тем более… Сколько туда километров?

— Полтыщи наберётся.

— Вот видишь. На твоей тачке — всего-то часов восемь…

— Это там, под Москвою — восемь часов. Здесь дороги другие.

— Ну, сделай, батя! Сколько тебе заплатить, чтобы ты меня выручил?

Таксист ещё пошевелил мозгами. Потом тяжко вздохнул и взял протянутую мной сигарету, нажал на кнопку прикуривателя и спросил:

— Какой валютой платишь?

— Зелёными крокодилами.

— Тогда… — он назвал сумму.

Для понта я немного картинно поразмышлял о реальности цены, хотя она меня, в принципе, устраивала вполне с самого начала. Но пусть не думает, что у меня этих крокодилов целая сумка.

Я печально вздохнул и сказал с тоской в голосе:

— Придётся согласиться…

— Ещё заправишь полный бак, — вместе с дымом выдохнул таксист.

— Тогда поехали…

4

За окном машины проносятся последние домики Уральска, и степь встречает нас порывистым ветром, от которого шатается даже тяжёлая «Волга», осевшими сугробами по низким местам и рыжими бесснежными буграми в зарослях прошлогоднего бурьяна. Кажется, пахнет весной, хотя в машине витает лишь смешанный запах бензина и моторного масла, да ещё сигаретного дыма.

Машина не новая, но идёт хорошо, мотор гудит ровно, и видно, что хозяин опытный водитель и руки у него «золотые».

Теперь он достаёт из бардачка сигареты, протягивает пачку мне:

— Покурим?

Я молча киваю.

— Угощайся.

Беру сигарету. Он — тоже. Закуриваем.

— Ты, видать, парень не нашенский, — говорит таксист.

— Не вашенский, — в тон ему отвечаю я. — Как ты определил?

Для меня это важно — мне теперь нужно везде проходить за «нашенского», но, видимо, не получается.

— Да какой-то ты слишком шустрый, — говорит таксист. — И решительный. Наши, пока на что решатся, час сопли жуют, а ты — то в аэропорт, то сразу — давай в Гурьев…

— Это и всё? — разочарованно спрашиваю я.

— Что-то есть ещё такое, сразу не поймёшь. Может, говоришь не так, может, ещё что-то.

Если б я знал, как тут у вас говорят. Но нужно брать во внимание.

Таксист докуривает сигарету, выбрасывает окурок в открытую форточку, потом говорит:

— Дорога длинная, давай знакомиться. Меня зовут Андрей Петрович.

— Сергей, — в ответ произношу я и пожимаю протянутую руку, а сам ужасаюсь: сколькими именами я назывался за последние три года, скоро совсем запутаюсь и забуду, кто я на самом деле.

Петрович, по всему, в дороге скучать не привык, а потому начинает рассказывать что-то из своей жизни, а я, изредка кивая головой в знак того, что

внимательно его слушаю, потихоньку начинаю всматриваться в неизвестность своего будущего, которая начинается сразу от города Атырау.

Куда и как мне двигаться дальше? Что-то я начинаю терять уверенность, и радость моя по поводу моего удачного бегства начинает тускнеть. В конце концов, я стараюсь не думать о своём будущем — пусть всё будет так, как сложится, но ведь сложится же как-то, а думать будем уже по обстоятельствам.

— Наверное, ты и не Сергей вовсе, — слышу я голос Петровича. — Зову, зову, а ты никак…

Как ты прав, Петрович, даже чересчур. Но надо отзываться.

— Извини, пожалуйста, придремал что-то. Дорога убаюкивает.

— Небось, погулял ночку. Девахи, бухло… — живо интересуется Петрович.

— Ну, ты прямо в точку. И девушка была, и коньячок, — теперь я доволен, что не вру, что есть у меня что-то такое, о чём можно говорить правду. — Так что ещё раз извини…

— Ничего, ничего, — одобрительно произносит Петрович, — бывает. Сам молодым когда-то был. Да я и сейчас порой не прочь уцепиться за какую-нибудь юбку…

Он смеётся, а я откидываюсь на сиденье и снова прикрываю глаза, ожидая новую главу из удалой жизни Петровича, но он, заметив мой жест, говорит сострадательно:

— …Но ты поспи, подремли чуток, — легче будет…

И я ему благодарен за это, хотя спать совсем не собираюсь…

Глава четырнадцатая
АТЫРАУ

1

Дорога, круто повернув, теперь как-то странно извивалась из стороны в сторону, словно кто-то умышленно проложил её так, чтобы заплести ноги путнику, запутать его мысли, сбить его с направления. И человек уже ничего не ощущал, только каким-то странным образом понимал, что дорога медленно, но всё же спускается вниз, хотя, в какой стороне находится этот самый «низ», он бы с уверенностью не сказал.

Человек остановился и посмотрел на небо. Несмотря на то, что вокруг уже основательно рассвело, небо было мутным и непрозрачным, как мутным и непрозрачным были и сам воздух, и снежная завесь на его пути. Звёзды исчезли совсем, рассеялись и огни посёлка, всё вокруг окутал какой-то непонятный густой туман, который как бы был и не был одновременно, и человек вдруг совершенно ясно осознал, что это и не туман вовсе — это что-то другое, потому что туман этот находился от него на расстоянии метров десяти во все стороны от странной сферы абсолютно прозрачного воздуха, в центре которой он находился — словно его окружала большая стеклянная колба с обособленной атмосферой, — и эта прозрачная сфера двигалась вместе с ним,

точно закреплённый на голове у него яркий фонарь, который самостоятельно бросал на человека большой шар света и перемещался вместе с ним.

Человек полез в карман за сигаретами. Сигарет не было. Он точно помнил, что они там должны быть, но их не было. Он обшарил другие карманы, там тоже ничего не было, хотя совсем пустыми они не должны были быть тоже. Он совершенно точно знал это…

Человек как-то вяло, но всё же удивился, и, не пытаясь вникнуть в причины карманной пустоты, совсем уже не зная зачем, снова взялся за куртку и потащил её по виляющей дороге.

Куртка снова приобрела невесомость, но ему уже не хотелось знать, жива ли эта девушка, не хотелось останавливаться и смотреть на неё, он совершенно не понимал, зачем её тащит за собой, но по какой-то неясной ему причине продолжал тащить её, хотя уже и самого себя не считал достаточно живым…

Так продолжалось ещё некоторое время. Наверное, уже совсем рассвело, потому что красное пятно проступило в небесной мути, но полоса тьмы также маячила перед ним, отступая по мере его движения.

Он уже ничего не хотел и совсем не понимал, не знал, куда идёт, а главное — зачем; может быть, его двигал инстинкт самосохранения, может быть, ещё что-то — мыслей в голове не было никаких.

Неожиданно полоса тьмы расступилась, и он снова увидел тот же самый забор. И странно: дорога упиралась в него, словно кто-то построил эту стену гораздо позже самой дороги, для чего-то перегородив её и тем самым прервав по ней движение.

«Что за ерунда? — с трудом возвращаясь к реальности, подумал человек. — Везде вдоль забора сугробы, а на дороге возле него чисто. Словно это и не забор вовсе, а ворота какие-то…»

Он подошёл к забору вплотную. Признаков ворот не наблюдалось. Забор на вид был таким же глухим и неприступным, как и раньше.

Что делать дальше, человек не знал… Он понимал, что вернуться назад по этой дороге он уже не сможет. Впереди был тупик, позади — невозвратность…

Видимо, пытаясь отдохнуть, он прислонился к забору плечом, и вдруг плечо его провалилось в забор, точно теперь он был сделан из какой-то воздушной массы, а следом сквозь забор провалился и он сам, таща за собой девушку на куртке.

На какое-то мгновение всё вокруг провалилось в кромешную тьму…

Человек открыл глаза. За забором ярко светило солнце, и он увидел…

Он увидел и тут же бросился обратно к забору, но тот вдруг отступил, словно стал живым, а вместе с тем — снова плотным и непроницаемым, и теперь не хотел пропускать человека назад.

Человек сделал ещё несколько шагов, и забор отступил на столько же…

Но у забора теперь сидела девушка и, улыбаясь, смотрела на него огромными голубыми глазами. Куртка, на которой человек тащил её, куда-то исчезла, словно её никогда и не было …

Это была та же девушка и одновременно — не та, другая.

Человек уже совсем ничего не понимал…

2

Уже несколько часов прошло с того момента, как мы выехали из Уральска. Дорога бежала серой лентой вдоль реки Урал, который, то появлялся слева от нас, то снова куда-то исчезал. Редкие населённые пункты обозначались дорожными указателями с казахскими названиями, которые закрепили здесь, видимо, надолго, хотя среди местного населения русских, судя по прохожим в попутных посёлках, было гораздо больше.

Мы ехали по русской земле, политой кровью, освоенной и обжитой яицкими казаками задолго до того, как появилась в мире такая национальность: казах. Изредка бродили здесь со своими стадами кочевники — степные киргизы, — оседлых же киргизов, которые жили в основном в горах, до этого называли кара-киргизами, но лишь оседлым образом жизни да названием отличались они от киргизов кочующих.

— Скажи, Петрович, что означает по-русски, этот, как его?.. Атырау?

— Да что-то вроде: устье реки, впадающей в море…

— Ни хрена себе! Вот тебе и дедушка Гурий! Строил, строил городок на собственные бабки и построил устье реки…

— Да тут даже не поймёшь, что впадает, — довольный моим восклицанием, продолжил Петрович. — То ли река, то ли само устье.

— Устье не может впадать. Устье это часть бассейна реки, территория…

— У них всё может быть. Судя по переводу…

Я секунду помолчал, потом сказал с усмешкой:

— Ты прикинь, если вдруг Питер передать Эстонии, они тоже постараются отвязать название города от имени Петра и также назовут его «Устье реки, впадающей в море». Только по-чухонски. Ведь бродили же в тех местах чухонцы ещё до времён Петра. Интересно, как это будет звучать?

— А кто его знает! Сейчас всё поперепуталось, все говорят на какой-то тарабарщине. А всё от того, что есть люди, которые легко отдают или передают территории своей земли, подстраиваясь под чужую корысть, пусть даже с национальным оттенком. Но когда посмотришь ближе, корысть-то своя, кровная, не общая, а личная…

Он сидел за рулём важный, степенный, словно не вёл машину, а выступал на очередном съезде какой-то партии и блистал своей политической грамотой.

Я слушал его с интересом и даже с восхищением.

— Вот я, например, — продолжал Петрович, — русский с казачьими корнями, родился в Уральске, то есть в своей родной стране — Советском Союзе, а теперь, на старости лет по чьей-то прихоти оказался в чужой стране, да ещё стал представителем не титульной нации, — как бы человеком второго сорта. Нет, в открытую так не говорят, но куда ни ткнись — всё во вторую очередь, везде впереди казахи — у них фактически всё в руках. А почему?..

Петрович открыл форточку «Волги», подышал в окно и продолжил:

— А потому что большевики во главе с Лениным и Лейбой Бронштейном придумали национальность «казах», видимо, по созвучию со словом «казак» и

в 1925 году реализовали свою придумку — щедрой рукой отчертили на карте в пользу новых братьев огромный кусок русской земли, назвав её республикой Казахстан. Необольшевики во главе с Ельциным ещё более щедрой, никогда ничего не создававшей, а только разрушавшей, рукой, отвалили эти земли вместе с исконно жившими здесь русскими, хохлами, белорусами, немцами и другими неказахами теперь уже другому, «независимому» государству. Ельцин вообще бы отдал и всю Россию вплоть до самой МКАДи, лишь бы Кремль ему оставили. И всё русское здесь стало немедленно уничтожаться, началась национальная гегемония. Из страха, что, не дай Бог, вернутся. Так обычно уничтожают следы неправедных или преступных дел…

— А ты политик, Петрович, — сказал я, засмеявшись.

— Поживи здесь, невольно политиком станешь, — совершенно серьёзно пробурчал Петрович. — Только мало нас, политиков, больше сопим в две дырочки и молчим…

— От таких разговоров что-то в желудке засосало. Четыре часа едем. Не пора ли нам где-нибудь перекусить?

— Пожалуй, пора, — успокоился Петрович. — Только всё к той же песне: место для остановки нужно выбрать там, где людей много. А то, знаешь, тут всё может быть.

Я знал и верил ему, потому согласно кивнул головой. Не стал ему говорить, что так сейчас, наверное, везде по территории бывшего Союза, и что быть просто ограбленным ещё не самое страшное.

Через час мы въехали в какое-то скопище домов и улиц, носившее название Тайпак. Вдоль дороги побежали ларьки, магазинчики и какие-то забегаловки, косящие под кафе.

— Ну, Петрович, выбирай что-нибудь понадёжнее, чтобы потом в пути не бегать по куширям. Я плачу только за хорошее.

Петрович уверенно съехал с дороги возле какой-то фанерной, крашеной синей краской, «чайханы», над которой торчала русско-казахская надпись «Кафе «Урал».

«Всё и везде «Урал», — подумал я, выбираясь из машины. — Совсем, как у нас — повсюду «Дон»…

3

Ещё пять часов не слишком запоминающейся дороги, и впереди показались какие-то садовые участки, что говорило о приближении какого-то большого города. Гурьев, то бишь, — Атырау, город не слишком большой, скорее даже маленький, но всё же — областной центр, и в этих краях, где городов практически совсем нет, вполне мог косить под мегаполис. Садовые участки в его пригородах в этой полупустынной степи тоже выглядели архаично, но советские люди могли заставить «и на Марсе… яблони цвести», не то что в какой-то засушливой местности. Так что удивляться особо было нечему…

На въезде, точно в советские времена, пост ГАИ. Я не знал, как он теперь зовётся по-казахски, но отметил, что манеры у гаишников те же самые. Не успели приблизиться в тощей струе машин у поста, как толстый, пузатый гаишник уже семенил на кривых ножках навстречу нам с поднятой вверх

полосатой палкой. Даже с расстояния тридцати метров было заметно, как его узкие глаза светятся жаждой чего-то очень хорошего, похожего на деньги.

Не поднимая руки, я тихонько сунул Петровичу американскую полсотку. Тот недоумённо посмотрел на меня, но полсотку взял.

— Номера у нас не местные,.. — сказал я.

— Да…

— И мы оба русские…

Петрович кивает головой так, будто в этом у кого-то могло возникнуть сомнение.

— Могут быть проблемы. Но не надо, чтобы он долго копался в наших делах…

— Если сразу отдам полсотни, он решит, что сможет легко получить пятьсот…

— Петрович, ты опытный водитель…

Петрович съезжает на обочину, останавливает машину, опускает стекло своей двери. И тут же открытый проём заполняет круглое лицо гаишника, которое что-то спрашивает по-казахски. Это восточная хитрость, но Петрович на самом деле опытный водитель. Он достал документы, подал их гашнику, и пока тот, как мне показалось по его шевелящимся губам, по складам разбирал надписи в них, вышел из машины и вдруг по-отечески положил руку гаишнику на плечо, приобнял его, медленно передвигая в сторону багажника «Волги».

Минуты через три он вновь уселся за руль и запустил двигатель.

— Всё в порядке? — спросил я.

— Да, — улыбнулся Петрович. — Поехали…

— Быстро ты отмазался.

— Блюду твоё мнение о моей опытности. Сказал, что на свадьбу опаздываем. А свадьба для них — святое. Но от денег не отказался, хотя я ему и старался внушить, что хотим подарить невесте пятьсот долларов, а теперь вот придётся дарить только четыреста пятьдесят, потому что больше ничего нет. Зато этот кривоногий верблюд заверил меня, что обязательно выпьет за здоровье невесты…

Петрович весело засмеялся. И настроение сразу такое, будто не было длинных и тряских пятисот километров, будто не «обнимались» мы с жадным мордатым гаишником.

— Тебя куда подкинуть? — спросил Петрович, когда перед нами открылась первая городская улица. — Ты тут задержишься или дальше куда?..

— Ты догадливый, Петрович, — ответил я, с сожалением собираясь покинуть уютный салон машины. — Конечно, «дальше куда…». Давай, в аэропорт.

Петрович остановил машину и выспросил у прохожих, как проехать в аэропорт. Он оказался совсем рядом — всего километров пять от центра, и вскоре мы благополучно подкатили к небольшому зданию аэровокзала.

Петрович достал из багажника и подал мне мою сумку, потом сказал на прощанье просто и доброжелательно:

— Пусть тебе повезёт, парень, на твоём пути. Я не знаю, кто ты, куда и

зачем едешь, но я уверен, что ты хороший человек, и понимаю, что здесь тебе оставаться нельзя — опасно, но за те часы, что мы провели в дороге, я кое-что уяснил и повторяю: ты человек совсем неплохой, тебя лишь гонят обстоятельства, ты мне поверь, я кое-что понимаю в людях. Удачи тебе…

Я чуть не пустил слезу. Как давно я не слышал ничего хорошего в свой адрес! Целую вечность!

Вроде совсем чужой человек. Но мне было тепло от его слов, от ощущения того факта, что ещё не весь мир настроен против меня, что есть пока люди, которые могут искренне пожелать мне удачи, понять и хотя бы посочувствовать…

— Спасибо, Петрович, — сказал я, и мы обнялись…

У входа в аэровокзал я обернулся и долго смотрел на красные фонари его «Волги», пока они не скрылись за поворотом.

«И тебе удачной обратной дороги…», — тихо произнёс я и решительно вошёл в здание вокзала.

Людей внутри было немного, да и рева самолётов ни на земле, ни в воздухе не слышалось. Нет, конечно, это не Шереметьево, и даже не Ростов-на-Дону. Нужно было идти к окошку кассы, но я пошёл к ряду пластиковых кресел у стены напротив, поставил сумку на пол, присел сам.

Я не спешил, потому что до сих пор не знал, куда и как мне двигаться дальше. Рядом была России, но она пока была для меня всё также недосягаема.

Нужно было хорошенько подумать…

4

Сколько ни думай, сколько ни размышляй, затягивая время, всё равно приходит минута, когда надо начинать действовать. Тем более, что на часах уже пять вечера, и солнце стремительно катится к западному горизонту.

Куда мне лететь отсюда? Я встаю, подхватываю сумку, иду к расписанию, большой простыней висящему на стене.

«Простыня-то» большая, а вот рейсов совсем мало, и почти все они в сторону Казахстана. Нахожу Астрахань, Волгоград — бр-р! Единственный подходящий вариант — Красноводск. И рейс всего через два с небольшим часа. Что и требуется. Как-никак, но тоже другое государство, хотя кто его знает, что это сейчас за страна?

Только делать нечего, и я решительно направляюсь к кассе.

— Мне один билет до Красноводска на ближайший рейс, — говорю я в окошко, протягиваю деньги и паспорт.

Кассирша молча, долго и внимательно рассматривает мой паспорт красивыми узкими глазами, словно сильно сомневается в том, что человек с такой русско-хохляцкой рожей может иметь казахский паспорт.

Я не волнуюсь, я уверен в себе, но холодок всё же предательски катится между лопаток. Что там происходит сейчас в этой умной и бдительной головке? Не распознает ли она фальшивки?

Наконец женщина отводит глаза от паспорта и начинает кассовые манипуляции по выдаче мне желанного билета. И всё также молча. Немая, что ли?

— Девушка, если можно, дайте мне место у окна.

Она поднимает глаза, какое-то время также молча смотрит на меня, потом вдруг говорит:

— Лететь будете ночью, всё равно ничего не видно.

Ну, слава Богу! — речистая девица, только уж слишком ехидная. Или сильно неуважающая русских.

— Я люблю наблюдать за ночным небом, звёзды считать…

— Если они будут видны,.. — непонятно усмехается она и как-то едко добавляет к усмешке:

— Ладно…

Впрочем, вполне может быть, мне это только кажется, может, это только моя внутренняя реакция на происходящее и защита от этого неприятного холодка между лопаток.

Наконец она протягивает мой паспорт, билет, сдачу и говорит:

— Вылет в восемнадцать сорок пять, регистрация за час. Счастливого полёта…

Я смотрю на билет, на нём написано «Туркменбаши». Что за хрень? Я знал, кто такой «туркмен-баши» — это человек, а не город.

— Девушка, мне надо в Красноводск!

Она усмехается.

— Это и есть Красноводск. Теперь он так называется.

— А почему в расписании по-старому.

— Не знаю. Может, чтобы пассажиры не путали, может, забыли табличку поменять. Я за расписание не отвечаю.

Во, чудеса! Восточный мир полон чудес.

— Ладно, спасибо!..

Я прячу билет и паспорт в карман курки, говорю себе: «Счастливой дороги, господин Овчинников!» и иду в туалет, нахожу там мусорный ящик, заполненный всяким хламом, и, повертев головой по сторонам, убеждаюсь, что в туалете никого нет, затем избавляюсь от ненужных мне сейчас, но несущих в себе для меня большую опасность, предметов. Вздыхаю облегчённо, затем долго курю у этого ящика, выдерживая время пребывания в туалете и наблюдая изредка за входящим и выходящим народом.

Возвращаюсь к своему креслу в зале ожидания, где постепенно начинает собираться жидкая толпа — вероятно, пассажиры моего рейса.

Скоро скрипучий женский голос в репродукторе объявляет регистрацию пассажиров на рейс «Атырау — Туркменбаши».

Хорошо, что я теперь знаю, что это такое. То есть, как бы понимаю и по=казахски, и по-туркменски. Совсем полиглот... Подхватываю сумку и бегу к стойке регистрироваться. Мне уже не терпится покинуть славный город купца Гурия, а заодно и дружественное мне государство, и начать новый этап своей жизни. Начнётся ли?... Будем надеяться…

У стойки регистрации народу не так много, как в зале. Значит, не вся толпа мои попутчики, летят ещё куда-то. Но возможно, это мне опять кажется. Может быть, это зуд отбытия пытается внушить мне, что ещё не все улетающие собрались.

Я становлюсь в очередь у стойки регистрации. Пятым. Можно ли это назвать очередью? Наверное, можно, потому что никто ещё не определил, с какого количества жаждущих что-то получить начинается очередь.

Очередная казашка за стойкой на этот раз симпатии мне не внушает. Рядом с ней — не то пограничник, не то таможенник тоже казахской наружности. Наверное, они и тут все должности под себя прибрали? Так быстро?..

Кладу на стойку паспорт и билет.

Казашка в форме смотрит в них, потом что-то пишет у себя за барьером стойки и молча передвигает мои документы к пограничнику.

Тот берёт мой паспорт, лениво раскрывает его и начинает медленно сличать меня с фотографией. Водит глазами туда-сюда, как кошка на детских ходиках, только медленно и скучно. Потом также лениво, но важно произносит: не то утверждает, не то спрашивает:

— Сергэй Иванович Овчыников?.. Зачэм Турмэнбаши?..

Я — за святое:

— На свадьбу еду…

— Вэщь показывай…

С минуту он ковыряется в моей сумке. Похоже, что определяет уровень моего благосостояния и что от него можно оторвать. Наверное, этот уровень не подтверждает мою крутизну, и он разочарованно спрашивает:

— Валют эсть?

— Нет, — кручу головой я.

— Савсэм? — настаивает он, будто сильно сомневается.

— Даже больше, чем сав… — пытаюсь передразнить его я, но спохватываюсь и продолжаю:

— Совсем…

С минуту он напряжённо смотрит на меня, и я пытаюсь сделать беспечное лицо.

Наконец он принимает своё поражение и говорит раздражённо, проталкивая сумку дальше по стойке:

— Прахады…

И устремляет своё ленивое внимание на следующего пассажира — толстого дядьку в казахской войлочной шапке.

А я в очередной раз пытаюсь удивиться этому уникальному восточному свойству: одновременно быть предельно ленивым и очень деятельным…

Скоро тот же скрипучий женский голос в репродукторе призывает нас на посадку на рейс в Туркменбаши, то есть — в Красноводск.

У выходных дверей нас собирает полная женщина, теперь почему-то русская, и ведёт нас через слабо освещённое поле к самолёту. Мы — это все двенадцать пассажиров, летящих в Красноводск.

Перед нами старый, проверенный «Ан-24». Потрёпанный ещё с советских времён, но добрый, потому что лучше его летает только его старший брат «Ан-2». Ну, будем надеяться, что все его проверенные временем детали работают так же надёжно, как и прежде, а новое государство заботится о нём не хуже, чем Советский Союз.

Я устраиваюсь на своём кресле и прикрываю глаза. Уже гудят двигатели, самолёт мелко подрагивает фюзеляжем. Кажется, началась рулёжка.

Ну, прощай город купца Гурия, прощай дружественная страна Казахия. Желаю себе никогда больше не вернуться сюда, не вкусить ещё раз твоей дружбы.

Старичок «Ан-24» довольно легко взмывает в небо. Сквозь стекло иллюминатора в салон заглядывают яркие, крупные звёзды, а кассир за стойкой в них не верила…

Глава пятнадцатая
ПОЧТИ БЕГОМ МИМО «ГОЛОВЫ»

1

То, что увидел человек сразу за забором, повергло его в шок. Увидел он бескрайнюю, изрезанную балками и оврагами, чужую, но до боли знакомую степь, покрытую высокой, жёсткой травой. Степь была залита знойным летним маревом. Вдали, извиваясь, блестела на солнце река, очень похожая на Дон. Но самым главным и, пожалуй, самым странным было то, что он увидел группу всадников — человек десять — которая проскакала напрямик по степи недалеко от него — в полутора-двух километрах, и ему показалось, что он даже слышал их крики. Всадники были одеты в явно старинную, незнакомую ему одежду. Островерхие шапки, какие-то длинные не то кафтаны, не то халаты из плотной ткани, на ногах кожаные сапоги. Они были вооружены, но оружие тоже было удивительным для нашего века: за плечами у них торчали луки, по бокам болтались в ножнах прямые длинные сабли наподобие казацких шашек и кожаные колчаны со стрелами. Язык тоже был незнакомый, но, странно, он, кажется, понимал его. Они кричали что-то вроде:

— Идёт… Идёт… Скорей…

И в то же время человек ничего не понимал. Он словно находился там же, где был до этого, и одновременно — в другом месте. Уж не плод ли его воспалённой морозом и ледяным ветром фантазии вся эта свалившаяся на него бредовая картина. Человек пощупал лоб. Лоб пальцев «не обжигал». К тому же — эта девушка? Реальность? Или вымысел?..

«Наверное, какая-то киносъёмка», — подумал он, успокаивая себя, и снова посмотрел на девушку. Теперь уже внимательнее. И подумал, что хорошо сделал, попытавшись ещё там, за забором, рассмотреть её, бесчувственную в снежной рассветной бледности. Да, это была она. Девушка, которую он тащил на куртке по дороге. Человек теперь был в этом почти уверен. Только та была без чувств. Возможно, из-за его усталости и перенапряжения всех сил, она порой куда-то исчезала, теряла вес и всё такое… Но вот теперь она сидит и улыбается, судя по всему, целая и невредимая, и даже, может быть, вполне реальная.

— Ты кто? — спросил он.

— А ты кто? — выдала она типичный женский ответ в виде такого же, но встречного вопроса.

Человек на минуту замешкался. Только теперь он заметил, что девушка одета в лёгкую спортивную куртку и брюки бежевого цвета, маленькие ножки аккуратно упакованы в такого же цвета кроссовки. Голову украшала сбитая в мелкие рыжие кольца пышная причёска. «Ух, ты! — молча восхитился он причёской. — Кто бы мог подумать!.. И когда она успела поменять одежду?..»

Она была хрупкого телосложения и красива той женской красотой, которую мужской глаз не сразу схватывает, но уж когда схватит, уже не отпускает от себя…

Тут он обратил внимание, что и его зимняя одежда куда-то исчезла тоже, и сам он одет в такой же спортивный костюм, как и девушка, — костюм, которого у него никогда не было.

Он посмотрел по сторонам. Их зимней одежды не было нигде. Он снова, забывшись на секунду, сделал два шага к забору, и тот послушно отодвинулся на два шага.

Он остановился в замешательстве. «Показалось», — успокоил он себя и вновь повернулся к девушке.

— Я — Олег… — сказал он девушке. — А ты?

Девушка ничего не ответила, продолжая смотреть на человека и улыбаться.

— Ты кто? — уже раздражаясь, снова спросил он, и девушка, видимо, почувствовала его раздражение.

— Я… Я не знаю… — тихо произнесла она, и синий взгляд её глаз опустился вниз, словно что-то искал в пожухлой траве перед ней.

— Как это не знаешь? — удивился он. — Не знаешь, кто ты?

— Не знаю, — покорно повторила она.

— Имя-то у тебя есть?

— Не знаю. Наверное, есть… Но я не помню…

— Да-а,.. — протянул Олег. — Задачка… И что будем делать?

Она снова подняла глаза на Олега и ничего не сказала.

— Ты помнишь, что там зима? — спросил он, показывая на забор.

Она отрицательно покачала головой.

И тогда он подошёл к ней и пощупал её плечо. Нет, она была реальной, тело хорошо прощупывалось под одеждой.

— Не надо, — дёрнула она плечом. — Мне больно… Я настоящая…

— Дай-то Бог! — сказал он, вспоминая, как она исчезала по пути к забору.

Он присел рядом, сорвал травинку, пожевал. На вкус она была горькой и терпкой.

— Ты видела тех, на лошадях? — немного помолчав, спросил он.

— Да…

— Как ты думаешь, кто это?

— Хазары…

— Кино снимают о хазарах?

— Это настоящие хазары…

— Что? Ты сумасшедшая?

— Нет…

— Ты знаешь, когда жили хазары?

— Да.

— Так с какого бодуна ты взяла, что это хазары?

— Не знаю… Но они одеты и вооружены, как хазары, к тому же, кричат…

— Ну и что?

— Хазары… — ответила девушка и отвернулась.

Олег помолчал, рассматривая степь перед собой и что-то обдумывая. Потом спросил снова:

— Ты слышала, что они кричали?

— Да… Что-то вроде: «идёт» или «идут»…

— Значит, мне не послышалось, — обрадовался Олег. — Я думаю, что идёт какая-то киносъёмка. Но откуда вдруг лето, если была зима? Тоже декорации, что ли? Такого я себе не представлял.

— Это не киносъёмка, — сказала девушка, — это на самом деле…

— Ты всё же сумасшедшая…

Он помолчал немного, глядя на неё. Сумасшествие на её лице не проступало, тогда он спросил:

—Идти можешь?

— Да…

— Тогда пошли…

Он встал, подал ей руку — ладонь у неё была узкой и тёплой, — и шагнул к забору. Тот моментально отодвинулся. Он сделал ещё несколько шагов. Забор — тоже. Ещё и — ещё…

Он остановился, с минуту помолчал, потом добавил:

— Надо думать, что делать дальше. Не век же нам догонять этот убегающий забор…

Девушка молчала, глядя на него…

2

Красноводск — удивительное место на земле.

Небольшой город, построенный ещё при царизме на берегу красивейшего залива Каспия, а значит, возведённый из природного камня, надёжно, на века, точно защитной стеной от горячего ветра и песчаной пыли, отгорожен от раскалённой туркменской пустыни Кара-Кум высоким и отвесный горным отрогом Копет-Даг, и потому всегда чист, аккуратен, полон зелени и цветущих роз, умытых ранним поливом, из-за близости адского пекла населён счастливыми жителями. Здесь лучшие в бывшем СССР природные песчаные пляжи, но, к сожалению, мало освоенные, а вода в заливе не уступает своим цветом знаменитому Лазурному Берегу во Франции, но в десятки раз превосходит его чистотой.

На самой большой, но плоской вершине Копет-Дага придумали построить аэропорт: достоинств и недостатков — воз, хоть и садиться трудновато, зато взлетать над пропастью, как с авианосца — возврата и надежды на спасение нет.

Наверное, местные жители до сих пор помнят, как в советское время в очень плохую погоду пилот такого же самолёта, на каком я сейчас летел, не рассчитал высоты при посадке и врезался в отвесную стену. Расплющенный самолёт рухнул грудой искорёженного метала вниз с большой высоты. Но самым удивительным в этой катастрофе был факт, давший повод для многочисленных пересудов, что все, кто был на борту, погибли, а один пассажир всё же остался в живых, — он сидел в самом хвосте самолёта, — это был

безнадёжный алкаш, возвращавшийся из Баку после очередного пребывания в ЛТП — лечебно-трудовом профилактории, куда пьяниц отправляли в принудительном порядке. Говорят, что после этого он пить перестал. «Во! — трепал языками потом народ, — дал Бог ему возможность пожить трезвой жизнью»…

Всё это мне рассказал словоохотливый сосед по креслу — мужичок в плащовой замызганной куртке. Он явно боялся полёта и потому крепко прижимал к животу большую и древнюю, плетёную из какой-то соломы кошёлку, и непрерывно вёл разговоры в «тему полётов».

Он говорил много и долго, — мне уже не нравились его разговоры, — я тоже боялся, но не полёта, а приземления, вернее, того, что могло меня ждать там, в Красноводске, после этого приземления. А когда человек боится, ему не нравится всякая болтовня на любые темы.

И я поудобнее устроился в кресле, прикрыл глаза, молча показывая соседу, что собираюсь спать. Тот заметил и сразу обиделся — другого соседа у него не было и выливать свой страх ему стало не на кого.

Хотя я и пытался всё же рассчитать и как-то наметить свой дальнейший путь, но всё-таки незаметно уснул под гул моторов, а когда проснулся, самолёт уже миновал опасный посадочный обрыв Копет-Дага, двигатели уже не гудели и самолёт не двигался. Я даже не слышал, как бортпроводница объявила о прибытии. А может, я и не спал вовсе, может, лишь крепко задумался, и всё это мне только показалось.

Счастливый от благополучного прибытия сосед недолго жал мою руку, сообщая о «приятной компании» во время полёта, и одним из первых покинул борт.

Мне же спешить было некуда. Я взял свою сумку, подмигнул бортпроводнице у открытой двери, получил в ответ дежурную улыбку и последним вышел на площадку трапа, на секунду остановился. Крупные мохнатые звёзды мелко дрожали над головой, далеко внизу светился огнями город, наверное, отражался в Каспийском море, — эти огни смешивались, и было непонятно, где кончается город и начинается море, и что я видел: город или только его отражение в воде.

Это уже был юг, настоящий юг, и весенне-зимней мешанины уральской погоды в нём не наблюдалось. Было тепло, со стороны Кара-Кумов веял лёгкий ветерок с запахами весенней пустыни, щекотливо облизывал мне лицо, шею…

Что я почувствовал? Наверное, весну… и свободу. Впервые за много времени я ощущал эту свободу и почти полную безопасность. Все мои будущие проблемы и неприятности уже можно было не привязывать к прошлому…

С сумкой в руке я спустился по трапу и пошёл к небольшому зданию аэровокзала. Нужно было где-то переночевать…

Случайно поднял голову и увидел… Над зданием аэровокзала красовалась неоновая надпись «Туркменбаши». Кажется, всё так и было на самом деле. Везде одно и то же — быстрее вон из советского прошлого, которое для многих граждан было не таким уж несчастливым. Но, видимо, не для новых властей, потому что власти везде оказались одинаковыми и в первую очередь заботились о себе…

— Куда мы прилетели? — прикидываясь незнающим, спросил я у случайного попутчика, на удачу — русского.

— В Туркменбаши… — почему-то усмехаясь, ответил тот.

— А я думал, в Красноводск!

— А ты что хочешь, то и думай. Это и есть Красноводск. Бывший…

Что за хрень у них с переименованиями! То дельта, то голова… Не названия, а прямо…

— А чего же не предупредили, когда билет продавали?

— Да им наверняка начхать, что здесь и как, — засмеялся попутчик. — Как привыкли, так и говорят. Но теперь же везде сплошная независимость.…

Да, ныне всё может быть. Ладно, голова так голова, лишь бы зубы у неё не акульи были. Мне уже надоело «ломать ваньку» перед этим незнакомым русским и я потихоньку от него отстал…

3

Здание аэровокзала небольшое, но уютное — явно советской постройки. Если бы при царях было воздушное сообщение, я бы мог поверить, что построено оно было ещё при Александре III, как, к примеру, все станции Туркестанской железной дороги от Ташкента до Самары — здания вокзалов небольшие, но, как и везде, «добротные, каменные, на века».

Мои попутчики уже втянулись внутрь здания, и я поспешил следом, потому что прибывшие пассажиры уверенно пересекали небольшой холл аэровокзала к выходу на внешнюю площадь. Значит, там должен быть автобус.

Внутри всё было как в советские времена: скучающий милиционер, правда, в новой форме, очень похожей на старую, и какая-то дежурная у входной двери, но ни рамок металлоискателей, ни коробов для просвечивания багажа не наблюдалось — возможно, в этой постсоветской стране ими ещё не обзавелись по причине отсутствия терактов и лишних денег. И благо, что мне не нужно было ждать выдачи багажа, хотя, судя по спешке пассажиров, это не нужно было почти никому.

Действительно, на площади перед зданием чадил выхлопными газами, обещая скорое отбытие, жёлтый «Икарус», и мои попутчики этому верили, потому стремительно к нему неслись. И я тоже поверил: решил немедля ехать в город — там должна быть гостиница.

Часы показывали двадцать часов сорок пять минут. По Москве. А сколько было по местному, я не знал.

Автобус вмещал народу больше, чем самолёт, и я нашёл себе место в конце салона. Кондуктор собрала деньги с пассажиров. У меня туркменских денег не было, и она приняла у меня казахские, но по нарицательной стоимости, как я понимал, раз в двадцать больше. Но я расстался с ними без сожаления — возвращаться в гостеприимный Казахстан я не собирался.

Наконец худющий туркмен-водитель заскрипел ржавыми дверями, и мы поехали.

Автобус был старый и расхлябанный, из когда-то дружественной Венгрии. Бежал он вниз, громыхая всем своим нутром и наружностью, по какой-то тёмной и непонятной дороге меж груд больших камней и скал стремитель-

но, и мне казалось, что эта развалина уже никогда не остановится и скоро мы выйдем на прямое пике, которое закончится в Каспийском море. Но в салоне царило спокойствие — все пассажиры были или безразличны, или самоуверенны, или привычны.

Неожиданно я услышал негромкий разговор двух сидящих впереди меня мужчин, по одежде и говору явно русских. Я вспомнил их — они летели в нашем самолёте. Один из них посмотрел на часы и сказал:

— До отправления парома ещё два часа…

— Да, — согласился второй, — вполне успеваем…

Паром?.. Паром… Куда может идти паром из Красноводска? (Не может же паром идти из головы, пусть даже всетуркменской!). В Баку? Или в Астрахань, Махачкалу? Или куда-то в Иран?..

Я рискнул, пошёл напролом:

— Скажите, — спросил я, — это паром до Баку, вы сказали: ещё два часа?

— До Баку, — отозвался мужчина. — Куда ж ещё? Других пока тут нет…

Паром до Баку меня очень устраивал, хотя это понимание пришло спонтанно. Но размышлять было некогда…

— Мне тоже надо на этот паром, но я впервые в Красноводске, вы не подскажите, как добраться до него в городе?

— Автобус остановится у морского вокзала. Выходи и иди за нами, — точно попадёшь.

— А билет где взять?

— Там касса есть. Мы тоже пока без билета, но обычно проблем с билетами не бывает…

— Спасибо, — сказал я и откинулся на сиденье. Теперь у меня было хоть какое-то продолжение моего маршрута, а вернее — бегства.

Через некоторое время дорога выровнялась, и автобус побежал по прямой. А ещё через некоторое время водитель объявил остановку «Морвокзал», и ржавые двери открылись.

Вечерний ветер дул в сторону моря и как бы указывал направление моего дальнейшего пути. Но знаменитых красноводских роз и крепких каменных домов я в этот раз не увидел. Возможно, для первых ещё не настало время, или они просто тонули в ночной темени, как и всё остальное.

Я снова подхватил сумку и вслед за моими попутчиками направился к зданию морвокзала.

Остро пахло морем. Это был знакомый, но основательно подзабытый запах, — наверное, он обещал мне что-то новое…

4

Вслед за попутчиками я топаю к кассе.

Билеты есть, но снова требуют паспорт. Как-никак, но опять заграница. Хорошо, что пока без таможни и пограничников с собаками и автоматами. Но это пока. Очень скоро власти начнут крепко охранять подаренный суверенитет. Хотя и в демократической России без паспорта и шагу не ступить.

Везде почему-то очень необходимы твои данные. Как на уголовном контроле. И мне сильно не нравится, что кассир в советской мореходной форме долго и внимательно рассматривает мой казахский паспорт. Словно сомневается. Да я и сам сомневаюсь. Русская рожа с казахским паспортом из независимой Туркмении хочет отбыть в независимый Азербайджан. Можно было бы рассмеяться, если бы не было чревато…

Сейчас начнётся: куда, зачем? Но нет, не спрашивает, слава Богу! И доллары принимаются в обмен на билет без места на паром, который уходит всего-то через час. И я опрометчиво брожу весь этот час по причалу, пытаюсь по уличным огням определить очертания города. Наверное, мне это не удаётся. Огни блестят меж двух тёмных, скорее, чёрных, извилистых пятен, видимо, морем и скалами Копет-Дага.

А может, я просто пытаюсь убедиться в отсутствии «хвоста». Привычка быть особо осторожным не должна меня покидать.

За десять минут до отправления бросаю заниматься ночной топонимикой и уже с пустынного причала поднимаюсь на паром.

Паром похож на старое, ржавое корыто. Оно дрожит мелкой дрожью от работающих на холостых оборотах дизелей. Верхняя палуба открыта всем ветрам, но я всё равно пристраиваюсь возле правого фальшборта у причальной стенки и закуриваю, глядя на огни города, которые отсюда заметно расступаются вширь.

Наконец дизели гудят мощно и ровно, большое тело парома уже трясётся, ходит ходуном, и судно начинает отваливать от причала. Скоро оно уже медленно двигается вдоль какого-то узкого и длинного залива, очертания которого понять невозможно. И вот тёмные пятна берегов и освещённые контуры города остаются позади, паром слегка качает на открытой каспийской волне, отчего он скрипит и дергается — судно выбирается, наконец, в открытое море и прибавляет ход. Огни города уходят назад, только знаменитый красноводский маяк, как бдительное око Туркмен-баши, долго мигает нам вслед, точно говорит всем: «Высоко сижу, далеко гляжу…»

Я окончательно замерзаю и спускаюсь по трапу вниз, в каюту.

Там, на второй палубе, вместо кают просторные залы с сидячими местами на широких деревянных диванах — человек по шесть на каждом. Садись, где хочешь, если, конечно, найдёшь место.

Первая зал-каюта, куда я вхожу, освещена тусклыми лампочками, в свете которых я вижу, что он основательно забит народом, народным скарбом, в котором чего только нет, вплоть до живых коз, и прочих «нужных и ненужных» народных предметов. Тут устроились на ночь целые семьи с детьми и стариками, а может, даже не семьи, а роды или племена. Явно не хватает верблюдов. Точно вся Туркмения разом решила переселиться в Азербайджан.

Во второй каюте — то же самое. Потолкавшись в её просторной тесноте, я всё же нахожу одно свободное место на краю лавки-дивана, усаживаюсь возле пожилой туркменки в каком-то полупальто и цветастом платке, но почему-то не чувствую себя счастливым. Диван жёсткий, неудобный, с прямой спинкой, точно создавался он не под людей, а под какие-то прямоугольные геометрические фигуры, возможно, коробки или штабеля, и я сразу понимаю,

что ближайшие двенадцать часов пути парома, я вряд ли на нём выдержу. Но и покидать его хоть на минуту чревато потерей места. Передо мной стоит дилемма, решать которую я не спешу. Видимо, надо попытаться уснуть…

Глава шестнадцатая
РЖАВОЕ КОРЫТО ДО БАКУ

1

«А она красива… — подумал Олег, ещё раз внимательно рассмотрев девушку. — Хотя, наверняка, глупа до бесконечности… Чушь какую-то несёт…»

Спросил:

— Ну, ты вспомнила, как тебя как зовут?

— Теперь — да.

— Почему «теперь — да»?

— Потому что «теперь»…

— Слава Богу! Как же?

— Тара.

Он помолчал несколько секунд, потом сказал задумчиво:

— Странное имя…

— Ничего не странное. Нормальное имя.

— Я таких не встречал. Словно посуда какая-то.

— Посуда — в германском понимании. Тара — имя славянское.

— И что оно значит?

— Тара — это богиня. Ведающая, древнеславянская богиня — покровительница живой природы. Ещё её зовут Дара, то есть дарующая.

«Да, везёт мне на богинь», — вновь и почему-то уныло подумал Олег, но вслух произнёс:

— Г-м, интересное имя… Только тебе-то оно с какого припёка?

— С такого! Наверное, так надо…

Олег сорвал маленький жёлтый цветок, понюхал. Несмотря на свои крошечные размеры, цветок пах остро и крепко. И необычно. Как и всё вокруг него, которое вдруг стало необычным. Он почувствовал: голова идёт кругом, точно он уже сполна нанюхался острых и крепких событий.

Олег ещё подумал, потом спросил:

— Как ты попала в чёрный «Хюндай»?

— Что это такое?

— Прикидываешься?

— Нет…

— Легковая машина…

— Где?

— Там, за забором…

— Не знаю…

— Опять заталдычила: «не знаю, не знаю», — разозлился Олег. — Ты что, совсем без памяти?

— Я не сказала: «не помню», я сказала: «не знаю».

— Ну и что будем делать, помнящая и ведающая, но почему-то ничего не знающая, Тара, которая, как богиня, просто обязана всё знать и помнить, потому что она «ведающая»?

Она снова посмотрела на него синими-синими глазами и ничего не сказала.

— Ладно, — махнул Олег рукой. — Раз опять не знаешь, значит, не знаешь. Но я ведь тоже не знаю, что делать дальше?

— Надо искать людей, — сказала Тара. — Без них пропадём.

— И где же их искать? Я думал, за забором, там, откуда мы пришли. Но этот долбаный забор от нас бежит. Так где?

Тара показала глазами в ту сторону, куда проскакали всадники.

— Искать хазар? — удивился Олег.

— Людей,.. кто бы они ни были…

— И они нам «секир башка»! — Олег провёл ребром ладони по горлу.

— Всё может быть, но без людей всё равно пропадём. Надо хотя бы двигаться по их следу…

— Тогда идём, — сказал Олег. — Другого направления, наверное, у нас нет…

— Да, — сказала она.

— Что «да»?

— Другого направления у нас нет…

— Откуда ты это знаешь?

— Не знаю…

— Тьфу ты! — Олег эмоционально сплюнул, потом, помолчав несколько секунд, спросил:

— Слушай, ты часом не того? Не чокнутая?

— Нет, я нормальная, — ответила она. — Если человек чего-то не знает, это не значит, что он чокнутый.

— Может, ещё раз попробовать догнать забор? — спросил он, чувствуя, что её мнение для него почему-то становится важным.

— Попробуй, но это бесполезно.

— Почему?

— Потому что забора уже нет — только тень его…

Он опять посмотрел на неё с сомнением и больше из любопытства, чем для уверенности, спросил:

— А куда он делся?

— Не знаю… Может, его совсем не было…

— Как это не было? Я чуть ли не лбом стукнулся о него, когда мы съезжали по снегу.

— Тогда был, а потом его не стало. Была зима, наступило лето…

— Вообще какой-то бред ты несёшь…

Бред бредом, но реалии вполне соответствовали этому бреду. Олегу казалось, что он спит, ему хотелось проснуться, вернуться в зиму, к прочному деревянному или каменному забору, но он никак не мог избавиться от этого сна, очень похожего на явь…

Олег встал, протянул Таре руку.

— Так рассуждать, действительно с ума сойдёшь, — сказал он. — Пошли. Может, тех скакунов догоним… — с сарказмом добавил он и усмехнулся.

Поднимаясь, она ничего не сказала в ответ…

2

Спать сидя — для меня задача трудно решаемая. Я никогда не мог заснуть, сидя в самолетном, автобусном или автомобильном кресле. Тем более, на таком неудобном паромном диване. Удавалось лишь как-то дремать.

Народ вокруг, несмотря ни на что, дружно спал и даже похрапывал в тусклом, мутном свете потолочной лампочки. Спал, но, тем не менее, бдительно охранял свои узлы, сумки и чемоданы, которыми завалил практически все проходы между диванов. «Словно очередное великое переселение азиатов с востока на запад», — снова подумал я, устраиваясь поудобнее.

Сколько ушло времени на такие «лишь как-то», я не знал, но наступил час, когда я, вконец измученный деревянной лавкой, переместил своё тоже задеревеневшее тело вместе с сумкой на верхнюю палубу, нашёл уголок, где было меньше ветра, и стал смотреть на море. Надежды на удачное возвращение к приютившему меня на ночь суровому дивану уже не было.

И неожиданно я заметил позади судна розовую полоску на горизонте, которая узенькой красной чертой как бы разделила море и небо. Полоска потихонечку росла и росла, становясь всё толще и раздаваясь вширь. И скоро от неё стал исходить свет. Над морем загоралось утро.

Я никогда не думал, что Каспийское море может быть таким красивым. Как-то привык к Чёрному. Был на Балтике — не понравилось, серая вода под серым небом. Был в Баку, но ничего, кроме грязного бакинского залива, в котором даже купаться нельзя, не видел. Один знакомый капитан рассказывал, что в бакинском заливе водолазы проваливаются в осевший на дно мазут более чем на два метра. Плоды цивилизации. Заболоченные берега Дагестана тоже проигрывают черноморскому побережью Кавказа. И вдруг…

Солнце приподняло своё золотистое веко над горизонтом, и всё вокруг засияло, засветилось, преломляясь бликами в небольших, нет, не голубых, — бирюзовых, нежнейших оттенков, волнах. Смотреть как бы не на что — кругом вода и небо, но смотреть было на что: красочная картина раскрывалась захватывающая, росла вместе с восходом солнца.

И вдруг я увидел нечто совсем уникальное, каспийское. За бортом довольно часто стали появляться небольшие, до полуметра длиной, тушки. Они потешно лежали на воде, иногда очень лениво шевелились, и я не сразу понял, что это такое. Потом догадался: каспийские тюлени. Они спали на воде, греясь в лучах утреннего солнца, и не обращали внимания на паром. Только изредка какие-то из них по известным лишь им причинам вдруг ныряли и исчезали бесследно, оставив маленькую вспышку морской пены. Всё это было так удивительно и красиво, что я, забыв о своих проблемах, об усталости, о холодном ветре, о своей сумке и о том куда и зачем еду, напряжённо всматривался в поверхность голубеющего моря и хотел — ещё, ещё. Только своим видом и присутствием маленькие животные возвращали меня в нормальную жизнь…

3

Тюлени сопровождали паром довольно долго, хотя и не густо. Уже поднялось над горизонтом горячее солнце пустыни и начало припекать, а тюлени всё никак не могли проснуться и заняться своими привычными делами. Возможно, они уже занимались ими, а вся эта их ленность мне только казалась, но создавалось впечатление, что они преследуют паром не своим движением, как дельфины, а количеством, и приятное чувство осознания того, что этих редких зверюшек ещё довольно много, наполняло душу чем-то возвышенным и радостным.

Паром методично скрипел и дёргался, не меняя скорости. С восходом солнца на верхней палубе стали появляться уставшие от бессонницы пассажиры.

Потом будто ниоткуда над паромом возникли птицы. Какие-то чайки, может быть, бакланы или ещё кто-то. Их появление всегда говорило мореплавателям, что берег близко.

Справа по курсу появились низкие скалистые острова, на них обозначились какие-то постройки, нефтяные вышки, огромные эксцентрики насосов.

— Нефтяные Камни, — сказал стоящий неподалёку мужчина, по виду местный. — Искусственный остров посреди моря — гордость Советского Азербайджана. Сейчас почти не работает…

Я посмотрел на него и ничего не сказал. Тогда мужчина посмотрел на свои наручные часы, произнёс как бы в никуда:

— До Баку совсем немного хода…

И отвернулся.

Я и сам знал, что до Баку «совсем немного хода». Но сейчас меня это не очень устраивало. Я чувствовал какую-то странную неуверенность и тревогу, как всегда, когда я имел неполную информацию или не мог оценить обстановку, и потому был не в состоянии принять правильное решение.

Нужно было думать, и я добросовестно пытался это делать, но это у меня, наверное, плохо получалось. Как и все разы за эти дни…

Нефтяные Камни прошли по правому борту и остались позади, скоро исчезли из вида. Зато на горизонте в туманной дымке показался континентальный кавказский берег. Он медленно рос и надвигался на меня, я смотрел на него и курил, но никак не мог придумать, что мне делать дальше. Вернее, куда двигаться? Стоять на месте я не мог…

4

Паром медленно вползает в просторную бакинскую бухту, а я стою на верхней палубе, смотрю на растущий на берегу большой город и совершенно не знаю, что мне делать дальше. От красного особняка в оренбургском лесу я убежал довольно далеко, пока удачно миновал все опасности на своём пути, но есть ли город Баку окончание моего бегства и где он, этот конец, — вот вопрос.

Я уверен, что нет, что конца пока не видно. Потому что мне обязательно надо покинуть постсоветское пространство, потому что, хотя на этом про-

странстве и разные независимые государства, суть в них одна, потому что они получили одинаковое наследство. И передвижение по ним практически свободно, а уж о криминальных связях и говорить нечего — они едины — что на бандитском, что на банкирском уровнях. Я пока не знаю, куда именно мне бежать дальше, но главное направление я уже выбрал: в любое, но обязательно дальнее зарубежье. И чем дальше, тем лучше. Об этом можно уже не размышлять…

Известно, что Баку — порт внутреннего моря, не имеющего выходов в другие моря и океан, так что наняться здесь матросом на какую-то посудину можно разве что до Махачкалы, а это отпадает сразу... Иран — тоже не вариант, мне очень не хотелось забираться в глухие азиатские дебри без знания языка и местных обычаев. Аэропорт? Там контроль наверняка уже пожестче, чем в Гурьеве или в Красноводске — ведь лететь надо в по-настоящему чужие страны. Риск? Риск сейчас везде. Поезд? Я знаю лишь три направления железных дорог из Баку: на Иран, на Грузию, через недружественную Азербайджану Армению, и опять на ту же Махачкалу. Иран и Махачкала — опять тупиковые варианты. В Грузию поезда вряд ли ходят. Нанять машину до турецкой границы (я был уверен, что современные азербайджанцы частенько шастают туда и обратно через границу) и постараться избежать встречи с турецкими пограничниками? Но как бы не получилось, точно у Остапа Бендера на границе с Румынией. И опять: что делать на окраине совершенно незнакомой страны без знания языка, обычаев, фактически без документов и прочего? Всё равно где-нибудь влипнешь, и «совершить побег» из одной тюрьмы — российской — в тюрьму турецкую — раз плюнуть…

Остаётся аэропорт. Здесь риск самый большой, но может оказаться вполне оправданным, потому, что прибытие в Стамбул может выглядеть вполне законным, а результат дать — максимальный.

Достаю из кармана куртки свой долларовый запас, пересчитываю. Да, худеет пачечка долларов за джип, но денег пока ещё вполне достаточно, — можно на что-то надеяться. Отсчитываю пять сотенных бумажек, перекладываю в другой карман.

Ведь я надеюсь, потому решаю: аэропорт.

Паром причаливает как-то шумно и дымно — облако солярного дыма на полминуты накрывает пристань. Опускают трап, и я, подняв сумку, перехожу на твёрдую землю. Нагнав одного попутчика, на вид — русского, спрашиваю, как проехать в аэропорт и где можно обменять доллары на азербайджанскую валюту? (Не платить же мне долларами в автобусе). Не знает… Приходится обратиться к официальным лицам.

Здесь, в конце причала, уже и турникеты, и рамки для просвечивания багажа, рядом зевающие спозаранку охранники и контролёры, — я бросаю сумку на транспортёр рамки и прохожу дальше. Спрашиваю у толстого азербайджанца в форме морского служащего и с бэйджиком контролёра на груди:

— Брат, скажи, как проехать в аэропорт?

— Вокзал прайдёшь, — охотно отвечает «брат», — там двэр на улица. Налэво смотрышь, видышь автобус, написан: «Аэрпорт». Садышься, едэшь.

— А где можно валюту обменять, а то у меня нет азербайджанских денег?

— Там люды бродит, сам предлагает. В вокзал, за вокзал. Смотри хорошо. В банк — надо город ехат.

— Спасибо, брат…

Он раскатывает круглое лицо в широченную улыбку, но лишь на секунду, потому что при исполнении, потому что должен выглядеть сурово.

Толпа, сошедшая с парома, быстро растворяется неизвестно где и как, и я пытаюсь сделать то же самое, только иду не мимо здания морвокзала, а через него.

Людей в просторном зале немного, и среди них я сразу узнаю людей международной постсоветской профессии — валютных менял. Но подходить к ним не спешу — пусть сами подойдут.

Вот, наконец, один меня заметил — низенький, какой-то вертлявый на вид, — подходит как-то одновременно боком и сбоку, что-то лопочет на азербайджанском.

— Чё-ё? — специально громко спрашиваю я.

Он вздрагивает, как от занесённой палки, но не уходит, говорит по-русски:

— Валют. Долляр. Евро, рубл, манат… Самый луший курс…

— Доллары по какому курсу?

— Три манат за долляр…

Он называет курс, в котором я ничего не смыслю, но говорю с видом знатока.

— Это мало…

— Везде такой, — обижается он.

— Давай, добавляй процентов тридцать.

— Скоко будэшь менят?

— Пять соток…

Он тяжко и длинно вздыхает, потом произносит обречённо:

— Толко двадцат процент…

Я понимаю, что он меня обязательно надует. У таких глаз опытный, сразу понимают, с кем имеют дело. Но на длительную торговлю у меня просто нет времени, потому я соглашаюсь.

Мы заходим за какой-то ларёк, и он отсчитывает мне азербайджанские манаты, а я отдаю ему свои пятьсот баксов.

На прощанье спрашиваю:

— Сколько отсюда платят ваших на такси до аэропорта?

— Сколко договорышься, — отвечает он отрывисто и, окончательно потеряв ко мне интерес, быстро уходит.

Но мне и так всё ясно…

Глава семнадцатая
КАВКАЗСКАЯ ОДИССЕЯ

1

Степь вокруг была покрыта густой травой — никаких намёков на дорогу

или лемех плуга. В наше цивилизованное время всё это выглядело довольно странным. Как и ряженые всадники, хотя и в наше время они появились, но в других костюмах, как бы ненастоящих. Своих современников Олег узнал бы сразу и не удивился. Но у этих наряды были незнакомыми, но выглядели настоящими и на всадниках сидели естественно. Те, видимо, проскакали напрямик, без дороги, по каким-то известным им признакам выбирая направление.

Передвигаться пешком по этой траве было непросто. Тем более, в компании с хрупкой и слабой девушкой, явно избалованной горожанкой.

Метров через пятьсот Олег оглянулся, посмотрел на Тару. Она не отставала ни на шаг, шла следом, точно привязанная.

— Ты не устала? — глядя на её по-прежнему свежее лицо, спросил он просто так, лишь что-нибудь спросить.

— Нет…

— Тебе не тяжело?

— Нет…

— Если устанешь, скажи, и мы передохнём, — сказал он, чувствуя сам какую-то непонятную усталость, наплывавшую вместе с пеклом, горячим ветром и миражами на горизонте.

— Хорошо, но я не устану... — безучастно ответила она.

— Или там, ещё чего-нибудь захочешь… Ты не стесняйся, говори…

Тара ничего не ответила.

Олег ещё раз посмотрел на неё и тоже ничего не сказал, отвернулся, зашагал впереди.

— Нам надо брать левее, ближе к реке… — неожиданно произнесла девушка. — Там дорога…

Он остановился и с удивлением посмотрел на неё.

— Откуда ты знаешь?

— Там проскакали те, на лошадях. Кони подняли пыль, значит, травы нет.

— А мне кажется, они проскакали правее, и там пыли не было... — чувствуя раздражение, сказал Олег.

— Нет, они проскакали там. — Тара показала левой рукой в сторону реки. — Там дорога…

Олег посмотрел в ту сторону и остолбенел. Ещё далеко от них, километрах в двух-трёх, пылили какие-то повозки. Прямо в их сторону.

— Быстро, за мной, — крикнул он и побежал к ближайшей ложбинке в степном пространстве, добежав, спустился вниз и рухнул на землю. Он слышал, как Тара упала рядом.

— Тихо, — сказал он и приложил палец к губам, хотя девушка и так молчала.

Видимо, повозки были легкоконные, они очень скоро приблизились к ним, и, приподнявшись, Олег увидел их метрах в ста от себя, услышал скрип колёс и гортанные крики погонщиков. И снова ему показалось, что он понимает их.

— Ты понимаешь их язык? — спросил он.

— Да…— отозвалась Тара.

— Они же не по-русски говорят…

— Да.

— Ты знаешь их язык?

— Нет…

— Но понимаешь?

— Да.

— Что они говорили?

— Ты же сам понимаешь.

Олег удивлённо глянул на неё.

— Что они говорили?

— Они кричали: «Быстрей, быстрей, в крепость, иначе они нас нагонят…» и ещё — ругались на ленивых лошадей…

Да, Олег понял то же самое. Несколько минут он молчал, потом спросил устало:

— Но хоть ты понимаешь, что происходит?

— Да… — сказала она и опустила припушенные длинными ресницами синие глаза.

— И можешь мне объяснить…

— Когда-нибудь... — ответила она, и Олег понял: сейчас она ему ничего не скажет…

2

На привокзальной площади много легковых машин. И все они — такси, хотя ни на одной нет никаких знаков, указывающих на эту их принадлежность. Просто у машин стояли или медленно передвигались усатые и безусые азербайджанцы и, размахивая ключами на пальцах, говорили тюркам что-то по-своему, у русских же одинаково спрашивали:

— Куда едэм?

— В аэропорт, — ответил я одному из них, парню лет тридцати в пиджаке и кепке. Выбрал его, видимо, потому что он был без усов.

— Поехалы, — обрадовался тот и тут же протянул руку к моей сумке — помочь поднести и чтобы уже не убежал.

— Сколько возьмёшь? — спросил я, отводя ручки сумки за спину.

— А-а, сколко возмёш? Совсем ерунда возмеш… — размахивая руками, он говорил это так, будто занимался благотворительностью и оскорблялся от этого самим моим вопросом.

— Нет, ты мне скажи точно…

Он сдвинул кепку на затылок, почесал лоб с таким выражением лица, будто ехал в аэропорт в первый раз в жизни и совсем не знал расстояния до него, потом решительно махнул рукой и сокрушённо произнёс:

— А-а, давай ерунда — триста манат…

Я уж точно не представлял себе, сколько ехать до аэропорта, но немного знал восточные законы торговли, знал и то, что при обмене триста манат мне обошлись в кругленькие сто баксов, потому сделал опытное лицо и направился мимо.

— Стой! — сказал водитель. — Давай двэсти пятдесят…

Это уже лучше, но я не переменил позы.

— Двэсти...

— Сто пятьдесят, — задержался я на секунду, идя ва-банк. — И ни манаткой больше…

— Э-э, нет! — Он сморщился, как от зубной боли. — У меня жена, дети, чем кормит буду?

— Как хочешь… — Я переместил лямки сумки в другую руку, собираясь уйти.

Он сделал такое лицо, будто я его ограбил. Вот так, просто, ни за что ни про что, отобрал всё имущество и раздел донага, заставив детишек голодать. Но машин на площади много, и это видел не только я, но и он.

— Ладно… Поехалы, — сказал он обиженно и за сумкой уже не потянулся.

Мы подошли к белой «шестёрке», которая, как ни странно, выглядела вполне прилично, несмотря на эксплуатацию извозом.

Я бросил сумку на заднее сиденье, и мы уселись в машину. Стартер жалобно поныл, но двигатель бодро фыркнул, машина сорвалась с места так, словно лопнули державшие её верёвки. За окнами поплыл красивый город Баку. Хорошо, что у него старое название, что не переименовали, а то был бы какой-нибудь «Алиевкент» или «Азербайджанбаши».

Водитель оказался по обычаю болтливым, он что-то непрерывно рассказывал, в чём-то клялся, на кого-то обижался, кого-то побеждал, а я поддерживал разговор, не слушая его, — кивками головы выражал своё полное согласие с речью таксиста. И не потому, что мне не нравилась его болтовня, нет, просто с каждой сотней метров нашего приближения к аэропорту во мне росли тревога и сомнения по поводу правильности выбранного мною пути бегства с территории независимого государства Азербайджан. Наверное, я чувствовал: наступает самый ответственный и опасный для меня момент за время моего передвижения от красного особняка до города Баку, и даже мои похождения в славном казачьем городе Уральске можно было не брать во внимание. Здесь всё могло разом кончиться. И поэтому я опять тщетно пытался что-то осмыслить и взвесить, хотя глупо пытаться что-то взвесить, не имея в руках ни весов, ни того, что нужно взвесить.

А может быть, я был уже сильно измотан, и потому с каждым новым шагом всё больше нервничал. Как знать?

Действительно, а кто его знает, где он, этот «самый ответственный и опасный момент» в твоей жизни?

— Приэхали, — сказал таксист, с которым я так и не успел познакомиться, и резко нажал на тормоза. «Шестёрка» клюнула носом и замерла у тротуара.

Я посмотрел на водителя и протянул ему две сотни манат. Он как-то смущённо улыбнулся, но деньги взял без особого восторга.

Может быть, я делал неправильно, заплатив больше, ещё не зная своего будущего, но так уж устроен человек: пока у него есть деньги, он чувствует себя богачом и легко расстаётся с ними. А вот когда деньги кончаются?.. Но у меня они пока были…

— Спасибо... — сказал я водителю, выбираясь из машины.

— Счастливо, брат… — услышал я в ответ.

«Ну вот, снова побратались…», — с усмешкой подумал я и направился к зданию аэровокзала.

3

И только у кассы я ещё раз, уже конкретно задал себе вопрос: «А куда я лечу?» И тут же поспешил ответить, словно боялся, что сам отменю уже однажды принятое решение: «Ну, конечно, в Турцию, в Стамбул!»

Почему я выбрал Турцию, я сам не знал. Наверное, это вытекало из логики событий. По мере моей удалённости от красного особняка в Оренбургской области моя уверенность в правильности выбранного мною направления мало-помалу таяла и таяла. Сначала передо мной стояла задача просто сбежать куда подальше. Но Земля круглая, и вскоре передо мной стал прорисовываться, а потом расти вопрос: куда? Но на этот вопрос ответ был таким: в Турцию — больше некуда!

Для собственной уверенности я вернулся к большому расписанию полётов на стене, постоял перед ним, нашёл строчку «Стамбул», отметил про себя: «Через три часа вылетает, — отлично!» и направился к кассе.

Людей в большом холле аэровокзала ещё советской постройки совсем немного, никто никуда не спешит, не суетится, словно уверен каждый в скорости и надёжности своего перемещения, отчего аэровокзал больше похож на европейский, чем на азиатский — ведь Баку всегда претендовал на звание города европейского, хотя и с азиатскими кварталами. Как Стамбул, например…

Я тоже старался не спешить, но получалось это у меня плохо…

За окошком кассы — русская девушка, хотя чёрноволосая. На груди по новой американской моде бэйджик с одним именем: «Маргарита». Это меня обнадёжило, показалось подтверждением правильности выбранного маршрута.

— Рита, добрый день! — Я попытался изобразить очаровательную улыбку и тем выдать себя за «своего».

— Здравствуйте! — отозвалась она. Её улыбка действительно очаровательна, не то что моя, наверняка.

Просунул паспорт в окошко:

— Мне один билет до Стамбула…

Она раскрыла паспорт, посмотрела в него и, как мне показалось, в глазах её мелькнула удивление.

— Вы транзитом из Казахстана?

— Да…

Я почувствовал, что споткнулся. Что-то не так… Напрягся в ожидании новых вопросов…

— У вас есть турецкая виза?

— Виза? Что, в Турцию нужна виза?

— Пока да. У Казахстана с ней отношения старые. Отсюда вы сможете улететь, но в Стамбул вас могут не пустить, хуже того, — арестовать.

Да, о визе я и не подумал…

— А куда не нужна виза?

— В бывшие советские республики, то-есть страны СНГ.

Да-а... Как в песне Высоцкого: «Там хорошо, но мне туда не надо…»

— Слушайте, — неожиданно и почему-то шёпотом сказала она. — Если вам необходимо срочно уехать из Баку и переместиться ближе к Стамбулу, я порекомендовала бы вам поезд. Езжайте на жэдэ вокзал. Там есть поезда на Грузию, из Грузии уже можно перебраться в Стамбул по морю. Даже без визы, если сумеете устроиться матросом…

Она меня удивляла своей осведомлённостью. Говорила, как опытный экскурсовод или контрабандист. Такая красивая и — контрабандистка. Здорово! А может, она и в самом была экскурсоводом-контрабандисткой для тех, кому нужно сбежать за границу. Всё может быть на нашем замечательном постсоветском пространстве.

Я вздрогнул, но всё же спросил и почему-то тоже шёпотом:

— А самолётом в Батуми можно?

Она как-то странно посмотрела на меня и сказала:

— Можно. Но только с пересадкой в Тбилиси. Но там придётся ждать четыре часа.

— Значит, самолёт прямой только до Тбилиси?

— Да.

— Когда вылет?

— Через полтора часа.

Ну что ж. Наверное, другого выбора у меня нет. Это ельцинское Содружество держало меня в себе так, будто я был намазан каким-то очень прочным клеем. В Тбилиси быть долго мне не хотелось, но от грузинской столицы до Чёрного моря, на которое я теперь очень надеялся, совсем недалеко.

— Давайте до Тбилиси, — сказал я. — А там посмотрю…

— Поспешите, — сказала она, протягивая мне билет. — Регистрация уже началась.

— Спасибо…

Я расплатился за билет и направился в ресторан — проедать оставшиеся манаты. Посмотрел на часы: до вылета остался один час пятнадцать минут. Время всё же двигалось, хотя и очень медленно…

4

Через неполный час наш самолёт приземляется в Тбилиси.

Когда-то я был в этом замечательном городе, который в течение двух веков был в составе России и прежде назывался Тифлисом. Теперь это столица независимого государства, и практически всё здесь, как во всех новоявленных столицах Содружества Независимых Государств — торгуют всем, вся и везде. Конечно же, с местным грузинским колоритом.

Пройтись по городу и хоть как-то посмотреть на его улицы мне, конечно, не удаётся. Узнавая и не узнавая город, я, подумав и уже не меняя баксы, выбираю поезд и перебираюсь из аэропорта на железнодорожный вокзал: мне нужно в Батуми, к морю, а ждать самолёта на Батуми у меня желания нет.

Впервые я почувствовал усталость от этого непрерывного бега в никуда. Но задерживаться нельзя, и я беру такси до вокзала.

Выхожу наружу и улавливаю что-то знакомое. В памяти сохранились здание вокзала, привокзальная площадь, улица, ведущая от вокзала в центр. Вспоминаю лишь за счёт зрительной памяти — не побывав вновь в городе, не вспомнил бы. Сейчас город похож на большой базар, но по-прежнему красив, что-то неуловимое, тифлисское витает в воздухе, и кажется, что его терпкие, пряные запахи — это запахи самой Грузии.

До Батуми бегает электричка. Отправляется через сорок минут. Замечательно. Будет меньше проблем.

В кассу небольшая очередь — говорливая, пульсирующая жизнью. Я ничего не понимаю, о чём они говорят, — русские слова проскакивают лишь изредка. Но кассирша, молодая грузинка лет тридцати, ещё меня понимает.

— Мне на электричку до Батуми один билет, — говорю я ей, протягивая пятидолларовую бумажку.

— Нет сдачи, — говорит она и как-то странно смотрит на меня.

— А вы давайте грузинскими деньгами…

— Лари — не могу, потому что прихода нет.

— Тогда давайте без сдачи…

Теперь-то она положит в кассу за меня свои лари.

Она забирает баксы и быстро выписывает билет. Паспорт не спрашивает, и мне это нравится. Хотя на электричку, возможно, он и не нужен.

Я снова подхватываю сумку и выхожу на перрон; увидев свободную скамью, устраиваюсь на ней, закуриваю так, будто не курил три дня. И почему-то вспоминаю, как больше двадцати лет назад на этом самом перроне в ожидании поезда на Ростов ужинал, открыв банку консервов с печенью трески. Вспоминается даже вкус этих консервов, и что-то тёплое теснится в груди.

Грузия — маленькая страна. Электричка шустро пробегает дорогу до Батуми с одной больший остановкой в Кутаиси. Попутный народ всё также гомонит на грузинском, пьёт вино из бурдюков, поёт песни, выходит и входит на остановках, я держусь в стороне, смотрю на красоты за окном и стараюсь их вспомнить. Что-то у меня и это плохо получается.

И вот синяя гусеница поезда втягивается на станцию Батуми, скрипя тормозами, останавливается. Народ быстро разбегается в разные стороны.

И что дальше? Как говорится в одном юмористическом рассказе: «Дальше уже некуда, дальше уже море…»

Но мне надо дальше, за море…

5

Заканчивается двадцатый век. Печальный и лихой. Дважды поменявший русскому народу государство. У кого ещё так было? Только у нас. Наступает новый век, о котором «всенародно избранный» президент объявляет на год раньше. Но чтобы он сильно отличался от века предыдущего и в лучшую для людей сторону, пока не заметно. По-прежнему во всём мире кровь, стрельба, взрывы, и целенаправленная культурная и образовательная деградация общества во всех странах ради мировой власти и ещё больших денег. И как

главный принцип отношений между властями и народами — ложь, которая приползла из-за океана и стала основой отношений между людьми. И скоро уже, как и в начале века двадцатого, эти люди, подталкиваемые и финансируемые теми же силами, продолжат убивать своих братьев. И будет это явление не только где-то на постсоветском пространстве, но и у нас, в России.

Но главное то, что на Русь возвратились события тысячелетней давности. Говорят же, что история развивается по спирали. Видимо, это так. И ещё говорят, что на ошибках учатся, но по-разному. Умные люди учатся на чужих ошибках, неумные — на своих, дураки же не учатся никогда. Так кто же мы такие, к какой категории «умности» относимся? Очень бы не хотелось заподозрить себя в третьей категории.

На Россию свалилось сатанинское влияние денег. Такое влияние, какого, наверное, не было никогда. Карл Маркс был умным человеком. Это он сказал, что бытие человека определяет его сознание. Под влиянием денег многие наши граждане, сменив своё «бытиё», сменили и сознание. Люди, имевшие средний материальный достаток, получив доступ к большим деньгам, моментально забыли о чести, совести, порядочности, мгновенно обрели все качества бесчувственных подлецов и безжалостных негодяев. Слова «совесть», «честность», «стыд» стали искореняться из общества, особенно из лексики молодёжи, а величина значения человека стала измеряться толщиной его кошелька или банковским счётом. И единое общество, единый народ раскололись, между гражданами, которые вдруг стали очень набожными, пошла гулять ненависть.

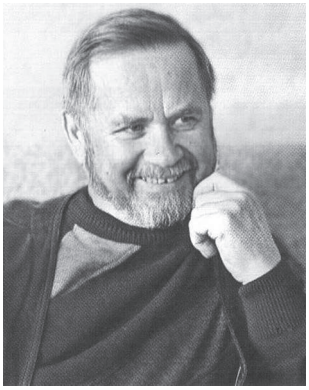
Но это всё позже. А пока век заканчивается, но моя одиссея, оказывается, только-только начинается. И сколько мне предстоит скитаться по разным странам, я пока не знаю.

Из Батуми я, устроившись матросом на какое-то грузинское судно непонятного назначения, перебираюсь в Стамбул. Там, сбежав от грузин без расчёта, также матросом уже на танкере прибываю в Неаполь, дальше — Ницца, Милан, Зальцбург, Мюнхен, ещё города и годы, и ещё, и вот, наконец, Дюссельдорф — и билет на самолёт до Ростова у меня в руках.

На эти скитания ушло немало времени. Где я был, что делал, как улаживал свои проблемы с властями, с кем жил, кого любил и кого ненавидел — это тема совершенно другого романа. Одно лишь могу сказать, что с течением времени и длинны моей дороги во мне непрерывно росло желание вернуться на родину, в свой (я ещё надеялся, что это так) город. Европа прекрасна, но там для меня всё чужое, и русскому человеку лучше на Европу смотреть, но не жить в ней…

И вот, наконец, я в салоне аэробуса рейсом «Дюссельдорф – Ростов-на-Дону», устраиваюсь поудобнее в кресле и смотрю в окно. Что ждёт меня там, на вновь обретаемой родине, я не знаю.

Владимир Молчанов



НИ НАЙТИСЬ… НИ ПОТЕРЯТЬСЯ…

***

Ты – никто, и я – никто…
Вот и наша песня спета.
Дайте шляпу и пальто –
Я пойду гулять по свету!

Я пойду на край земли,
Ты – за мною… может статься.
Чтоб с тобой мы не смогли –
Ни найтись… ни потеряться…

***

Спеши, не торопясь.
(Народная мудрость)

Живу на свете торопливо,
Куда-то сам себя гоня.
Снежинок иглотерапия
Бодрит спешащего меня…
И, как таблицу умноженья,
Твержу себе я: «Стоп!» Но вот

Молчанов Владимир Ефимович, поэт, член Союза писателей России, председатель Белгородского регионального отделения СП России. Родился в ст. Ильской на Кубани. Окончил Белгородское музыкальное училище и Воронежский государственный университет.

Автор одиннадцати книг поэзии. Его стихи переведены на немецкий, польский, болгарский, украинский и азербайджанский языки.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999)

Живёт и работает в Белгороде.

Опять инерция движенья
Остановиться не даёт.
Прекрасно знаю, – неприлично
Быть опоздавшим, но беда –
Я в вечной спешке, как обычно,
Не успеваю никуда!
И, возвращаясь вновь к истоку,
Я говорю себе, смеясь:
«Чтобы успеть куда-то к сроку –
Всегда спеши, не торопясь…»

***

На Алтае – Крымская жара,
Будто в тигле, плавится июнь.
Поутихли горные ветра,
Лишь в низине буйствует Катунь.
А душа здесь просится в полёт!
И в священной горной тишине
На Пикете таволга цветёт
В память о великом Шукшине…

***

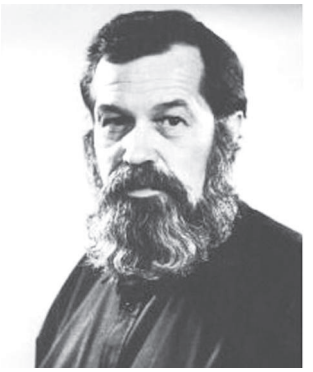
Стали мысли непокорными,
Наши чувства торопя.
Стали улицы просторными, –
На которых нет тебя.

Ты прости за строчки беглые. –
Сам себя вдруг не поймёшь:
Повернуться в мире негде мне,
Коль навстречу ты идёшь!..

***

Сюжет для лирической повести:
О, как ты была хороша! –
В порыве счастливой весёлости
Взорвалась поэта душа.
От чувств ли избытка, как в юности
(Ты знаешь, конечно, сама) –
Отчаянно делаешь глупости…
Чтоб после набраться ума!

Николай Коняев



СВЯТОЙ, ОТМОЛИВШИЙ РУСЬ

В этом году исполнилось 400 лет преставления преподобного Иринарха, затворника Ростовского

Близко, уместившись в пространстве двух лет, сошлись судьбоносные для нашей страны даты — рождения будущего освободителя Москвы от поляков князя Дмитрия Михайловича Пожарского и обретения на казанском пепелище Чудотворной Иконы Божией Матери, перед которой тридцать три года спустя будут молиться ополченцы накануне последнего штурма Кремля...

Но в том же 1578 году, когда родился князь Дмитрий Пожарский, принял в Ростовском Борисо-Глебском монастыре постриг тридцатилетний Илия, наречённый в монашестве именем Иринарх — преподобный, который и благословит поход ополчения князя Дмитрия Михайловича Пожарского на Москву...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О детстве преподобного Иринарха сохранилось довольно много сведений.

Родился крестьянский мальчик Илия в июне 1547 года в селе Кондакове Угличского уезда близ Ростова.

Отца его звали Акиндином, мать — Ириной.

Старших братьев — Андреем и Давидом.

1

Илия ещё в раннем детстве прозрел предстоящий ему путь.

Николай Михайлович Коняев родился 25 августа 1949 в посёлке Вознесенье Ленинградской области, русский писатель, секретарь Правления Союза писателей России. Председатель Православного общества писателей Санкт-Петербурга.

Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Случилось это, когда он услышал рассказ священника о преподобном Макарии Калязинском.

Временная и географическая близость преподобного Макария чрезвычайно возбудила мальчика. Илия живо представил себе преподобного, как своего соседа...

— И я буду таким же! — сказал он.

Разговор этот произошёл, когда мальчику было шесть лет...

Думается, не случайно Житие святого приводит такие подробности его детства. Первые годы жизни преподобного совпали с важными историческими событиями, значение и смысл которых раскроется многие десятилетия спустя, но которые Божьим промыслом уже тогда сопрягались с духовным становлением будущего преподобного…

Ведь в том самом году, когда родился он, 16 января 1547 года короновали на царство Иоанна IV Васильевича, а 3 февраля царя обвенчали с юной Анастасией, дочерью вдовы Захарьиной.

2

3 февраля 1547 года дата семейной истории не только дома Рюриков. Получается, что это ещё и дата начала возвышения бояр Романовых…

Так вышло, что после свадьбы зашумели на Москве пожары…

12 апреля 1547 года погорели Китай-город и Торг, а 20 апреля пожары забушевали уже за Яузой.

Но главные пожары были впереди, и, словно бы предвещая их, зазвенела земля — упал с колокольни Благовещенского собора большой колокол.

Неведомо откуда появились тогда на Москве «сердечники» — чародеи, «вынимавшие из людей сердца»…

И вот 24 июня *«загорелся храм Воздвиженья Честного Креста за Неглинной, на Арбатской улице, на Острове, и бысть буря велика, и потече огнь якож молния, и пожар силен промче во един час Занеглименье. И обратися буря на град больший...»*

«Больший град» — это Кремль.

Вспыхнули кровли на палатах и деревянных избах, в огне погибла казна, оружейная палата, царская конюшня. Сгорел расписанный фресками Андрея Рублёва Благовещенский собор...

Опустошив Кремль, пожар с новой силой набросился на уцелевшие районы города. Железо там *«яко олово разливашеся, и медь яко вода растаяваше»*. Всего сгорело в июньском пожаре 25 тысяч дворов, погибло около двух тысяч жителей.

И поползли, поползли распускаемые князем Скопиным-Шуйским и дядей молодой царицы Григорием Юрьевичем Захарьиным слухи, что виновниками пожаров являются Глинские.

Говорили, дескать, это бабка царя Анна Глинская со своими детьми и людьми *«волхвала: вынимала сердца человеческие да клала в воду, да той водой, разъезжая по Москве, кропила, и оттого Москва выгорела, а у самих Глинских усадьбы не пострадали в огне»*.

26 июня в Москве вспыхнуло восстание…

Восставшие убили дядю царя — князя Юрия Глинского, а Михаил Глинский сам бежал в Литву. Ещё твёрже, ещё увереннее встали у престола царское «шурьё» — Юрьины-Захарьевы…

«Господь наказывал меня за грехи то потопом, то мором, и все я не каялся, наконец, Бог наслал великие пожары, и вошёл страх в душу мою и трепет в кости мои, смирился дух мой...», — вспоминая о тех днях, говорил Иоанн IV Васильевич Грозный.

Разумеется, произнося эти слова, государь и знать не ведал о крестьянском мальчике Илии, который родился в это страшное время в селе Кондаково, но это случайное совпадение, по большому счёту, оказывается совсем не случайным.

Трепеща и ужасаясь, царь Иоанн IV Васильевич Грозный молился о даровании ему смирения, но не обрёл его. Великое и спасительное для Руси смирение было даровано другому молитвеннику — преподобному Иринарху.

Скорее всего, будущий преподобный был крещён в честь Ильи Пророка, и значит, рождение его приходится как раз на большие московские пожары — на лето 1547 года.

Само по себе это совпадение ничего не обозначает, но если мы вспомним, что преподобный Иринарх завершил свой земной путь 13 января 1616 года, в самом начале правления Михаила Фёдоровича, первого царя из рода Романовых, тайная связь несвязанных между собою событий станет ещё отчётливей.

Ведь как бы то ни было, но получается, что события истории восхождения на царский престол бояр Романовых и события земной жизни преподобного Иринарха попадают на один и тот же временной период.

3

1553 год — великий год царствования Иоанна IV Васильевича Грозного. Это год его третьего похода на Казань.

2 октября Казань пала…

Радость обретения Казанского царства слилась с семейным торжеством в царском доме. 11 октября царица Анастасия благополучно разрешилась от бремени сыном Дмитрием.

1553 годом можно датировать и крещение рода Захарьиных-Юрьевых теперь уже в дворцовой борьбе за власть. Именно в тот год «шурьё» схлестнулось с «ближним окружением» царя — Алексеем Адашевым, протопопом Сильвестром и их сторонниками.

Когда Иоанн IV Васильевич Грозный неожиданно занемог, братья царицы — то ли действительно опасаясь за жизнь царь, то ли выстраивая интригу, целью которой было оттеснить от престола других родственников и сподвижников царя, — уговорили его, чтобы все бояре, а главное, двоюродный брат царя, удельный князь Владимир Старицкий, присягнули их племяннику, младенцу Дмитрию.

Иоанн IV Васильевич Грозный и умереть опасался, и приближенных не прочь был испытать.

— Я вас привожу к крестному целованию, велю вам сыну моему Дмитрию присягнуть, а не Захарьиным! — вкрадчиво увещевал он бояр. — Но более с вами я не могу много говорить. Дмитрий и в пеленах для вас есть Самодержец законный, но коли вы не имеете совести, то будете ответствовать Богу…

Потом Иоанн IV Васильевич Грозный выздоровел.

Исполняя данный во время болезни обет, он отправился с царицею и сыном Дмитрием на богомолье в Кирилло-Белозёрский монастырь, хотя его и отговаривал преподобный Максим Грек.

Однако замкнул своё сердце царь для слов святого.

Шурья, как свидетельствовал Андрей Курбский, *«нашептаху ему во уши»*, что Максим Грек говорит так, исполняя заказ «ближнего круга» — Алексея Адашева и протопопа Сильвестра.

В принципе, событие достаточно ординарное.

Обычная дворцовая интрига…

Необычно в ней только то, что, кажется, впервые в русской истории шурью удалось развести своим шёпотом преподобного с царём, святость с властью.

Результат известен.

Назад, в Москву, возвращались в слезах…

Везли тело умершего в дороге царевича Дмитрия.

4

Попробуем разобраться, что же произошло тогда.

Царевич Дмитрий был первым сыном Иоанна Грозного.

Последним сыном тоже будет царевич Дмитрий, жизнь которого оборвётся в Угличе.

Одни считают, что в Угличе произошёл несчастный случай, другие полагают, что было совершено преступление. Одни винят в нём Бориса Годунова, другие — Романовых.

Как бы то ни было, но на престоле ни одному из настоящих Дмитриев не суждено было сесть.

Сядет на русском престоле самозванец Григорий Отрепьев — человек со двора бояр Романовых, назвавшийся царевичем Дмитрием…

Такое почти невозможно рассчитать и устроить, но и отнести подобное к категории случайного, ещё сложнее. Жесткая и неумолимая закономерность прослеживается в смене кандидатов на царский престол.

Царевич-младенец, которому уже была принесена боярами присяга, умирает по предсказанию святого…

Царевич-отрок, которого убили, чтобы открыть — Годуновым или Романовым? — путь к Престолу, будет прославлен как святой…

Самозванец, объявивший себя царевичем Дмитрием, усаживается на русском троне…

Власть… Святость… Обман…

Призрачность власти… Кажущееся бессилие и неизбежное торжество святости… Неодолимость лжи и обмана, которые неизбежно рассыпаются в прах…

Такие ряды выстраиваются сами собою, и можно бесконечно вглядываться в череду этих Дмитриев нашей истории.

И, конечно же, это не случайность, а знак.

Знак той истории, которая создаётся вопреки всем интригам и своеволиям,

той истории, которую и прозревал своим духовным зрением преподобный Иринарх.

С первого до последнего дня провёл он свою земную жизнь на клочке земли, которому и предстояло стать мистическим центром многих важнейших событий грядущей истории.

Напомним, что ещё в 1553 году, когда завязывался этот роковой клубок событий, шестилетний деревенский мальчик Илия объявил, что он будет таким же, как преподобный Макарий.

— Чадо! — укорил Илию священник. — Как ты осмелился молвить такое слово?!

Ответ мальчика поразил всех.

— Кто тебя не боится, тот это и говорит!

Как раз в те годы, будучи ещё совсем несмышлёным ребёнком, Илия, по свидетельству Жития, начал говорить матери, что когда вырастет, станет монахом.

— Зачем в монастырь уходить? — сказала мать. — Спастись и в миру можно.

— Нет! — ответил Илия. — Я монахом стану. Буду железа носить.

Впрочем, тут, наверное, неправильно говорить о каком-то сознательном выборе будущего пути. Скорее, и это были неосознаваемые самим Илией прозрения.

Провидческий дар был дан ему уже в детстве.

Как и молитвенный дар...

5

Предание утверждает, что на взгорке за селом, где искал молитвенного уединения отрок Илия, забил тогда из земли чудотворный источник.

Источник живёт и сейчас, и когда подходишь к нему, понимаешь, что это жар детских молитв Илии, и совсем недетские предсказаниями будущего преподобного и наполнили его чудодейственной силой.

А сила у источника воистину немалая!

До революции дважды в год от стен Борисоглебского монастыря до источника в селе Кондаково совершался крестный ход.

8 июля 1997 года, спустя восемьдесят лет, Иринархов Крестный ход вернулся на Борисоглебскую землю.

«О, великий угодниче Христов, добропроизвольный страдальче, предивный затворниче, преславный чудотворче, преподобный отче наш Иринарше! — зазвучали здесь возносимые нынешним игуменом Борисо-Глебского монастыря отцом Иоанном слова молебна преподобному Иринарху. — *С верою и любовию к тебе припадаем и молимся прилежно: яви нам, смиренным и грешным, молитвенное твое заступление. Се бо, грех ради наших, не имамы свободы чад Божиих просити о потребех наших Господа и Создателя нашего, но тебе предстателя благоприятного к Нему предлагаем, и просим со усердием многим» ...*

И вплеталось в эти слова неумолкающее почти пять столетий журчание воды в ключе, словно молитва преподобного сплеталась с нашей молитвой…

На этом источнике необыкновенно ясно ощущается мистическая связь жития преподобного со всей нашей русской историей…

И не только древней, но и современной.

Увы, «грех ради наших», мы не имеем свободы чад Божиих просить у Бога о том, что надобно и нам, и нашему Отечеству. И хотя и знаем мы, что не бывает свободы большей, чем христианское смирение, но разве многие из нас готовы принять эту свободу?

Потому и поучителен для нас Путь преподобного Иринарха, сумевшего обрести свободу чад Божиих, и распорядиться ею для спасения Отечества.

И словно и не камни лежат на дне наполненного железистой водой ручейка, а куски железных трудов преподобного…

6

Годы юности преподобного Иринарха приходятся на времена наибольшего ожесточения царя Иоанна IV Васильевича.

Пробудившееся после падения Сильвестра и Адашева тиранство Иоанна IV Васильевича Грозного… летописцы называли «чуждою бурею»…

«Была она послана, — добавил Н.М. Карамзин, — *как бы из недр ада»*…

По Москве тогда прокатилась волна опричного террора. Людей казнили без суда, убивали в домах и на улице.

И только «исповедник правды» — митрополит Филипп (Колычев) — осмеливался возвышать свой голос в защиту невинных страдальцев...

Из Жития преподобного Иринарха известно, что в 1567 году, когда *«глад на Руси бысть велик»*, Илие пришлось отправиться на заработки.

Работал он у крестьянина, недалеко от Нижнего Новгорода.

Однажды — это было на Успенский пост 1568 года — без всякой видимой причины разразился Илия рыданиями.

— Что с тобой? — спросил удивлённый хозяин.

— Отец мой преставился! — ответил сквозь слёзы Илия. — Вижу светлых юношей… Несут моего родителя на погребение.

Когда Илия вернулся домой, отца уже не было в живых.

Мать рассказала, что похоронили его ещё в Успенский пост…

Было это, должно быть, уже поздней осенью, может быть, как раз 4 ноября 1568 года, когда опричники вывели митрополита Филиппа из Успенского собора и повезли в Тверской Отроч монастырь.

«Я пришелец на земле, — говорил о себе святитель Филипп, — *и за истину благочестия готов потерпеть и лишение сана, и всякие муки»*.

Можно рассуждать, что, вырезая старинные роды и целые города, Иоанн IV Васильевич Грозный пытался сломить и фактически сломил хребет удельной и местнической психологии…

Наверное, это так…

Но вместе с тем есть в этом рассуждении и изрядная доля лукавства.

Что толку уничтожать удельную психологию, если на смену старой знати поднималась новая, цепко держащаяся за власть аристократия… Она отличалась необыкновенным честолюбием, но умела жертвовать честью, когда этого требовали обстоятельства карьеры…

Местничество было злом для России...

А эти люди? События смуты доказали, что они представляют собою ещё большее зло для страны, да и сама смута собственно их произведением и является...

7

Нужно сказать, что хотя с раннего детства знал Илия о предстоящем служении, однако приступать к нему не спешил.

Вот и после смерти отца, когда хозяйство, очевидно, перешло к старшему брату, он не уходит в монастырь, а переезжает со средним братом Андреем в Ростов, где покупает дом и начинает заниматься торговлей…

Возможно, он и тяготился мирской жизнью, но никаких попыток «умереть для мира» не предпринимал.

Словно бы выжидал он, и даже не тех внутренних перемен, что происходили в нём, а самого движения времени, которое должно было произвести необходимые для начала его иноческого служения перемены. Поразительно точно совпадает хронология внутреннего предуготовления преподобного Иринарха к монашеской жизни с событиями истории России.

Всё ещё бушевало яростным огнём царствование Иоанна IV Васильевича Грозного…

При грозном царе не удержался ни мудрый Алексей Адашев, ни святитель Филипп (Колычев), ни лиходеи Басмановы. Зато поднимались и крепли роды царского шурья — Романовых и Годуновых.

Путь Годуновых в царские «шурья» был труднее, чем у Романовых.

Брак родственницы Годуновых Евдокии Сабуровой с царевичем Иваном оказался неудачным. И, когда, несколько месяцев спустя, шведская пуля сразила в Ливонии могущественного тестя Бориса Годунова — Малюту Скуратова, падение Годуновых стало неизбежным, но Годуновы и тут устояли.

Более того...

Царевич Фёдор женился на Ирине Годуновой — сестре Бориса…

В жизни будущего преподобного этот момент истории царской династии соответствует по времени его знакомству, как сказано в Житии, *«с человеком купеческого звания, по имени Агафоником, любившим читать книги»*.

Илия подружился с ним и стал постоянно беседовать о Божественном писании, «ища душевного спасения».

Появление Агафоника в Житии святого, на первый взгляд, неожиданно...

Ведь обычно, Жития упоминают имена лишь тех людей, которые или свидетельствуют о чудесах, совершённых святыми, или сыграли чрезвычайно важную роль в их духовном становлении...

Между тем, Житие Иринарха сообщает только, что купец Агафоник любил читать книги и беседовать с Илией о Божественном писании.

Дело, разумеется, благочестивое, но на Руси тогда очень многие любили читать книги и беседовать о Божественном Писании…

Почему же тогда Житие святого удостоило Агафоника упоминания?

Если мы ответим на этот вопрос, мы яснее представим и самого преподобного.

Житие не сообщает, учился ли он грамоте...

По ряду косвенных свидетельств можно предположить, что книжная премудрость будущему подвижнику была неведома... Если это так, то сразу делается понятным включение в Житие купца Агафоника и промедление со вступлением в монастырь самого Илии.

Жития святых, которые читал Агафоник, беседы с ним помогли Илие увидеть Путь, который он прозревал и раньше, но не знал, как приступить к осуществлению его.

«Подготовившись таким образом, — пишет святитель Дмитрий Ростовский, — *Илия взял святой крест, благословился им и собрался в путь»...*

ГЛАВА ВТОРАЯ

На пути между Ростовом и Угличем стоит монастырь святых страстотерпцев Бориса и Глеба, основанный по благословению преподобного Сергия Радонежского его учениками Феодором и Павлом.

В 1434 году, во время 17-летней междоусобной войны, в этом монастыре нашёл убежище великий князь Василий II Васильевич со своей матерью Софьей Витовной.

Вернувшись на московский престол, Василий II Васильевич не забыл спасшую его обитель, и в 1440 году крестил здесь своего сына — будущего собирателя русской земли Ивана III Васильевича.

С тех пор русские цари регулярно приезжают в Борисо-Глебский монастырь и подобно смиренным чернецам живут в кельях.

Известно, что и царь Иоанн IV Васильевич Грозный дважды изъявлял желание принять в этих стенах постриг, но за государственными заботами так и не исполнил своего намерения.

1

Как бы вместо грозного царя и пришёл в этот монастырь тридцатилетний Илия.

— Зачем, чадо, пожаловал к нам? — спросил у него игумен Антоний.

— Желаю, отче, ангельского образа! — ответил Илия. — Постриги меня Бога ради, невежду и селянина, причти к избранному Христову стаду и ко святой дружине твоей.

«Игумен, — пишет святитель Дмитрий Ростовский, — *сердечными очами узрел, что юноша пришёл от Бога и принял его с радостью постриг в ангельский образ и нарёк ему в иночестве имя — Иринарх».*

Случилось это в 1578 году.

В тот самый год, когда родился князь Дмитрий Пожарский...

За год до знаменитого казанского пожара, после которого была обретена в Казани Чудотворная Икона Божией Матери Казанской...

Есть чудеса, которые с Божьей помощью совершаются земными людьми.

Есть чудеса, которые совершаются как бы и без участия людей...

Пройдут годы, и 4 ноября (22 октября) 1612 года, в день, называемый сейчас Днем национального единства, сойдутся перед образом Казанской иконы Божьей Матери ополченцы князя Пожарского и гражданина Минина, пришедшие к стенам Кремля по благословению преподобного Иринарха, затворника Борисо-Глебского монастыря и двинутся на последний победный штурм...

И случится это на память основателей Борисо-Глебского монастыря преподобных Феодора и Павла...

Но все это произойдёт тридцать четыре года спустя, после пострижения тридцатилетнего Илии в ангельский образ, тридцать четыре года спустя после молитвенных подвигов и трудов преподобного Иринарха.

2

Узловой момент в истории начального периода иноческого служения Иринарха связан с купцом Агафоником, с которым, будучи ещё Илией, полюбил Иринарх читать духовные книги.

Агафоник пришел в монастырь, когда Иринарх уже нёс послушание на монастырской пекарне и «немало дней» провёл там.

Проводив друга и возвращаясь назад, Иринарх усиленно размышлял, *«как бы ему спастись, и дал обещание идти в Кириллов Белозерский монастырь, или в Соловецкий»*.

Почему у Иринарха возникли такие мысли после прощания с Агафоником?

В Житии преподобного не сообщается ничего о содержании бесед, но понятно, что Агафоник, привыкший поучать Илию, должно быть, продолжал держать себя с Иринархом, как учитель.

И дело, конечно, не в ущемлённом тщеславии святого...

Просто мирская мудрость Агафоника не соответствовала постигаемой Иринархом мудрости смиренного иноческого бытия.

Обижать своего прежнего наставника Иринарх не хотел, но и оживать для мира на пути стяжания Святого Духа он тоже не мог.

И вот, на лесной дороге, вспоминая радостное волнение, испытанное во время встречи с другом, и заскорбел душою Иринарх о нарушении монастырского затвора.

Видимо, чтобы избежать в дальнейшем подобных искушений, он и принимает решение уйти в далекий монастырь, где уже не будет никого, кто смог бы напомнить о прежней жизни в миру, где ничто не помешает заниматься спасением...

— Уйду... — перекрестившись, проговорил Иринарх, и тут же раздался Голос:

— Не ходи ни в Кириллов, ни на Соловки. Здесь спасёшься!

Оглянулся Иринарх, но никого не было на лесной дороге. И тут второй раз прозвучало:

— Здесь спасёшься!

Страшно стало, задрожал Иринарх... И снова, в третий раз, явственно услышал Голос.

— Здесь спасёшься! — упали слова.

Описание искушений преподобного Иринарха — это описание поиска им предназначенной ему святости.

Попытаемся снова сопоставить даты его жизни с историческими событиями.

Напомним, что Откровение на дороге из Ростова в Углич было даровано Иринарху, когда ещё бушевало грозное царствие Иоанна IV Васильевича, дважды изъявлявшего желание принять в стенах Борисо-Глебской обители постриг.

Учитывая, что Иринарх провёл в монастыре уже несколько лет — он прошёл начальное послушание и уже мог принимать в монастыре знакомых — можно предположить, что случилось это в начале восьмидесятых годов XVI века.

А 1581 год памятен в истории России…

Это год — знаменитого похода Ермака, положившего начало присоединению к России Сибири…

Это год, когда в припадке гнева Иоанн IV Васильевич Грозный убил своего сына Ивана…

Дорога, на которой находился Иринарх во время Откровения, вела из Ростова в Углич, где, многие годы спустя, под ножом убийцы закончится жизнь царевича Дмитрия — последнего прямого наследника Иоанна IV Васильевича.

Тогда и начнётся на Руси Смута.

Невидимо, неощутимо для современников ткётся гибельная сеть, что будет накинута на Святую Русь, но так же невидимо выковывается и духовный меч, чтобы отразить погибель...

Иринарх мог трудиться Богу и на Соловках, и в Кирилло-Белозерском монастыре, но он нужен был здесь, где будет зарождаться Победа над Смутой.

3

Вскоре инока Иринарха перевели из пекарни в пономарскую службу.

Обязанностью его стало звонить в колокола.

И Иринарх звонил.

Звонил в 1584 году, когда, собравшись поиграть в шашки, умер царь Иоанн IV Васильевич, и на престол взошёл Фёдор Иванович…

В это царствие Русь вступила с двумя кланами царских родственников — Романовыми и Годуновыми...

Шли они след в след друг за другом.

Сам Никита Романович превратился теперь в дядю царю, а его сыновья, Никитичи, стали двоюродными братьями государя.

Зато Борис Годунов занял при Фёдоре то же место, что Никита Романович занимал при Иоанне IV Васильевиче Грозном — любимого шурина.

Сильно возвысился он.

И закипели, закипели на Москве боярские интриги.

Составлялись заговоры, чтобы развести царя Федора с Ириной Годуновой. Особенно усердствовали в этом князья Шуйские и митрополит Дионисий.

Но Борис Годунов крепко стоял.

Жестокой оказалась его расправа.

Свели с престола и сослали в Хутынский монастырь митрополита Дионисия…

Многих князей Шуйских удавили...

Возвещая об этих событиях, и звонил инок Иринарх.

Звонил он в колокола, когда в 1591 году, убили в Угличе царевича Дмитрия.

Звонил, когда в 1598 году умер, не оставив наследника, царь Фёдор Иоаннович — последний отпрыск великой династии Рюриков.

И всё строже, всё беспощаднее смирял своеётело борисоглебский звонарь. По ночам предавался молитве и бдению, спать укладывался прямо на землю.

Ветхой стала одежда, а новую Иринарх не хотел брать.

4

Когда, дотлев угольками Фёдорова царствия, истаяло Калитино племя, на русский престол избрали Бориса Годунова.

Сопернику его — Богдану Бельскому, выщипали по волоску бороду и сослали в Нижний Новгород.

Романовы, хотя и выдавали себя за союзников Бориса Годунова, тоже вступили в борьбу за русский престол, но развёрнутые ими против царя Бориса боевые действия совершались тайно, и пока оставались неприметными для посторонних наблюдателей.

Однако обмануть Бориса Годунова, сделавшегося чрезвычайно зорким в своей подозрительности, Романовым не удалось…

Когда был подан донос, что у Александра Никитича Романова, приготовлено «всякого корения» для отравления царя, Годунов приказал произвести обыск.

«Коренья» нашли, и начался «сыск», длившийся около полугода.

И что-то Борису Годунову, по-видимому, удалось узнать. Если не про «коренья», то про слухи, распускаемые о царевиче Димитрии.

И тогда Государь решил навсегда покончить со своими коварными союзниками.

Ночью 26 октября 1601 года стрельцы подожгли дом бояр Романовых...

Александра Никитича — сослали на Белое море, Михаила Никитича — в Пермскую землю, Ивана Никитича — в Пелым, Василия Никитича — в Яренск.

Федора Никитича Романова (будущего патриарха Филарета) заключили в Антониево-Сийский монастырь, что в девяноста верстах от Холмогор, и насильно постригли в монахи, а жену его «замчали» в Заонежский Толвуйский погост и тоже постригли. Дочку Татьяну и сына Михаила (будущего царя) с тётками сослали в Белоозеро.

Кара была жестокой…

Однако, как свидетельствуют документы, ещё более жестоко поступили с ближними слугами Романовых. Почти все они были казнены.

Историки этому обстоятельству особого значения не придают, но может быть, именно в нём и скрыты сведения, какие именно коренья были отысканы в доме Романовых.

Ведь «кореньями» этими мог быть и подготовленный Федором Никитичем кандидат в самозванцы, слухи о котором, как свидетельствуют современники, уже тогда поползли по Москве…

5

Как известно, самому кандидату — Григорию Отрепьеву удалось уйти.

Он (по-видимому, ещё в начале розыска) покинул Романовых и укрылся, приняв постриг, среди чернецов Чудова монастыря.

Звали его теперь Григорием.

Из летописей нам известно, что какое-то время Отрепьев провёл в Чудовом монастыре, но скоро начал хвалиться, будто он царский сын.

Когда слух о непригожих речах Отрепьева дошёл до ростовского митрополита Ионы, он немедленно доложил царю Борису Годунову.

Государь приказал дьяку Смирному Васильеву схватить дерзкого инока и заточить в Кирилло-Белозерском монастыре.

И вот тут начинаются уже настоящие чудеса…

Дьяк, исполняя указание царя, вдруг занемог беспамятством, позабыл царский указ и дал Отрепьеву возможность сбежать в Галич.

Из Галича Григорий перебрался в Муром, а из Мурома — в Борисо-Глебский монастырь, где проходил ступени духовного восхождения преподобный Иринарх…

В Житии преподобного эпизод пребывания Григория Отрепьева в одной с ним обители никак не отражён, но известно, что с этого момента нетерпеливо усиливает инок Иринарх свои подвиги.

6

Примерно ко времени появления самозванца в Борисо-Глебском монастыре приурочен рассказ о встрече преподобного с нищим паломником.

Однажды Иринарх увидел в церкви босого странника. Была зима, и преподобный пожалел нищего.

— Дай, Господи, теплоту ногам моим, чтобы я мог отдать сапоги свои несчастному... — взмолился он и, разувшись, отдал свои сапоги страннику.

Господь даровал Иринарху теплоту, о которой просил он, но дьявол воздвиг против него ропот братии.

— Монах — босой и в рубище! — наговаривали они настоятелю. — Это гордыня в нём!

Игуменом Борисо-Глебского монастыря был тогда Гермоген.

В отличие от казанского митрополита Гермогена не различил борисоглебский игумен опасности в Григории Отрепьеве, явившемся под его кров...

Вот и узреть, подобно прежнему настоятелю Антонию, «сердечными очами», что инок Иринарх пришёл от Бога, тоже не сумел он.

Гермоген посчитал подвиги Иринарха проявлением диавольской гордыни.

Пытаясь смирить инока, Гермоген посылал его в морозы благовеститъ на

открытой колокольне, но ничего не помогало. Иринарх продолжал ходить босиком, благодушно снося нападки братии.

Тогда игумен Гермоген отослал Иринарха на прежнюю службу в пекарню, но и это не помогло. Иринарх продолжал ходить босой по морозу, не чувствуя холода.

7

И всё же однажды Иринарх обморозил ноги.

Случилось это, когда в Ростове попал на правеж «один христолюбивый человек».

Житие не называет имени несчастного, но по косвенным сведениям получается, что это был тот самый Агафоник, которому столь много обязан Иринарх...

Известие о правеже чрезвычайно огорчило Иринарха, и он решил отправиться в Ростов, чтобы помочь несчастному.

Вот тогда-то, отойдя от монастыря на семь верст, Иринарх и обморозил пальцы ног.

Три года после этого болел он.

Три года не заживали на ногах раны.

Ничего случайного не включается в Жития подвижников, поэтому не будем приписывать эту болезнь Иринарха необычайной силе мороза, а попробуем отыскать другое объяснение, почему Всемогущий Господь лишил вдруг святого дарованной теплоты.

Вероятно, хотя и самыми лучшими побуждениями было продиктовано решение Иринарха, идти в Ростов, чтобы выручить несчастного должника, но чем-то неугодным оказалось оно Богу.

И Господь вразумил святого.

Великие подвиги назначено было совершить Иринарху, но ещё не пришёл час этих подвигов...

Через три года ноги зажили, и снова вернулась в них необыкновенная теплота.

Снова начал Иринарх ходить босиком и летом, и зимою.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отчаявшись смирить Иринарха, игумен Гермоген отослал босоногого инока на работы вне монастыря.

Никакие насмешки, никакие суровые послушания не обжигали Иринарха «уныния пламенем», но отлучения от храма Божия он снести не смог...

С печалью на сердце покинул Иринарх Борисо-Глебский монастырь.

1

В роковое для России время изгнали преподобного Иринарха из Борисо-Глебского монастыря.

Уже давно стали замечать недобрые знамения.

Нередко всходило на небо по две, а то и по три луны, два, а то и три солнца светили днем, по земле, по полям и лугам ходили огненные столпы…

То и дело поднимались невиданные доселе бури, сносившие кресты с церквей…

Среди белого дня голубые, красные и чёрные лисицы бегали по московским улицам....

И вот весной 1601 года небо омрачилось густою темнотой, и два с лишним месяца, не переставая, шёл дождь…

Ударивший 15 августа жестокий мороз завершил дело. Почти по всей стране погиб хлеб. Цены сразу подпрыгнули в пять раз…

Борис Годунов приказал открыть Царские житницы и продавать хлеб по низкой цене, но богачи продолжали скупать его и спекулировать. Начался голод.

«Люди, — пишет Н.М. Карамзин, — *сделались хуже зверей: оставляли семейства и жён, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства: давили, резали сонных для ужасной пищи! Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках! Матери глотали трупы своих младенцев!.. Злодеев казнили, жгли, кидали в воду; но преступления не уменьшались… И в сие время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать его ещё дороже!.. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали, издыхали на площадях»…*

И словно бы из смрада гниющих тел и возникла зловещая тень самозванного царевича Димитрия…

2

А в Богоявленском монастыре на озере Неро, основанном преподобным Авраамием ещё во времена крещения Руси, Иринарха приняли с радостью.

Архимандрит назначил его келарем.

Иринарх, как говорит его Житие, трудился для братии, не оставляя никакой церковной службы...

Мы далеко не всегда помним, что Жития святых составители адресовали своим современникам, тексты эти были рассчитаны на их восприятие, и поэтому многие моменты в них для нас, читателей других веков и эпох, зачастую являются непонятными и нуждаются в дополнительном толковании.

Рассказывая о келарстве преподобного, Житие преподобного Иринарха говорит, что сам он не нуждался в земных богатствах, но скорбно было наблюдать ему, как братия и монастырские служители *«без меры и без воздержания берут всякие потребы, истощая монастырское достояние»*.

И не мог новый келарь образумить братию.

Только вздыхал и молился он.

— Преподобный Аврамие! — повторял он. — Не я твоему монастырю разоритель.

И вот однажды, во сне, явился Иринарху преподобный Авраамий и сказал:

— Что печалишься, избранное и праведное семя? Что скорбишь о монастырских выдачах? Ты алчешь и наготуешь, а они захотели здесь жить пространно... Давай им безвозбранно и не скорби о монастыре. По воле Всевышняго Творца он будет неоскуден потребами алчущих.

Слова преподобного утешили Иринарха.

О чем этот эпизод Жития?

О том, как духовно возрастает Иринарх, преодолевает не стоящие душевного сокрушения огорчения?

О том, как учится отделять несущественное от главного?

Или о постижении того, что не его эта стезя перевоспитывать братию, его путь иной — отмаливать совершённые ими грехи, его занятие — нести, как он говорил в детстве матери, железные труды...

И вот однажды на литургии, во время Херувимской песни, заплакал Иринарх.

— Что ты рыдаешь так, старче? — спросил у него изумлённый архимандрит.

— Мать моя преставилась, отче... — утирая слёзы, сказал Иринарх.

И ещё не закончилась литургия, как появился в храме Андрей, брат Иринарха, и сообщил скорбную весть.

Вскоре, после кончины матери, Иринарх оставляет Авраамиев Богоявленский монастырь и переходит в ростовский монастырь святого Лазаря.

Здесь, в уединённой келье, провёл он ещё три с половиной года...

3

Существуют различные лики святости.

Современник Иринарха, будущий патриарх Гермоген, приняв в эти годы монашеский постриг, сразу становится архимандритом Казанского Спасо-Преображенского монастыря, а в 1589 году занимает Казанскую кафедру.

Он возводит монастыри, отстраивает церкви, управляет епархией...

Его служение Богу — святительское, деятельное. Оно всегда на виду.

Совершенно другой лик святости взращивал в себе Иринарх. Для этой святости требовалось молитвенное сосредоточение, отшельническое уединение.

Он мог заниматься и организаторской работой, но как бы хорошо ни исполнял её, любая такая работа — была только помехой в главном труде...

Среди немногих посетителей Иринарха в монастыре святого Лазаря, был Иоанн Юродивый, по прозвищу Большой Колпак.

Иоанн Юродивый пришёл в Ростов из Вологды, с соляных варниц. Как и Иринарх, даже в самые сильные морозы Иоанн ходил босым. На голове носил тяжёлый железный колпак; на теле, под одеждой — вериги, состоящие из железных крестов.

Это он, отправившись из Ростова в Москву, скажет Борису Годунову:

— Умная голова, разбирай Божие дела. Бог долго ждёт, да больно бьёт!

Иринарху блаженный, Христа ради юродивый, Иоанн Большой Колпак, тоже пророчески предсказал будущее.

— Бог даст тебе коня, и на том коне никто, кроме тебя, не сможет ездить. И сесть никто не сможет на коне вместо тебя!

Смутны, неясны для окружающих были слова юродивого Иоанна, но Иринарху, который тяжёлыми и долгими подвигами очистил духовное зрение, они были ясны так же, как и нам, знающим из истории, что тогда случилось с Россией...

— За беззаконное же пьянство и разврат Господь Бог нашлёт на Русскую землю иноплеменных! — пророчествовал Иоанн Большой Колпак. — И они почудятся и подивятся твоему великому терпению и подвигам. Меч их тебе не повредит, и они прославят тебя более верных... А я теперь иду на Москву, просить у царя земли, потому что столько у меня в Москве будет видимых бесов, что едва уставятся хмелевые тычины. Но их Святая Троица Своею силой прогонит!

Еще, прощаясь, юродивый Иоанн, посоветовал Иринарху носить, как и он, железные кресты.

И ушёл.

Торопился святой юродивый.

Надобно было ещё калужан предупредить о пожаре, в котором погибнут жилища, надо было наступить на ногу обезножившему Григорию, чтобы смог ходить тот…

Борису Годунову надобно было рассказать, что ожидает его род.

Мало ли дел у блаженного?

Везде поспеть требуется...

4

А Иринарх после прощания с Иоанном загрустил об оставленном монастыре святых и праведных мучеников Бориса и Глеба.

Там назначено было спасаться ему.

Там предстояло потрудиться для Бога и для Святой Руси.

— Святые страстотерпцы Борисе и Глебе! — пожаловался он однажды. — Есть у вас в монастыре много места, а мне, грешному, и уголка нет!

За молитвою и задремал Иринарх, и в тонком сне увидел святых братьев Бориса и Глеба, подходящих к Лазареву монастырю.

— Далече ли собрались, святые страстотерпцы? — спросил Иринарх.

— За тобой, старец, идем! — отвечали братья. — Пора тебе возвращаться в наш монастырь!

На этом сон прервался.

Разбудила Иринарха молитва, звучащая под окном кельи. Отворив оконце, Иринарх увидел старца Ефрема из Борисо-Глебского монастыря.

— Отче! — сказал Ефрем. — Послал меня строитель Васьян спросить у тебя: в монастырь-то пешком пойдёшь или подводу прислать, чтобы вериги твои везти...

— Сам приду... — ответил Иринарх.

И тут снова надобно прервать рассказ и вспомнить, что наши первые русские святые Борис и Глеб имеют обыкновения являться, когда от их помощи зависит судьба Святой Руси.

Они пришли на помощь благоверному князю в Невской битве, начальник ижорской стражи Пелгусий видел тогда, как плыли они на челне.

Видели Бориса и Глеба на поле Куликове когда бился святой князь Димитрий Донской с полчищами Мамая.

Вот и здесь пришли они к преподобному Иринарху, чтобы призвать его отмаливать Святую Русь.

5

С веригами на плечах и оковами на ногах вернулся Иринарх в Борисо-Глебский монастырь. Первым делом приковал себя трехметровой цепью в келье и тринадцать лет не выходил никуда.

Страшные дела на Руси начались…

13 апреля 1605 года от апоплексического удара — кровь хлынула изо рта. носа, ушей — умер царь Борис Годунов.

Через три дня была принесена присяга новому царю — юному Федору Годунову, но Басманов, командовавший войсками, осаждающими запертого в Кромах самозванца, предательски объявил войску, что самозванец — истинный царь.

Войска присягнули Лжедмитрию.

Прошло ещё несколько недель, и изменники удавили на подворье Годуновых юного царя Федора Годунова и его мать.. А патриарха Иова свели с престола, прокляли и увезли в Старицкий Успенский монастырь.

И вот уже опекун сыновей Ивана Грозного Богдан Бельский, осеняя себя крестным знамением, клянётся, что он сам и спас, укрывая на своей груди, царевича Дмитрия.

А вот и 18 июля...

Марфа Нагая — мать царевича Дмитрия, встречается с самозванцем и, обливаясь слезами, обнимает его, как родного сына.

Недобрым гулом докатывалось эхо этих событий до монастыря святых страстотерпцев Бориса и Глеба, где сидел в келье закованный в цепи отшельник Иринарх.

Всё время пребывал он в непрерывной работе — вязал одежду для братии.

Сам же одевался в рубище и вериги.

И с каждым днём, приносящим новые известия о новых убийствах и клятвопреступлениях, прибавлял груза, чтобы отмолить новой тяжестью и этот грех.

Уже и на плечах висели вериги, а на груди — ожерелья из тяжёлых медных крестов.... Шею сдавливало железное путо, на ногах громыхали цепи, а на голову одет был тяжёлый обруч.

6

21 июля 1605 года Лжедмитрий — первый со двора Романовых! — венчался на царство в Успенском соборе Кремля.

По его указу, в Москву были привезены все Романовы.

И мёртвые, и живые…

Мёртвых с великими почестями хоронили в Новоспасском монастыре, а живых осыпали царскими милостями.

Ивану Никитичу Романову даровали боярство, а Филарета Никитича возвели в сан ростовского митрополита.

Филарет Никитич уже тогда рассчитывал на место патриарха, но в патриархи всея Руси ещё месяц назад, по указанию иезуитов, уже возвели рязанского архиепископа Игнатия.

Это был грек, занимавший архиепископскую кафедру на острове Кипре. Долгое время он провёл в Риме и, как полагают, принял там унию, а в 1595 году по направлению римской курии был командирован в Москву, и с 1603 года управлял Рязанской епархией.

Игнатий первым из православных архиереев признал самозванца и с царскими почестями встретил его ещё в Туле…

Как же теперь увольнять Игнатия?

Никак нельзя было его уволить даже ради Филарета Никитича…

Поэтому и велел Григорий Отрепьев всем Собором умолять Филарета Никитича погодить с патриаршеством, и занять пока какую-либо митрополичью кафедру.

Филарет Никитич внял этой мольбе.

Подумавши, сказал, что берёт Ростовскую кафедру. В этой епархии находились его вотчины.

Все облегченно вздохнули.

Тут же Филарета Никитича Романова возвели в сан Ростовского митрополита, вместо, как утверждают историки романовской школы, *«удалившегося на покой митрополита Кирилла»*.

Насчёт *«удалившегося»* — явное лукавство. Правильнее сказать *«удалённого»*…

Для того чтобы освободить для Филарета Никитича эту кафедру, пришлось согнать с неё достойнейшего иерарха Русской Церкви, который был хиротонисан в митрополита Ростовского всего несколько месяцев назад.

Митрополит Кирилл (Завидов) достойно, как и подобает истинному святителю, пережил лютую несправедливость. Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, где прежде был архимандритом. А в начале 1612 года, когда патриарх Филарет отбыл в Польшу, ярославцы снова пригласили своего святителя занять освобождённую епархию…

Он и управлял ею до своей кончины .

Это он благословлял поход на Москву Нижегородского ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

«По благословению великого господина преосвященного Кирилла, митрополита ростовского и ярославского и всего освящённого собора, по совету и приговору всей земли, пришли мы в Москву»… — писал тогда в своей грамоте князь Дмитрий Пожарский, стоя под стенами Китай-города.

Дал ли бы благословение на такой поход Филарет Романов, если бы оставался Ростовским митрополитом?

Едва ли…

7

Понятно, что в 1605 году, когда самозванец освобождал место, приглянувшееся Филарету, никаких сожалений о совершаемой им несправедливости он не испытывал. Митрополит Кирилл был грешен тем, что присутствовал при кончине царя Бориса Годунова, тем, что присягал Федору Годунову, тем, что вместе с патриархом Иовом не признал его…

Филарет Никитич таких провинностей перед самозванцем не имел.

Не то, что монахи Чудова монастыря, которых казнили в те самые дни, когда возводили в митрополиты Филарета. Они, оказалось, помнили чернеца Григория Отрепьева, бывшего дворового человека Федора Никитича Романова...

Как с такою виною жить?

Бояре в Москве понимали это и не осуждали нового государя.

И как тут не вспомнить пророчества собеседника Иринарха — юродивого Иоанна о беззаконном пьянстве и разврате, воцарившемся в Москве, за которые и пошлёт Господь Бог на русскую землю нашествия иноплеменных…

Никаких приличий, никаких границ не желало знать московское бесстыдство после воцарения самозванца. Клятвопреступления стали обычным делом, сама Правда отменена была в окружении Лжедмитрия...

В этом окружении признавали только неправду.

Когда казак Илейка объявил себя сыном царя Федора Иоанновича и Ирины Годуновой, Лжедмитрий сразу «признал» его своим племянником...

Меньше года длилось правление этого царя со двора Романовых...

Раздувшаяся до необъятных размеров ложь лопнула сама, в один день, в одночасье. Посреди медового месяца Лжедмитрия и Марины Мнишек, толпа москвичей выволокла самозванца из Кремля и, растоптав, бросила труп в грязи посреди рынка.

Вместе с самозванцем был убит и главный изменник — Петр Басманов.

И в тот же день «опамятовшая» Марфа Нагая назвала Лжедмитрия вором.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

1 июня 1606 года на царский престол взошёл Василий IV Иоаннович Шуйский.

Портреты его у историков всегда почему-то смахивают на карикатуру. Одни из них рисовали Шуйского толстым (*«роста малого, толст»,* — утверждал Н.М. Карамзин), другие — тощим (*«худенький, приземистый, сгорбленный старичок»,* — говорил Н.И. Костомаров), но всегда, хотя будущему царю было чуть больше пятидесяти лет, изображали стариком.

И всегда — несановитым и некрасивым.

Всегда — с большим, широким ртом; с подслеповатыми, больными глазами…

Ещё большую суровость проявляли историки в оценке моральных качеств Василия IV Иоанновича Шуйского…

«Донельзя изолгавшимся, и изынтриговавшимся» называл его В.О. Ключевский.

«Мелочной, скупой до скряжничества, — говорил про Шуйского Н.И. Костомаров, — *завистливый и подозрительный постоянно лживый и постоянно делавший промахи, он менее, чем кто-нибудь, способен был приобресть любовь подвластных, находясь в сане государя».*

1

Спору нет…

Из-за небольшого роста Василий IV Иоаннович Шуйский мог казаться полноватым, почти толстым.

Испорченные неумеренным чтением глаза, действительно, быстро уставали и часто бывали красными. Василий IV Иоаннович вполне мог казаться подслеповатым…

Он очень бережливо относился к государевой казне, иногда бывал мелко, не по-царски, скуп. Особенно удручала бояр бережливость Василия IV Иоанновича, когда они сравнивали её со щедростью Григория Отрепьева, который в три месяца своего правления сумел практически опустошить государеву казну, скопленную за несколько веков московскими государями…

Всё это так…

Сложнее с лживостью.

Разумеется, изображать человека, вся жизнь которого протекала возле трона, образцом прямоты и простодушия было бы неосмотрительно.

Но не будем забывать, что это ведь Василий IV Иоаннович Шуйский обличил самозванца.

И это всё меняет.

Человека, поднявшегося за Правду на плаху, уже невозможно назвать лжецом, даже если он когда-то и говорил неправду!

Кроме того, встречая суровые отзывы о царе Василии IV Иоанновиче Шуйском, не нужно забывать, что большинство историков XIX века почитало либеральный атеизм главной духовной ценностью, а православное самосознание русского народа считало априори неискренним и лживым. Поэтому неискренностью они называли и тот мистицизм, без которого трудно представить себе Василия IV Иоанновича. Чрезвычайно умный и начитанный, он простонародно искренне верил в чудеса и чародейства. Это тоже трактовалось, как лживость…

Подобные оценки, разумеется, далеки от истины.

Гораздо более точной представляется нам характеристика, данная Василию IV Иоанновичу Шуйскому А.С. Пушкиным: *«Il montre dans l`histoire un singulier melange d`audace, de souplesseet de force de caractere».*

Чтобы обнаружить смелость и силу характера, а заодно разумность и предусмотрительность в действиях Василия Шуйского, не нужно никакой особой проницательности, достаточно только отказаться от нелепой привычки во что бы то ни стало, даже вопреки исторической истине, защищать доброе имя родоначальников династии Романовых…

2

«По убиении расстриги, — вздыхает ангажированный врагами Василия IV Иоанновича Шуйского летописец, — *бояре начали думать, как бы согласиться со всею землею, чтобы приехали из городов в Москву всякие люди, чтобы выбрать, по совету, государя такого, который бы всем был люб. Но Богу не угодно было нас помиловать по грехам нашим: чтобы не унялась кровь христианская, немногие люди, по совету князя Василия Шуйского, умыслили выбрать его в цари».*

Так, наверное, и было…

Только ведь тут надо помнить и о том, что москвичи ещё слишком хорошо помнили, как сановитый Голицын, командуя полком правой руки под Кромами, перешёл на сторону самозванца и участвовал в бесчеловечной расправе над Годуновыми, а помаргивающий красноватыми глазами Шуйский бесстрашно обличал самозванца, стоя перед плахой на Лобном месте!

Москвичи не успели ещё позабыть, как осанистый красавец Филарет (Романов) принимал знаки митрополичьего достоинства из воровских рук, а сгорбленный книгочей Шуйский поднимал против самозванца восстание, и это за ним шли в Кремль восставшие москвичи, чтобы уничтожить объявленного царем романовского холопа!

Верховные бояре тоже помнили это, и, понимая, что в глазах народа эти достоинства превозмогут сановитость и осанистость, попытались перехитрить народ.

19 мая 1606 года они вышли к народу, что с раннего утра толпился на Красной площади, и предложили избрать патриарха, который встанет во главе временного правления и разошлёт грамоты, созывающие «советных людей» из русских городов для выборов царя.

Расчёт был простым.

Бояре собирались поставить в патриархи Филарета, и этот свой патриарх помог бы избрать им своего царя.

Но и москвичи знали, что бояре пророчат в патриархи Филарета Романова, и прекрасно понимали, какие выборы царя устроит этот ставленник своего холопа-самозванца.

Поэтому-то голоса бояр потонули в недовольном гуле толпы, из которого вдруг взметнулся решительный голос:

— Прежде да изберётся царь! Царь нужнее патриарха!

Народ одобрительно зашумел, и тут же было выкрикнуто имя князя Василия Ивановича Шуйского…

Больше в Москве после правления Григория Отрепьева выбирать было некого.

К сожалению, тогда московские бояре уже вошли во вкус шляхетской вольности и, вынужденные под давлением народа согласиться на избрание царем Василия IV Иоанновича Шуйского, обговорили это согласие значительным ограничением царских полномочий.

Согласно заключенному договору, царь не имел власти без приговора Думы лишать кого-либо жизни, обязан был не подвергать гонению вместе с виновными их невиновную родню.

Наконец, царь обязывался не давать веры обвинителям. Если донос оказывался ложным, царь обязан был наказать доносчика.

Василий IV Иоаннович Шуйский не мог не понимать, что подобное ограничение царской власти, поощряет боярские измены и мятежи, и превратится в результате в постоянный источник угрозы безопасности Руси.

Поэтому он и попытался перехитрить бояр.

При венчании на Царство, как пишет летописец, он всенародно присягнул, *«чтобы ни над кем не сделать без Собору никакого дурна»*.

Мысль разумная.

Присягая Собору, Василий IV Иоаннович Шуйский сбрасывал с себя зависимость от Боярской думы. Но, разумеется, понимали это и бояре, которые зорко следили за новым царем, чтобы не потерять собственной власти.

— Такого никогда, государь, на Руси не велось! — зашумели они. — Ты, государь, такой «новизны» не вводи…

Конечно же, если бы Василий IV Иоаннович Шуйский был избран, как Борис Годунов, у него, возможно, и хватило бы сил оборвать голоса предателей, но он ведь действительно в цари был лишь выкрикнут…

«Этому провозглашению толпы, только что ознаменовавшей свою силу истреблением Лжедмитрия, никто не осмелился противодействовать, и Шуйский был не скажем избран, но выкрикнут царем, — говорит С.М. Соловьев. — *Он сделался царем точно так же, следовательно, как был свергнут, погублен Лжедмитрий, скопом, заговором, не только без согласия всей земли, но даже без согласия всех жителей Москвы; умеренная, спокойная, охранительная масса народонаселения не была довольна в обоих случаях, не сказала своего «да»: гибельное предзнаменование для нового царя, потому что когда усердие клевретов его охладеет, то кто поддержит его? На московском престоле явился царь партии, но партия противная существовала: озлобленная неудачею, она не теряла надежд; к ней присоединились, т. е. объявили себя против Шуйского, все те, которым были выгодны перемены, и всякая перемена могла казаться теперь законною, ибо настоящего, установленного, освящённого ничего не было»*.

Но нужно понимать и то, что если бы сторонники Василия IV Иоанновича Шуйского не форсировали выборы, откровенное предательство семи — восьми? девяти? десяти? — боярщины явилось бы на Руси тоже на несколько лет раньше.

И наступил ли бы тогда для России 1612 год — неведомо…

3

Современники не раз отмечали, что с воцарением Василия IV Иоанновича Шуйского власти у бояр стало больше, чем у самого царя.

Увы, это так…

И эта власть стала бы совсем неограниченной, если бы клятвопреступникам и цареубийцам удалось тогда возвести на патриарший престол ставленника Григория Отрепьева — Филарета (Романова).

Противостоять боярам в возвышении Филарета было ещё труднее, чем ограничению царских полномочий, но тут на помощь царю Василию IV Иоанновичу Шуйскому явился… царевич Дмитрий.

Что должен был переживать чрезвычайно склонный к мистицизму Василий IV Иоаннович, когда в царствование Григория Отрепьева был он поставлен перед плахой на Лобном месте?

Его исповедничество, его мысли, что спустя мгновение он, быть может, встретится с подлинным царевичем Дмитрием в Царствии Небесном, его покаяние и молитва к нему, и тут же голос, возвещающий, что Шуйский помилован царем Дмитрием, — всё это не могло не оставить следа в душе будущего царя.

Василий Иоаннович Шуйский верил в святость царевича Дмитрия, наверное, сильнее других, и ему первому и являлась помощь и заступничество святого.

Так было и перед плахой на Лобном месте, так было и теперь, когда он сел на троне московских царей.

4

Перенесение мощей царевича Дмитрия в Москву, — пожалуй, самое первое деяние нового царя.

Согласно общепринятому мнению, затеяно было оно ради предотвращения появления нового самозванца...

Это суждение верно ровно настолько, насколько может быть верным атеистический взгляд на православные святыни. Атеизм признает их культурное и историческое значение, но и только.

Действительно, если рассуждать логически, гроб с останками умершего должен был убедить любого, что этот человек умер, а значит другой человек, называющийся его именем — самозванец…

Но для этого ведь надобно верить, что выставленные останки — действительно останки царевича Дмитрия. Этой веры оказалось недостаточно на Руси, и самозванец появился-таки, и снова пошли за ним русские люди. Многие видели мощи царевича, но не верили, не желали верить, — не верить для одних было выгоднее, для других — безопаснее…

Чудо, дарованное святым, проявилось в другом.

Некоторые историки называют удаление Филарета из Москвы накануне выборов патриарха «обходным» маневром Василия IV Иоанновича Шуйского, но, как нам кажется, все было гораздо сложнее.

Нет никакого сомнения, что царь Василий Иоаннович нашёл бы способ удалить из Москвы Ростовского митрополита Филарета и помешать ему стать патриархом, но помог ему в этом — святой царевич Димитрий.

И помощь эта могла бы стать спасительной и для него и для всей страны...

В самом деле…

Ведь в Угличе с Филаретом почти повторилась ситуация, которая произошла с Василием IV Иоанновичем Шуйским на Лобном месте, в Угличе Филарет встретился с мощами святого, тень которого дерзостно и святотатственно пытался возродить в самозванце Отрепьеве.

Внутренний драматизм события усиливался тем, что Филарет приехал к

мощам святого Димитрия как иерарх Церкви, а в иерархи его и возвёл Отрепьев, присвоивший имя святого Димитрия...

5

В так называемой «Рукописи Филарета, патриарха Московского» подробно рассказывается об этой поездке… Любопытно, что Филарету долго не удавалось найти гроб «живоносного мертвеца»…

«Егда убо во град входят, тогда ощутиша граждане приход их, и внезапу стечеся весь град, мужи и жёны… Цареву повелению едва повинующеся, и последнее целование живоносному мертвецу отдающе своему Государю, и надгробные песни с плачем и воплем испущаху, якож и при погребении праведного… И ту первее преблагий Бог прослави угодника своего: снимающе убо, гроба его Святителие и Бояре не могуще обрести и желаемое ими многоцелебное тело узрети»…

Долго не могли московские посланцы *«многоцелебное тело узрети»* и, только *«во время святаго пения внезапу узреше из десные страны, яко дым восходящ дыхание благовонно»…* Начали копать там, и *«обретше некрадомое сокровище многобогатый гроб, вместивший тело блаженного царевича»…*

Когда вскрыли гроб, увидели, что там лежит нетленное — пятнадцать лет прошло со дня похорон! — тело царевича Дмитрия…

«Целы и невредимы мощи обретошася. Кроме взятых частей от требующия земли: и земля бо жаждет насладитися от плоти праведных, да сими освятится от скверноубийственных дланей. И не токмо бо плоть бысть в целости святого страдальца, но и ризы на теле его освятишася и истления избыша. И егда убиен бысть от безбожных изменник, и тогда ему прилучися держать в шуйце своей убрус шит златом и серебром пряденым, и тогда оставиша в руце его, и сие бяше цело и невредимо, яко у живаго в руце держимо: в друзей же приключишася плод, глаголемый орехи»…

В «Рукописи Филарета, патриарха Московского» не говорится о тех чувствах, что испытывал сам митрополит Филарет, когда увидел словно бы живое лицо царевича, не потерявшее блеска жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, орех, найденный у святого отрока в правой руке и с ним положенный в могилу…

Но откуда тогда странное волнение, которое пронизывает весь этот текст?

Может быть, от того что снова дано было Филарету заглянуть почти на четыре столетия вперёд, когда повторится история мощей царевича Дмитрия со святыми мощами последних Романовых…

И снова, как при вручении ему Григорием Отрепьевым Ипатьевского монастыря, не смог Филарет прозреть, не хватило веры прозреть то, что назначено было прозреть…

3 июня царь, царица, мать царевича Дмитрия инокиня Марфа, митрополиты и множество народа торжественно встретили святые мощи у стен Москвы и перенесли в Архангельский собор Кремля. Они были поставлены здесь в открытой раке, чтобы явить *«их нетление, чтобы утешить верующих и сомкнуть уста неверных»*.

Здесь Филарет и узнал, что во время его отсутствия из Москвы решился вопрос о патриархе.

На патриаршество избрали Казанского митрополита Гермогена.

Так начиналось правление нового царя Василия IV Иоанновича Шуйского.

6

К правлению Василия IV Иоанновича Шуйского относится хождение преподобного Иринарха в Москву.

В тонком сне между молитвами, увидел преподобный затворник объятое огнём Московское царство. Смотрел на юг — на юге полыхали города и сёла, смотрел на север — на севере бушевал огонь, неслись из дыма голоса православных, зовущих на помощь. На востоке горело и на западе... Всю страну охватывал взглядом святой Иринарх, и вся страна была пленена Литвой и пожжена....

Заплакал Иринарх, ужаснувшись видению разорения Божиих церквей. Так и проснулся в слезах.

И облистал его свет, заполнил сиянием тесную келью, и раздался Голос:

— Поди к Москве и поведай, что всё так будет!

Крестным знамением осенил себя Иринарх, сотворил молитву, и снова раздался голос:

— Так будет!

— Господи Иисусе Христе, сыне Божий! — перекрестившись, сказал Иринарх. — Помилуй меня грешнаго от искушения: я — раб Отца и Сына и Святого Духа и не желаю ничего на свете сем видеть!

— Не ослушайся и делай по сему гласу! — в третий раз прозвучал Голос. — Всё будет так роду сему непокорливому!

И тогда, впервые покинул затвор Иринарх.

С благословения игумена вместе с учеником своим Александром отправился в Москву, чтобы возвестить царю Василию IV Иоанновичу Шуйскому страшное будущее, которое ожидало Русское царство...

В Москве Иринарх провёл всего один день .

Его ученик Александр свидетельствовал, что прибыли они в Москву до рассвета. Пошли в Успенскую церковь и дали знать государю, что хотели бы беседовать. Государь приказал Иринарху быть в Благовещенском соборе.

Там и состоялась встреча.

Василий IV Иоаннович Шуйский был поражён великими «трудами», что нёс на себе Иринарх.

— Откуда ты, старче? — поцеловав Иринарха, спросил он. — Какая ко мне надобность?

— Господь Бог открыл мне, грешному старцу, страшное видение. Видел я Москву, пленённую ляхами, и всё Российское государство... И вот, оставя многолетнее сидение в темнице, пришёл к тебе возвестить это. Стой за веру Христову, государь, мужеством и правдой...

«Сказав сие, — говорится в Житии. — *Иринарх направился вон из церкви.*

Царь Василий Иоаннович взял старца под руку, а ученик его Александр под другую».

7

Житие ничего не говорит, присутствовал ли при беседе Иринарха с царём патриарх Гермоген. Ничего не говорится и о последствиях, которые имела эта беседа с преподобным Иринархом для Василия IV Иоанновича Шуйского.

Впрочем, об этом мы можем узнать, взглянув на хронологию зимы 1606 – 1607 года...

2 декабря 1606 года в сражение под Коломенским были разгромлены повстанцы Ивана Болотникова. Болотников отступает к Калуге.

14 февраля 1607 года возвратился в Москву из ссылки патриарх Иов.

16 февраля вместе с патриархом Гермогеном он обратились к народу с возванием. *«А что вы целовали крест царю Борису и потом царевичу Федору и крестное целование преступили, в тех во всех и нынешних клятвах я, Гермоген, и я, смиренный Иов, по данной нам благодати вас прощаем и разрешаем, а вы нас Бога ради также простите в нашем заклинании к вам и если кому какую-нибудь грубость показали».*

Нелепо было бы искать прямую связь этих событий с посещением Москвы преподобным Иринархом и его пророчеством о будущих испытаниях, но и не заметить, что совершаются эти события в едином духовном порыве, тоже не возможно.

Зима 1606 – 1607 годов очевидная, но — увы! — не удавшаяся попытка вырваться из-под тяжкого бремени клятвопреступлений, освободиться от сжигающих души властолюбия, алчности и злобы.

И, возможно, потому и было столь кратким пребывание Иринарха в Москве, потому и заспешил он, хотя и был обласкан государем, покинуть Кремль, что слишком ясно прозирал своим духовным зрением, всю безуспешность предпринятых попыток.

Ещё слишком круто бродила закваска порочных страстей...

Ещё не выпила страна положенную ей чашу испытаний...

Ещё слишком много требовалось молитв, чтобы спасти Русь!

Весною 1608 года, спустя несколько месяцев после разгрома войск Болотникова и взятия Шуйским Тулы, началось наступление Лжедмитрия II.

И снова заколебалось государство.

После взятия Тулы патриарх Гермоген уговаривал Василия IV Иоанновича Шуйского не медлить с подавлением мятежа в украйных городках, но бояре не позволили государю последовать мудрому совету. Не нужно было боярам спокойствие в государстве, настояли они, чтобы государь распустил войско на отдых…

И случилось то, что и должно было случиться.

Вбирая рассеявшиеся после разгрома Ивана Болотникова казачьи шайки, усиливаясь польскими отрядами, войско самозванца, нанесло поражение Василию IV Иоанновичу Шуйскому и встало на подступах к Москве в Тушине.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В разговоре о втором самозванце невозможно не коснуться литовской составляющей русской Смуты.

Великое Княжество Литовское охватывало тогда современную Белоруссию и значительную часть Украины, включая и «матерь городов русских» — Киев.

Входила Литва во времена Смуты в состав Речи Посполитой — государства, образованного в правление, и как это ни парадоксально звучит, при непосредственном «участии» Иоанна IV Васильевича Грозного.

1

Современные польские историки пафосно рассуждают сейчас о достоинствах Люблинской унии, сделавшей в 1569 году поляков нацией «Речи Посполитой Двух Народов», но при этом стараются не упоминать о цене, которую пришлось заплатить Литве за конституционное объединение с Польшей. Цена эта оказалась гораздо большей, чем та, которую требовал от Литвы Иоанн IV Васильевич Грозный.

В результате унии к Польше отошли обширные территории современной Украины и Подляшье, а под властью Литвы остались только северо-западные русские земли: Берестейщина и Пинщина. По сути, поляки тогда искусственно разделили единое литовское государство, вычленив из него ту часть, которая и превратилась со временем в самостийную Украину.

Ничего не получилось в «Речи Посполитой Двух Народов» и с правовым равенством. Польских представителей в сейме оказалось в три раза больше, чем литовских, что сразу привело к фактической дискриминации литовского, то бишь русского населения . В итоге это обернулось насильственным ополячиванием и окатоличиванием Литвы.

Одним из государственных деятелей, которому предстояло всю свою жизнь разматывать, а порою и снова запутывать, в зависимости от обстоятельств, клубок проблем, созданных Люблинской унией, был великий канцлер Великого Княжества Литовского Лев Иванович Сапега.

Поскольку он с полным правом может считаться соавтором Русской смуты, и соавтором более активным и значимым, нежели многие другие её персонажи, без характеристики его личности в рассказе о преподобном Иринархе не обойтись.

2

Лев Сапега выдвинулся при Стефане Батории и, с одной стороны всецело разделял экспансионистские устремления своего патрона, а с другой стороны огромные усилия прикладывал, чтобы уберечь Литву от ополячивания. Итогом этой деятельности стал знаменитый Статут Великого Княжества Литовского, который запрещал раздавать польской шляхте имения и посты на территории Литвы.

Подчеркнём, что будучи великим канцлером Сапега не только декларировал, но и отстаивал положения своего Статута. Известно, что в 1596 году

он пошёл на открытый конфликт с королём Сигизмундом III, отказавшись поставить большую государственную печать на акте о назначении на должность виленского бискупа уроженца Польши.

Кроме этого Статут Сапеги вводил так же — *«Писарь земский мает по-русску, литерами и словы русскими все листы и позвы писати, а не иншим языком и словы»* — государственный статус старорусского языка, на котором говорили тогда и на территории Великого княжества Литовского, и в Московской Руси.

Эта норма была сохранена и в переводе Статута в 1566 году на польский язык. Даже в третьем издании Статута было чётко предписано, что *«земский писарь обязан все бумаги, выписки и призывные повестки писать не на ином каком-либо языке и не иными словами, как только на русском и по-русски, буквами и словами русскими»*.

Любопытно, что в ходе реформ, произведённых самозванцами в годы Смуты, и следом за ними — первыми Романовыми, в Москве возникнет противоположная ситуация. При царе Алексее Михайловиче, например, некоторые важнейшие русские церковные документы будут записываться латинскими буквами и словами польскими .

Но это попутное замечание...

Возвращаясь к характеристике Льва Ивановича Сапеги, отметим, что хотя он и проводил, будучи руководителем внешней и внутренней политики Великого княжества Литовского, совершенно невыгодную для Московской Руси политику, но всё же назвать её просто враждебной, значило бы пойти по пути недопустимого упрощения. Точно так же, недопустимым упрощением было бы вообще идентифицировать внешнюю политику Великого княжества Литовского и Польши.

Да, Литва находилась в одном государство с Польшей и уже поэтому противостояла Московской Руси. Однако будучи русской и по языку и национальному составу, она противостояла при этом и самой Польше.

В своей пролитовской политике Сапега не собирался ограничиваться введением Статута.

Планы его, как бы сказали сейчас, были гораздо амбициозней.

Лев Иванович совершенно убеждённо верил в возможность создания конфедерации, в которой Великое княжество Литовское стало бы естественным, как территориальным, так и политическим центром будущего государства. Польша и Русь, как два крыла, должны были поднять Великое княжество и удерживать в его расширении от моря и до моря .

Идея единой конфедерации была озвучена ещё в 1586 году на переговорах в Гродно. Московской делегации было предложено, *«если Бог пошлёт по душу короля Стефана, и наследников у него не останется, так Корону Польскую и Великое княжество Литовское соединить с Московским государством под державную руку: Краков против Москвы, Вильно против Новгорода. А пошлёт Бог на душу великого царя, так Московской державе быть под рукой нашего государя, а другого господина вам не искать»*.

Поразмыслив, московские бояре ответили тогда, что подобное соглашение *«к доброму делу не приведёт»*, но Сапега от своего плана не отступился

и, вернулся к нему в сентябре 1600 года, когда вёл в Москве переговоры с новым русским царем Борисом Годуновым.

Историк Сергей Михайлович Соловьёв совершенно справедливо отмечал, что *«вместо условий вечного мира посол Сигизмундов предложил условия союза, и союза, приближавшегося к соединению двух государств в одно»*.

Однако оказалось, что московские бояре и теперь не обзавелись ещё необходимой для этого конфессиональной и патриотической гибкостью. Жертвовать идеей монархического устройства ради *«законов, устанавливающих определённые ограничения для монархов»*, они оказались не готовы.

Сапеге было заявлено, что о том, кому после кого наследовать престол, и говорить нечего, по-скольку это дело в руках Божиих и — понятное дело! — при царском венчании возлагать корону надлежит духовенству, а не светским людям...

3

Таким был Лев Иванович Сапега, таковыми были его планы, и всё это, говоря о русской Смуте, необходимо учитывать, поскольку и характер великого канцлера, и его устремления оказали значительное влияние, как на сам ход Смуты, так и на некоторые её перипетии.

У историков нет единого мнения, кому именно принадлежало авторство изобретения первого Лжедмитрия.

Вероятнее всего, это было коллективное творчество московских врагов Бориса Годунова и жадной до авантюрных приключений и чужих богатств польской аристократии.

А вот предположение, будто и Лев Иванович Сапега участвовал в приготовлении для Руси Лжедмитрия I, как на этом настаивает С.М. Соловьев, критики не выдерживает.

«Сапега два раза был в Москве послом: один раз — при царе Феодоре, другой — при Борисе, и в последний раз приехал из Москвы с сильным ожесточением против царя, — пишет великий русский историк. — *Когда самозванец объявился у князя Вишневецкого, то Петровский, беглый москвич, слуга Сапеги, первый явился к Вишневецкому, признал Отрепьева царевичем и указал приметы: бородавки на лице и одну руку короче другой»*.

Всё так...

Но отчего же, имея через Петрушку Пиотровского выход на самозванца и обладая возможностью перехватить его и превратить в своё орудие, Лев Иванович Сапега не сделал даже попытки удержать Лжедмитрия I при себе.

Более того, когда уже начался поход на Москву, Сапега советовал Юрию Мнишеку, находившемуся при самозванце, отстать от «Димитрия Иоанновича» и вернуться домой.

— Кому было нужно появление самозванца? — спрашивал Сергей Михайлович Соловьёв перед тем, как указать на Льва Ивановича Сапегу...

Действительно, а, кто был особенно заинтересован в самозванце и кто выиграл от этого?

Мы знаем об условиях, которые были оговорены с Лжедмитрием I польским королём Сигизмундом III и латинскими кардиналами, нам известно о

семействе Мнишек, которое буквально озолотилось в ходе этой авантюры. Предприятие Лжедмитрия I оказалось спасительным и для бояр Романовых, поднятых самозванцем из монастырско-ссыльного небытия к высотам государственного управления .

Возможно, в дальнейшем, когда Лжедмитрий I стал царём в Москве, Сапега сожалел, что остался в стороне от столь выгодного предприятия, что не попытался развернуть его в нужном для Литвы направлении, но факт остаётся фактом: политика, направленная на окатоличивание и ополячивание Московской Руси, которую усиленно проводил Лжедмитрий I, противоречила его планам.

Это, разумеется, не преуменьшает вреда, который, в конечном счёте, нанесла Московской Руси деятельность Льва Ивановича Сапеги, но факт этот позволяет расставить весьма важные акценты. В 1604 году Сапеге при всей его конфессиональной гибкости все-таки не хватило духу пуститься во все тяжкие с первым самозванцем.

4

Ошибку свою Сапега исправил в 1608 году.

Едва ли шкловский еврей Богданко может считаться изобретением Льва Ивановича Сапеги, но о том, что литовский канцлер сделал его орудием для осуществления своих замыслов, можно говорить совершенно определённо.

Теперь Сапега как бы поменялся местами с Сигизмундом III.

Как известно, 25 июля 1608 года между Василием IV Иоанновичем Шуйским и Сигизмундом III был заключён на 3 года и 11 месяцев мирный договор, согласно которому Сигизмунд обещал выдавать всех поляков, поддерживающих самозванца, и впредь никаким самозванцам не верить и за них не вступаться.

Собирался ли он, и — главное! — смог ли бы сделать это — вопрос другой.

Важно, что вокруг второго самозванца начал образовываться политический вакуум. Никто и раньше не принимал всерьёз «царика», а теперь лишенная поддержки Сигизмунда III авантюра рисковала провалиться вообще.

И вот тут-то и выступил на сцену Великий канцлер литовский. Он решил сделать Богданко орудием для осуществления собственных замыслов, и это спасло самозванца. Племянник Льва Ивановича, Ян Петр Сапега, привёл в Тушино целый корпус — пехоту, кавалерию и артиллерию.

Кроме войска, подученный мудрым дядей, Ян Петр Сапега привёз тушинскому царьку и идеологию войны, основанную, похоже, на всё тех же предложениях, что выдвигал Лев Сапега ранее в ходе московских переговоров.

Разумеется, говорить об этом можно только предположительно, но появление Яна Петра Сапеги определённо внесло организованность в тушинский хаос. Некая осмысленность появляется в деятельности окружения царька, и исходит она поначалу преимущественно от того же Яна Петра Сапеги.

Это он, «встретив» Марину Мнишек и её отца, направляет их в Тушинский лагерь.

Это он осаждает в сентябре 1608 года Троице-Сергиев монастырь.

Эти разноплановые и, казалось бы, разнонаправленные усилия, преследуют на самом деле одну цель.

«Возвращение» Марины Мнишек укрепляло положение царика, захват Троице-Сергиева монастыря, помимо обеспечения блокады Москвы с востока, имел бы ещё и важное идеологическое значение. Если бы удалось разместить в Лавре верное самозванцу духовенстве, это сразу позволило бы поднять его духовный авторитет.

В ряду этих принципиальных задач нужно рассматривать и перемещение Яном Петром Сапегой из Ростова в Тушино митрополита Филарета.

5

Надо сказать, что при всех различиях трудно найти в конце XVI – начале XVII веков две другие столь же схожие фигуры, как Лев Иванович Сапега и будущий московский патриарх Филарет.

Схожесть эту определяло, разумеется, не только знатное происхождение и высокое положение в обществе, которое они оба занимали.

Были и более существенные совпадения.

Лев Иванович Сапега, как известно, легко менял в зависимости от текущей политической конъюнктуры православие на кальвинизм, кальвинизм на католичество, и был человеком глубоко равнодушным к конфессиональным различиям.

Филарет из православия никогда не выходил, но гибкости в тех вопросах, где его политические интересы и пристрастия сталкивались с нравственными нормами, проявлял ещё большую, чем Лев Иванович Сапега.

В своё время он сумел не узнать в Лжедмитрии своего дворового человека Григория Отрепьева, а в Тушино он, подобно Марине Мнишек, сумеет узнать в царьке убитого Лжедмитрия I.

На политическую гибкость ростовского митрополита и рассчитывал Лев Иванович Сапега, и в выборе своём не ошибся. Филарет принял из рук тушинского царика патриаршее звание. Возведение Филарета (Романова) в патриархи и дальнейшая служба его у шкловского царька, пожалуй, самая позорная страница в истории династии Романовых.

Ведь новоявленного патриарха не остановило даже то, что ему приходится идти на клятвопреступление не только против православного народа, не только против законного царя Василия IV Иоанновича Шуйского и патриарха Гермогена, но и против святого царевича Димитрия, нетленные мощи которого всего два года назад он сам перевозил в Москву из Углича.

Несмотря на это, некоторые историки до сих пор пытаются «отмазать» Филарета от звания Тушинского патриарха, хотя им для этого и приходится смотреть на факты, как говорил Иоанн IV Васильевич Грозный, совсем уж «беззаконныма очами».

Не хочется даже перечислять лукавых измышлений о тех лишениях, что якобы претерпел «пленённый» Филарет, поскольку все эти воздыхания, на наш взгляд, только оскорбляют память подлинных священномучеников, которых явила в годы Смуты Русская Православная Церковь.

Филарет к числу безвинных страдальцев, разумеется, не принадлежал.

Нет никаких свидетельств даже и попыток его отказаться от дарованного ему самозванцем звания. Напротив, — напомним, что все это происходило при

жизни святителя Гермогена! — известно, что Филарет вершил патриаршие богослужения в Тушино и рассылал по всей России грамоты с призывами покориться тушинскому вору, под которыми подписывался: «Великий Господин, преосвященный Филарет, митрополит Ростовский и Ярославский, наречённый патриарх Московский и всея Руси».

«А теперь не знаем, как и назвать вас, потому что дела ваши в наш ум не вмещаются, уши наши никогда прежде о таких делах не слыхали, и в летописях мы ничего такого не читывали: кто этому не удивится? — словно в ответ на эти послания, писал тогда в Тушино патриарх Гермоген. — *Кто не восплачет? Слово это мы пишем не ко всем, но к тем только, которые, забыв крестное целование, отъехали, изменив государю царю и всей земле, своим родителям, жёнам и детям и всем своим ближним, особенно же Богу...»*

Тушинский патриарх Филарет этому слову подлинного патриарха Гермогена не внял. Он продолжал усердно служить самозванцу Богданко.

Разумеется, служба его имела бы гораздо больший успех, если бы Яну Петру Сапеге удалось взять Троице-Сергиеву лавру. Из Лавры голос тушинского патриарха звучал бы на Руси гораздо слышнее.

Но эту часть плана, придуманного, вероятно, всё тем же Львом Ивановичем Сапегой, осуществить не удалось. Помешал литовско-польским ратям героизм защитников монастыря, и та Божья помощь, что совершалась по молитвам её небесных заступников...

И, наверное, помешала та трехсаженная железная цепь, которую повесил тогда на себя затворник Иринарх.

6

Перечитывая житие преподобного Иринарха, каждый раз удивляешься, как это удаётся его автору, не заморачиваясь исторической конкретикой, исторически совершенно точно расставить акценты в хаосе происходивших событий.

Понятно, что заслуга в этом принадлежит не только составителю Жития иноку Александру, но прежде всего самому его герою.

«Витии многословесныя по достоянию восхвалити не возмогут мужества души твоея, богомудре отче наш Иринарше, — сказано в акафисте, — *варваром бо на обитель твою находящим и иноком ю оставльшим, ты един пребыти зде не убоялся еси, Богу себе вручая».*

Преподобный Иринарх, разумеется, не разбирался в политических замыслах и интригах, в игре честолюбий и предательств, которыми были перенасыщены годы первой русской Смуты.

Да и не было нужды в том...

Там, где находился преподобный, совершая свою молитву, рассыпались любые хитросплетения, и люди со своими помыслами и обманами представали перед очами Иринарха в своей изначальной правде или лжи.

Так было и осенью 1608 года, когда, взяв Ростов и отправив митрополита Филарета в Тушино, Ян Петр Сапега появился в Борисоглебском монастыре, где оставался только затворник Иринарх с двумя своими учениками.

Эпизод этот описан в Житии преподобного.

В накинутой на плечи шубе встал Сапега в дверях кельи Иринарха.

Келья — она сохранилась в прежнем виде — невелика была. От стены до стены — рукою достать можно. В одном конце кельи — иконы, в другом — дверь. И ни постели, ни печи в келье.

Один только закованный в тяжёлые цепи босой старец стоял перед племянником Великого канцлера литовского...

— Как терпишь ты, старче, такую муку в темнице? — спросил тот. — Лютый холод у тебя.

Мог бы ответить Иринарх, что молитва согревает, но не слышал литовский пан его молитв.

— Для Бога терплю... — сказал затворник. — А ты, пан, попадай домой. Не выйдешь живой, коли на Руси задержишься.

Мёрзлым холодом дохнуло на Сапегу от этих слов закованного в тяжёлые цепи босого старца.

Осторожно тронул Сапегу за рукав подручный. Прошептал, что сказывают, будто молится старец за царя Василия Шуйского. Говорит, я на Руси рождён, на Руси крещён, за русского царя и Богу молюсь.

— Правильно говорит... — поёжившись от могильного холода, сказал Сапега. — В какой земле жить, тому царю и прямить...

— Так он и за царя Димитрия молиться не хочет! — не унимался доносчик.

— За царька? — раздражённо спросил Сапега. — За которого?

— За обоих не молиться царьков... — начал было доносчик и осёкся.

Оттолкнув его плечом, вышел Сапега из мерзлой кельи,

Не оглядываясь, зашагал к саням.

7

Мы реконструируем этот разговор по записям, сделанным свидетелем его, иноком Александром, и хотя вроде бы и не хватает в этом свидетельстве конкретики, но на самом деле сказано тут всё.

В самом деле...

Мы узнаём, что Иринарх молится за государя Василия IV Иоанновича Шуйского, для свержения которого столько сил приложили и Лев Иванович Сапега, и тушинский патриарх Филарет, и тушинская Боярская Дума.

Мы узнаем о пророчестве преподобного Иринарха...

Более того, внимательно вчитываясь в свидетельство Александра, можно понять, что в разговоре Иринарха с Сапегой главными были не слова, а та молитва, что совершалась в старце.

И молитва эта воздействовала и на литовского военачальника, обезоруживая его, утишая его злые, направленные против Руси замыслы.

«Стену необоримую и ограждение нерушимое, не точию обители твоей и стране ростовстей, но и всей Державе Российстей дарова тя Господь, всеблаженне, ибо богоприятными твоими молитвами оныя ограждаеши и от нахождения иноплемённых свобождаеши» — сказано про эту молитву в акафисте.

Поразительно, но посланец Льва Ивановича Сапеги, принёсший столько

горя и страданий на русскую землю, не разгневался на Иринарха, который *«силою словес, благодати исполненных, врагов обличивый»*.

— Велика правда в батьке! — сказал он и пожаловал старца пятью — огромные по тем временам деньги! — рублями.

А вот данного ему Иринархом совета Ян Петр Сапега не исполнил.

И тогда, ровно через три года, исполнилось пророчество Иринарха...

Поразительно точным оказалось оно...

Но ещё поразительнее, что сразу после разговора Яна Петра Сапеги с Иринархом надломился сам ход военной компании, которую до сих пор столь успешно вёл вдохновляемый Львом Ивановичем Сапегой тушинский царек.

В неприступную крепость превратилась Троице-Сергиева лавра, взять которую необходимо было царьку, чтобы укрепить авторитет своего патриарха Филарета.

Но невозможно оказалось одолеть народное мужество, и Божью помощь, которая сопутствовала защитникам монастыря.

Пример этому — подвиг клементьевских крестьян Никона Шилова и Петра Слота, которые 11 ноября 1608 года взорвали польский подкоп под Пятницкую башню и спасли крепость от вторжения, пожертвовав своими жизнями ...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Разумеется, можно возразить, что хотя и не удалось Яну Петру Сапеге «посадить» воровского патриарха в Лавре, но всё равно тот сыграл важную роль в осложнении политической ситуации в Москве...

Действительно, в Тушине был теперь и свой патриарх, и своя Боярская Дума, в которую вошли князья Д.Т. Трубецкой, Д.М. Черкасский, А.Ю. Сицкий, М.М. Бутурлин, Г.П. Шаховский.

И не только в князьях и боярах появилась тогда расшатанность, но и в простых людях.

«И разделились, как чернь, так и знать… — свидетельствует летописец. — *Один брат в Москве с царем Василием в осаде, а другой — в Тушине с вором. Отец — в Москве, сын — в Тушине. И сходились ежедневно они на битву, сын против отца и брат против брата»*.

1

Смело можно говорить, что в свержении законного государя, царя Василия IV Иоанновича Шуйского тушинский патриарх Филарет сыграл едва ли не заглавную роль.

Более того...

Можно говорить и о роли тушинского патриарха в сохранении семибоярщиной, которая после свержения Василия IV Иоанновича Шуйского захватила власть в Москве, традиций воровской Боярской Думы, заседавшей в Тушино.

Безусловно и то, что семерым предателям русского народа (князья Фёдор

Иванович Мстиславский, Иван Михайлович Воротынский, Андрей Васильевич Трубецкой, Андрей Васильевич Голицын, Борис Михайлович Лыков-Оболенский, бояре Иван Никитич Романов и Фёдор Иванович Шереметев), неразрывно связанным с тушинскими боярами и родством, и идеологией предательства Родины ради личной выгоды, почти удалось снова сокрушить русскую государственность.

Так что, сделанного патриархом Филаретом в Тушине было не мало.

В 1600 году московские бояре отвергли идею Льва Ивановича Сапеги о том, что польским королём мог стать и русский царь. Теперь по мере развития событий Смуты эта мысль трансформировалась, и в кругах патриарха Филарета и семибоярщины укрепилось мнение, что только польский король или его сын, став русским царём, смогут вывести страну из разверзшегося хаоса.

Однако найденная в счастливом озарении (или в обманчивом помрачении?) идея унии, как единого принципа осуществления и конфессионального мира внутри конфедерации, и государственного устроения самой конфедерации трёх государств Польши, Великого княжества Литовского и Московской Руси, лишь в представлении самого литовского канцлера и его российских приспешников и могла быть осуществлена.

Никакие усилия, никакие поражения не способны были принудить Московскую Русь к вхождению в такую унию...

И ту власть, которая бы позволила сделать это, им тоже захватить не удалось.

2

Прикованный цепями, безвыходно сидел Иринарх в убогой келье, а вера в силу его святых молитв распространялась по всей Руси. Шли к Иринарху нищие и убогие, всесильные князья присылали за благословением…

Весной 1609 года, когда совсем тяжко стало на Руси, прислал за благословением к Иринарху выступающий в поход на самозванца князь Михаил Скопин-Шуйский.

Благословение и свой крест послал юному князю затворник Иринарх.

И вот в многолетней череде измен и предательств, бездарной нерешительности и себялюбивой мешкотни, как будто из совсем другого времени блистательный поход князя Михаила Скопина-Шуйского…

17 июня 1609 года. Разгром тушинцев под Торжком.

11-13 июля. Разгром тушинцев у Твери.

9 октября. Войска М.В. Скопина-Шуйского освободили Александровскую слободу.

12 января 1610 года. Войска Скопина-Шуйского разгромили поляков и сняли осаду с Троице-Сергиевой лавры.

Конец февраля. Бегство Лжедмитрия II и Марины Мнишек.

Первые числа марта. Михаил Ружинский поджёг стан в Тушино. Русские тушинцы разделились. Одни поехали с повинной в Москву, другие — в Калугу, к Лжедмитрию.

12 марта. Торжественный въезд М.В. Скопина-Шуйского в освобождённую Москву.

«Радуйся, воине Христов непоколебимый.

Радуйся, жизнь будущаго века паче временнаго жития возлюбивый.

Радуйся, силою словес твоих, благодати исполненных, врагов обличивый.

Радуйся, теми ярость сих в кротость преложивый.

Радуйся, пред военачальники вражиими православна и верна быти царю своему исповедавый.

Радуйся, хищений их небоязненный обличителю.

Радуйся, грядущаго на них гнева Божия верный возвестителю.

Радуйся, Иринарше преподобие, пустынножителей светлое украшение».

3

О, как ликовала Москва!

Наконец-то, явился среди, погрязших в трясине интриг и клятвопреступлений, бояр, юный герой, незапятнанный предательством, осиянный славою победителя...

И не вынесли этого завистливые боярские сердца.

23 апреля на крестинах у князя Ивана Михайловича Воротынского дочь Малюты Скуратова поднесла юному освободителю Москвы кубок с отравленным вином. Прямо на пиршестве полилась из носа князя кровь. Его отнесли в постель, с которой он уже не вставал.

Две недели умирал князь…

В эти дни и пришёл присланный Иринархом инок Александр.

— Вороти крест, княже... — передал он просьбу Иринарха.

Молча смотрел на посланца преподобного Иринарха князь.

Что было говорить?

Не сберёг он себя... Благо бы для утех житейских не сберёг, а он для спасения Руси не сумел сохранить себя...

И не прозвучало ни одного пустого и жалкого слова утешения...

О, каким православным смирением и величием была наполнена эта сцена!

Что тут говорить?

Не словами надобно утешать,

— Вороти крест, Михайло Васильевич! — повторил посланец и, оглянувшись, чтобы никто не слышал, тихо добавил:

— Другому теперь потребен этот крест будет.

Князь Михаил вернул крест и просил Александра отвезти отшельнику Иринарху даров от него...

Крест, возвращённый умирающим князем Михаилом, Иринарх снова поставил в келье.

Некому было нести его.

Никому не по силам.

Ещё долго надо было молиться, чтобы появился герой, способный взять этот крест...

4

После гибели Михаила Васильевича Скопина-Шуйского снова погрузилась Русь в пучину смуты.

Всё новые и новые самозванцы восставали…

Предательством и боярской изменой удалось свести с престола царя Василия IV Иоанновича Шуйского…

Но не успокоились на этом предатели.

Чтобы позор их не так бросался в глаза, они решили опозорить всю Русь, добровольно выдав полякам на расправу и глумление законного государя Василия IV Иоанновича Шуйского и его брата Дмитрия.

29 октября 1611 года, подобно римскому триумфатору, сидя в богатой коляске, в которую впряжена была шестёрка белых лошадей, окружённый пышной свитой, въехал в Варшаву коронный гетман Станислав Жолкевский.

За ним влачился русский царь Василий IV Иоаннович Шуйский и его брат — Дмитрий.

Поставив этих последних Рюриковичей перед троном Сигизмунда III, гетман Жолкевский сказал:

«Вот он, великий царь московский, наследник московских царей, которые столько времени своим могуществом были страшны и грозны польской короне… Вот брат его Дмитрий… Ныне стоят они жалкими пленниками, всего лишённые, обнищалые, поверженные к стопам вашего величества и, падая на землю, молят о пощаде и милосердии!».

Не молил Василий IV Иоаннович Шуйский о пощаде, но Жолкевский не желал вникать в чувства выданного ему московскими предателями русского царя.

И о том, что привёл он в Варшаву не царя, а монаха, кичливый гетман тоже упомянуть позабыл…

«Так Москва проступила с Венценосцем, который хотел снискать ея и России любовь подчинением своей воли закону, — писал Н.М. Карамзин, — *бережливостию государственною, безпристрастием в наградах, умеренностью в наказаниях, терпимостию общественной свободы, ревностию к гражданскому образованию — который не изумлялся в самых чрезвычайных бедствиях, оказывал неустрашимость в бунтах, готовность умереть верным достоинству Монаршему, и не был никогда столь знаменит, столь достоин престола, как свергаемый с онаго изменою: влекомый в келлию толпою злодеев, несчастный Шуйский являлся один истинно великодушным в мятежной столице»*…

Жестокое унижение пришлось пережить несчастным пленникам, которые ещё не знали, что в плену и предстоит им закончить свои дни.

Но это было унижение не только Шуйских, прямых потомков святого благоверного князя Александра Невского, это было жестокое унижение всей Руси, на которую обрекла её воровская московская семибоярщина — отравитель М.В. Скопина-Шуйского князь И.М. Воротынский; брат тушинского патриарха Филарета — И.Н. Романов; Ф.И. Мстиславский; А.В. Трубецкой; А.В. Голицын; Б.М. Лыков; Ф.И. Шереметев.

5

Новые цепи прибавил к своим «железным трудам» затворник Иринарх.

И эти новые московские боярские грехи надо было нести ему, отмаливая их, чтобы спасти страну...

Снова приходили поляки в Борисо-Глебский монастырь.

Десять недель стояли тут.

Сын воеводы Яна Каменского заходил в келью старца.

— Благослови, отче! — попросил он.

— А чего пан Сапега не приходит? — спросил Иринарх.

— Занемог Сапега в Москве и помер, как и говорил ты...

Тяжело звякнули кресты, загремели цепи, когда поднимал для благословения руку святой Иринарх.

— Благословляю, — сказал он. — Иди домой в Польшу, а то и тебя, Сапегина судьба ждёт...

И сам воевода Ян Каминский пришёл благословиться у старца.

И его благословил Иринарх возвращаться в Польшу…

Как утверждают исследователи, преподобный Иринарх носил на себе, не снимая, 161 килограмм «праведных трудов».

Духовной силе его и святости поражались все видевшие его.

И никто, даже злые иноплеменники, не осмеливались обидеть святого.

Обиды терпел Иринарх только от своей монастырской братии.

Увы… Людей несовершенных святость обжигает, как жжёт грешников огонь Божественной Любви. Грешным людям лучше наблюдать святость издалека, только на короткое время прикасаясь к ней, а жить рядом со святым — не под силу грешнику.

Так и было с монастырской братией, возвратившейся в сбережённый святым отшельником монастырь.

6

Новые гонения на преподобного Иринарха воздвиг игумен Симеон.

Он приказал Иринарху являться вместе с братией в церковь на службу. Но, нося «железные труды» старец и по келье передвигался с трудом, день и ночь иссушал плоть в посте и молитве.

И тогда «жестокосердный Симеон» превзошёл лютостью и неверных. Первым делом он отобрал у старца все его скудные припасы.

Только святости он не мог отобрать у отшельника.

Когда ученик сказал Иринарху, дескать, всё перерыли, а мёд — вот радость-то! — не углядели, старец велел Александру идти к игумену и сказать об этом.

Игумен не постеснялся прислать монаха и забрать мёд у старца.

Но это было лишь начало гонений...

На следующий день снова явились мучители в келью.

Четверо из них схватили отшельника под руки и поволокли на улицу, а игумен с пятью помощниками потащил следом тяжелую цепь, к которой был прикован Иринарх.

Когда волокли Иринарха, выломали ему руку, а потом в цепях бросили возле церкви.

Здесь Иринарх пролежал девять часов, молясь Господу, чтобы не поставил сего гонителям его во грех, *ибо всуе мятутся, не ведая, что творят...*

Житие святого рассказывает, что когда искалеченный Иринарх лежал один на земле возле церкви, явился ему юноша в светлых ризах и сказал:

— Услышал Бог молитву твою и терпение твоё: если испросишь чего, будет дано тебе!

И после, когда перенесли Иринарха назад в келью, снова раздался Голос:

— Дерзай, страдалец мой. Я с тобой всегда. Я ждал твоего подвига и терпению твоему дивились ангелы. Теперь уже больше не будет на тебя гонений, но ждёт тебя уготованное тебе место в Царствии Небесном!

Неразумно связывать эти откровения со скорым удалением из монастыря игумена Симеона...

Другие, более важные события происходили на Руси...

7

Известно, что тогда Иринарх и послал благословение и просфору князю Пожарскому, остановившемуся в Ярославле со своим ополчением

— Ступайте под Москву и не бойтесь Заруцкого... — велел передать старец. — И узрите славу Божию!

Уже на пути к Москве Дмитрий Михайлович Пожарский и Козьма Минин остановились в Ростове, чтобы побывать в Борисо-Глебском монастыре и лично получить благословение Иринарха.

Загремев цепями, взял преподобный свой Поклонный крест.

— Да явит Господь милость свою, — сказал он, вручая святыню князю. — Да пособит вам, очистить Москву от великия скорби.

Это был тот самый крест, что посылал Иринарх князю Михаилу Скопину-Шуйскому.

— Дерзайте! — благословляя князя Пожарского и гражданина Минина, сказал Иринарх. — Не страшитеся ничего! Бог вам в помощь!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

И сбылись, сбылись слова Откровения: *«Если испросишь чего, будет дано тебе!»*

Уже близок был день освобождения Москвы, день 22 октября 1612 года, который принято считать днём завершения Смуты...

И когда вглядываешься в обременённые «железными трудами» и заполненные горячими молитвами годы Жития преподобного Иринарха, открывается величественная картина, совершаемого по Божией Воле пути...

1

«Здесь спасёшься!» — услышал Иринарх, когда в самом начале своего иноческого пути принял решение уйти на Соловки.

Двадцать пять лет подвигов и искушений, трудов и смирения отделяют этот день от первого появления Иринарха на исторической сцене, когда возвестит он в Благовещенской церкви царю Василию IV Иоанновичу Шуйскому своё видение грядущего пленения Литвою Руси.

И проходит ещё три года, проведённых в «железных трудах» затвора, и снова является Иринарх на исторической сцене, посылая благословение и крест блистательному русскому полководцу князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому.

Князь сумел пронести Иринархов крест в Москву, где и погиб, отравленный завистниками...

Какие боярские грехи — чёрную зависть, клятвопреступления, дьявольскую гордыню и себялюбие — намешали тогда в чашу московские бояре?

И вот прошло ещё три года тяжкого молитвенного труда Иринарха, прежде чем открылось великому русскому затворнику, что услышана Богом молитва и сказано: *«Если испросишь чего, будет дано тебе!»*

И разве трудно понять, чего испрашивал преподобный Иринарх, благословляя Минина и Пожарского и вручая свой поклонный крест.

2

Уместившись в пространство двух лет, сошлись три даты…

Рождение Дмитрия Михайловича Пожарского, постриг тридцатилетнего Илии, наречённого в монашестве именем Иринарха, и обретение Чудотворной Иконы Божией Матери Казанской...

Три даты...

Три события, из которых произросло спасение нашего Отчества от разрушительной смуты, в которую ввергли его властолюбие, алчность и своеволие...

И пришло 22 октября 1612 года, и загудели колокола в московских церквях, и двинулись на штурм Китай-города ратники князя Дмитрия Пожарского.

Перед последним штурмом русские ратники молились у Чудотворной Иконы, прикладывались кресту, которым благословил князя Пожарского затворник Иринарх...

А когда, наконец, окончательно успокоилась страна, тихо покинул земную обитель затворник Иринарх.

Кончина его наступила 13 января 1616 года.

По завещанию преподобного, гроб его положили в уготованной им самим пещере...

3

Великие чудеса происходили от святых мощей великого русского затворника.

Великою целительной силой оказались наполнены праведные «труды» преподобного Иринарха…

Великою силой обладали молитвы к преподобному…

Продолжали сбываться и его пророчества...

Как мы уже говорили, Ян Петр Сапега прорвался в 1611 году с обозом в

осаждённый московский Кремль, и там, исполняя пророчество преподобного Иринарха, занемог и умер 15 октября 1611 года...

Ну, а сам Лев Иванович Сапега лично участвовал в осаде Смоленска и всячески продвигал на московский трон королевича Владислава...

Нет нужды сейчас во всех подробностях описывать эту деятельность Льва Сапеги, тоже обернувшуюся для Московской Руси неисчислимыми бедами и несчастьями.

Сергей Михайлович Соловьёв писал, говоря о Стефане Батории, что он *«принадлежал к числу тех исторических лиц, которые, опираясь на свои личные силы, решаются идти наперекор уже установившемуся порядку вещей, наперекор делу веков и целых поколений, и успевают вовремя остановить ход неотразимых событий; эти люди показывают, какое значение может иметь в известное время одна великая личность, и в то же время показывают, как ничтожны силы одного человека, если они становятся на дороге тому, чему рано или поздно суждено быть»*.

Эти слова можно отнести и к продолжателю дела Стефана Батория Льву Ивановичу Сапеге.

Действительно, вглядываясь в его судьбу, мы ясно видим, как ничтожны силы одного человека, если он становится на дороге тому, чему рано или поздно суждено быть...

Согласно Деулинскому перемирию, заключенному 1 декабря 1618 года, Великому княжеству Литовскому отошёл Смоленск, а Польше — Чернигов, но и эти столь тяжёлые для Московской Руси уступки не смягчили Великого канцлера.

Под влиянием Сапеги, Владислав, несмотря на заключённое перемирие, так и не признал Михаила Федоровича Романова царем и не отказался от притязаний на Московский престол.

Сапега же, став виленским воеводой — в то время это была самая почётная военная должность в Великом княжестве Литовском, — немедленно принялся за изготовление, благо рецепт был не забыт, нового самозванца для Руси.

К первому самозванцу не решился пристать Лев Иванович.

Второго — использовал в своих интересах.

Третьего — решил изготовить самолично.

В его слонимском имении уже воспитывается Лже-Ивашка I — Ян Фаустин Луба, который якобы являлся сыном Марины Мнишек от Лжедмитрия II.

На самом деле четырехлетний Ваня-ворёнок ещё в 1614 году был повешен в Москве, и воскресили его в образе шляхтича из Подляшья только неутолённые мечтания перевалившего на седьмой десяток Льва Ивановича Сапеги...

Из всех самозванцев этот оказался самым малоудачным.

Хотя причина этому не в недостатке опыта и умений у его конструктора, а в том, что изменилось само время, а силы одного человека, если он становится на дороге тому, чему рано или поздно суждено быть, слишком ничтожны.

7 июня 1633 года человек, который так легко менял православие на кальвинизм, а кальвинизм на католичество, скончался.

Всего на три месяца пережил его патриарх Филарет.

1 октября 1633 года скончался и этот удивительный человек, поставленный в митрополиты Лжедмитрием I, возведённый в патриархи Лжедмитрием II...

4

Символичен тот факт, что земная жизнь преподобного завершилась с окончанием Смуты.

И закономерен...

Преподобный Иринарх принадлежал к прежней, Святой Руси, а с воцарением династии Романовых начиналась новая — романовская Россия, которую не знали люди, подобные Иринарху, и которая не желала знать подобных ему людей…

Разумеется, русский народ продолжал хранить память о своём великом заступнике и молитвеннике, но это простой народ...

А правители и историки наши про Иринарха как бы и позабыли.

Он как бы отошёл в тень.

И это тоже не случайность, а закономерность...

5

«Не говорю и не думаю, чтобы древние Россияне под Великокняжеским и Царским правлением были вообще лучше нас, — писал великий русский историк Николай Михайлович Карамзин. — *Не только в сведениях, но и в некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, т. е. иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что действительно порочно, однакож должно согласиться, что мы с приобретением добродетелей человеческих утратили гражданския. Имя Русскаго имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Михаила и сына его присваивая себе многия выгоды иноземных обычаев, всё ещё оставались в тех мыслях, что правоверный Россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а Святая Русь — первое Государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к Отечеству и нравственной силе онаго! Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим Гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных Европейцев неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию — неверным или братьям? т. е. кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При Царе Михаиле или Феодоре? Вельможа Российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с весёлым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших Государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России.*

Виною Пётр.

Он велик без сомнения; но ещё мог бы возвеличиться гораздо более, когда бы нашёл способ просветить ум Россиян без вреда для их гражданских добродетелей. К несчастию, сей Государь, худо воспитанный, окружённый людьми молодыми, узнал и полюбил женевца Лефорта, который от бедно-

сти заехал в Москву и, весьма естественно, находя русские обычаи для него странными, говорил ему об них с презрением, а все европейское возвышал до небес. Вольныя общества Немецкой Слободы, приятныя для необузданной молодости, довершили Лефортово дело и пылкий Монарх с разгорячённым воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию Голландией».

И когда думаешь, почему так мало вспоминали преподобного Иринарха в петровской и послепетровской России, понимаешь, что причина полузабвения в том, что делал этот великий подвижник…

Преподобный Иринарх, как и вся православная вера, не могла совместиться с проектом переделки России в какую-нибудь Голландию...

6

В желании сделать из России то Голландию, то Америку, мы многое потеряли и продолжаем терять…

И вот, уже и в попытках превратиться в Америку наступает разочарование, но всё равно густой туман вокруг, и не различить, куда же дальше идти, если не в Америку...

Не различить...

И не удастся различить этот утраченный смысл национального бытия, если не обратимся мы к нашим святым…

К святым мученикам Борису и Глебу, к святому благоверному князю Александру Невскому, к преподобным Сергию Радонежскому и Александру Свирскому, к святителям митрополиту Филиппу и патриарху Гермогену, к преподобному Иринарху, затворнику ростовского Борисо-Глебского монастыря…

Их жития, их подвиги, их молитвы — это та русская национальная мысль, которую позабыли мы, но которую обязаны вспомнить.

Ибо, не научившись думать по-русски, не сумеем мы предотвратить надвигающуюся на нас катастрофу, не сумеем выбраться на Путь, предназначенный нашей стране Богом.

7

Много раз уже говорилось, что в дни юбилеев происходит не только всеобщее воспоминание о событии, бывшем сто, двести или полтысячи лет назад, но во всеобщем, всенародном переживании его происходит укрупнение и подлинное осуществление этого события.

И каждый раз удивляешься, как насущно точно подходят юбилейные переживания к событиям, которые происходят с нами сейчас, как необходимы они для верной оценки наших поступков и деяний.

— *Великий подвиг пронёс преподобный через свою иноческую жизнь...* — сказал в эти дни Высокопреосвященнейший Пантелеимон, митрополит Ярославский и Ростовский. — *Преподобный нёс великие подвиги, они сегодня кажутся нашим современникам тяжёлыми и просто неисполнимыми. И Господь принял его подвиг и его труды, благословив его многими дарами. Сегодня мы приносим свои посильные молитвы преподобному и верим, что*

он усугубит наши молитвы перед престолом Господним и поможет нам в этот сложный период хранить веру...

Мудрые, исполненные подлинного православного смирения слова...

Но тем горше мысль, что всё чаще и чаще пропускаем мы великие юбилеи...

Ведь и 400-летие преставления преподобного Иринарха в этом году отмечалось лишь внутри Ярославской епархии.

400-летие преставления преподобного Иринарха, человека, сыгравшего ключевую роль в спасении Руси в кровавой Смуте начала XVII века, оказалось сжатым до епархиального уровня, и так и осталось незамеченным всей Россией.

И это, конечно же обидно, тем более сейчас, когда особенно актуален явленный преподобным Иринархом опыт диалога с католическими представителями; опыт противостояния молитвы политическому расчёту; опыт стояния в вере и в любви к своему Отечеству...

С прискорбием приходится констатировать, что общественная мысль современной России, блуждающая как в трёх соснах в мифах, навязанных дореволюционной, «романовской» историографией, советским атеизмом и идеологией современного патриотического благомыслия, просто неспособна воспринять святого Иринарха.

И четыреста лет спустя после его кончины, мы пока ещё не доросли до подлинного понимания подвига преподобного...

Старочеркасск. Казачья старина

Дмитрий Ханин

ДО ПОСЛЕДНЕЙ УЛЫБКИ

КАЛИТКА

Наша жизнь – не тропа, а калитка
Между парой соседних дворов,
И в обоих – тревоги с избытком,
Как в садах у реки – комаров.

Между прошлым и будущим Мира
Невысокий дощатый забор.
А повсюду винтовки и лиры,
Словно брёвна, сгружают во двор.

Наше дело – стоять на планете,
Мы с рождения вписаны в быт.
Расшатались надежды и петли,
Вот и сердце немного скрипит.

Проползёт по щеколде улитка,
Как душа в середине пути…
Наша жизнь – небольшая калитка,
Где случилось Вселенной пройти…

Дмитрий Ханин, член Союза писателей России (2011), автор нескольких поэтических сборников, член правления Ростовского регионального отделения Союза писателей России. Участник Всероссийского Совещания молодых писателей (Переделкино, 2011 год). Победитель Всероссийского поэтического конкурса им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами...»

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

СВЕТ

До чего же повсюду темно,
Всё смешалось: дома и деревья.
Лишь горит вдохновенно окно,
В силу солнца по-прежнему веря.

Больше света не видно нигде…
И прекрасно, что полночью хмурой
Хоть кому-то уютно в гнезде
Под лучистым крылом абажура.

Кто-то смотрит на кухне кино
Или с книгой задумчиво дремлет,
А раскрытое щедро окно
Отблеск счастья роняет на землю…

Не изгнав монотонную тьму,
Свет в бурьян у дороги ложится…
Я душою его подниму,
Как перо чародейки Жар-птицы.

ДУША

От ветра, от солнца,
От горестных дум
Душа износилась,
Как старый костюм. –
Я грубые ткани
Латал до утра –
Согнулась иголка
Любви и добра.
Душа превратилась
В обрывки тепла,
Но воля по нитке
Её собрала
И заново сшила
Добротный костюм,
Который спасает
От ветреных дум.

***

Когда уходит солнце с пьедестала
И в хмурый быт въедается тоска,
Так хочется, забыв про идеалы,
Извилистого счастья не искать –
Полазить по заброшенным сусекам
И сказку немудрёную сложить,
Войти в сюжет хорошим человеком,
Который может совестливо жить.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Как-то всё между прочим: и век, и неделя, и час,
И пустая дорога, и жёлтый сигнал светофора,
И беспечный таксист,
вдохновенно пришпоривший «газ»,
Будто зная, зачем эта улица вписана в город.

Я его пассажир – нам ещё полчаса по пути.
Полчаса, а потом
я сойду под осеннее небо.
Я бы мог, между прочим,
и здесь точно так же сойти,
Потому что, и здесь
магазин, перекрёсток и верба.

Потому что, и здесь провода от столба до столба,
Потому что, везде фонари отражаются в лужах…
Как-то всё между прочим: и завтрашний день, и судьба,
И тоска, и коньяк, не допитый с друзьями на ужин.

И тоска, и коньяк –
а попробуй без них продержись…
Да хотя бы и с ними, – попробуй нащупай глубины!..

Как-то всё между прочим:
и вечность, и правда, и жизнь.
И задумчивость песен, пришедших на ум без причины.

***

В городе – снег. А над снегом горят фонари.
Пусто кругом. А у дома столпились деревья.
Ручка дверная от холода жмётся к двери,
Хоть никогда и не видела комнат за дверью.

В доме тепло. Здесь хозяйка пирог испекла.
Чай на столе. Как же можно под вечер без чая?
В печке – огонь. Как же можно зимой без тепла?..
…ручка дверная гостей на морозе встречает.

В доме – цветы. В доме к полночи танцы начнут.
Будет веселье – и лампы продолжат мерцанье.
Людям достанется добрых объятий уют.
Ручке дверной – лишь ладоней горячих касанья.

Эти касанья не в силах надолго согреть.
В тихой двери пробудится задумчивый скрежет:
Если тепло существует, то нужно терпеть.
…Что же ещё на морозе надежду удержит?..

РАДИ ШУТКИ

Понапрасну с дождями не споря,
Отложив и тоску, и пальто,
До ближайшего летнего моря
Поезжай на случайном авто. –
На любой удивлённой попутке
С неуклюжим, как мысли, рулём
Отправляйся на юг ради шутки,
Попрощавшись тепло с ноябрём.

Выйдет случай, конечно, курьёзным,
Но смеяться бы я не посмел –
Ничего не бывает серьёзней
Ради шутки задуманных дел.
Как приедешь – садись у залива,
Чтоб с полудня закат сторожить…
Ради шутки, попробуй счастливым
До последней улыбки дожить.

Василий Воронов

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(Окончание. Начало №№ 1-4 2015 г.)

10

Исповедь бывшего человека

Красивый каллиграфический почерк, текст почти без помарок, зачёркиваний и исправлений. Видно, автор не заботился о стиле и не задумывался подолгу. Так на одном дыхании пишутся любовные письма, дневники, живописуются ещё не отболевшие страсти и переживания. Так пишут исповеди, чтобы не сойти с ума от внезапных потрясений; так поверяют бумаге горькие мысли неудачники и выбитые из колеи волею судеб слабые люди. Сильные же, напротив, выговорившись, исцеляются, укрепляются духом. Мы знаем много из литературы, когда исповеди становились примером духовной силы, борьбы и сопротивления. Но мы также знаем из литературы и истории об озлобленности, потери веры в себя, богоборчестве и саморазрушении.

Будь снисходителен, читатель!

«Рукопись эта адресована всем и никому конкретно. Если я околею завтра, то послезавтра её прочтёт тот, кому она первому попадётся на глаза. Передаст ли он её другу или бросит в печку, мне всё равно. Не буду же я огорчаться оттуда. Зачем же мне придавать большое значение этим запискам при жизни, если я не ценю собственную жизнь… Тогда зачем бесполезный труд? А зачем человек разгадывает кроссворды? — Чтобы убить время, ничего не делать, ни о чём не думать. Вот и я от нечего делать разгадываю кроссворд своей

Воронов Василий Афанасьевич, член Союза писателей СССР, России, известный донской прозаик, публицист. Закончил Литературный институт имени А.М. Горького. Работал в различных газетах, главным редактором журнала «Дон», председателем Ростовского регионального отделения Союза писателей России. Автор ряда книг прозы и публицистики.

Живёт и работает в станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области.

жизни. Убиваю время, чтобы до срока не залезть в петлю или не сигануть под машину.

В детстве я был чрезвычайно самолюбив и скрытен. Подспудно, интуитивно готовился к великому поприщу. Я был переполнен мечтами самыми экзотическими, невероятными, возвышенными. И благородными, заметьте. Я отвергал каждодневные прозаические вещи. Обычный крестьянский труд вызывал отвращение. Неужели я рождён, чтобы полоть огород, пилить дрова, носить воду, бегать в магазин за хлебом, как это делали сверстники. Нет, я создан, чтобы писать поэмы, песни, музыку. Я должен потрясать сердца, покорять страны, народы своим гением. Я докажу, добьюсь, взойду на Олимп!

О, сколько дури было в моей голове! Бесполезные мечты просто роились в голове, мешали воспринимать хуторскую жизнь в её богатом житейском колорите. Как я сейчас понимаю, ни-чего необычного не было в моих розовых мальчишеских мечтах. Кто из нас не мечтал в детстве? Но у меня это было острее, болезненнее. Добавляло лишку самолюбию, скрытности.

Самолюбие было двигателем всех моих желаний и поступков. Не находя удовлетворения в убогом хуторском существовании, в примитивности моих сверстников, я стал искать ответы на неразрешимые вопросы в книгах. Лет с десяти-двенадцати погрузился в пучину литературы, в коей, уже бессильный и безвольный, пребываю и сегодня. Видно, эту епитимью нести до самыя до смерти.

Литература повлияла на мою жизнь, на душу и разум. Горько сожалею, что вовремя не мог — а теперь уже поздно — освободиться от чудовищной зависимости. Впрочем, зачем я ропщу? Отними у меня эту игрушку, и я превращусь просто в «митюка», которому суждено до скончания дней коптить небо в хуторе Гривенном в качестве прораба или ещё хуже, сельского учителя. Мой отец, плотник, сильно хотел, чтобы я стал прорабом, а матушка видела во мне хуторского учителя. Правда, потом они порадовались, что я стал священником, но тем сильнее было разочарование, когда попа из меня не получилось, и я вернулся в родной хутор с дурной славой. В хуторе уверены, что я укокошил старичка, своего наставника, и за это отлучён от церкви. Иногда мне кажется, что родители мои верят сплетням и тайно молятся за мою погибшую душу.

Верую ли я?

Верую в Учителя нашего, благородного адвоката человечества, страстным словом своим указавшего нам путь к спасению.

Не верю попам и монахам, лицемерящим перед невежественной паствой, окормляющим пустыми словами доверчивые души. Раболепно окропляющим и освящающим с молитвой «мерседесы», вертепы, сауны и ночные клубы. В католической среде пороков ещё больше.

Но я не сторонник хулителей церкви. Я знал многих примерных священников, глубоко верующих, совестливых, настоящих праведников. Таким был мой наставник в Истре, отец Власий, погибший от рук сумасшедшего человека. На подвижниках стоит церковь. Я же человек сомневающийся, не верящий в церковную иерархию, как и во всякую бюрократию. К тому же слабый духом. Я сломленный человек, конченный человек. Мне ли судить о попах и монахах? А вот сужу, червяк, царапаю, мараю бумагу. Зачем?.. Тьфу! — Потому что слаб, потому что сомневаюсь.

Чем занята моя голова? Что ещё может взволновать пустую душу?.. Думаю об Анне, — глубоко она вошла в меня, и как заноза, осталась, кровоточит. Думаю, жизнь пошла бы по другому руслу, сойдись я с нею. Она сильнее меня, крепче чисто житейски. Конечно, я бы подчинялся ей, с радостью бы подчинялся. Она бы выправила моё самолюбие и мою замкнутость. С Анной я бы мог быть и прорабом, и сельским учителем. И пастухом, и поэтом! — Увы! Теперь не виню её в измене. Я слаб. А её физиология требовала ярко выраженного самца. Она заурядная особь, я никогда не обольщался. Но её природный жизненный иммунитет, как я теперь понимаю, выше всякого интеллекта. Полезнее книжного комбикорма, который я тогда кушал самозабвенно, готовя себя к великому поприщу.

Зачем мне Гоголь, если бы Анна была рядом? Зачем разгадывать чужую душу, даже если она — душа Гоголя? Почему, дескать, он надорвался над положительными образами и умер точь-в-точь, как его отец Василий Афанасьевич? Кто прав в споре о России: Гоголь или Белинский?.. Да Бог с ними! Зачем девушке твои заморочки?! Какое дело Анне до меня с Гоголем и Белинским? Какое дело Анне до декабристов, до Чаадаева, которые были мне дороги. Я как-то пытался поделиться с ней мыслью, как нынешние либералы изгалялись над теми, чьи имена ещё недавно были бесспорны. Зачем, дескать, они разбудили Герцена? И т.д. — Дорогие для меня имена были опошлены, оболганы…. Анна простодушно спросила:

— Зачем тебе декабристы? Понюхай, как вишня пахнет…

Только теперь дошло, как она была права! Я строил замок на песке. Мои многолетние занятия литературой, философией, историей завели в тупик. Я не мог применить свои познания на практике, не мог даже поделиться ими с кем-либо из знакомых. Мои сверстники быстро пристроились к делу, работали шоферами, строителями, агрономами, учителями. Завели семьи, рожали детей, строили дома, ездили на машинах и мотоциклах. Они строили, дерзали, кромсали жизнь по своему плечу, — они были хозяевами. Я же отстал, заблудился, остался один. Ни-кому не нужный. Лишний человек. Как на уроках по литературе проходили: лишние люди. Чацкий, Онегин, Печорин, Рудин… Горе от ума, горе уму! Когда я собрался ехать на учёбу в семинарию, моя мама, доярка, простая, малограмотная женщина, всплакнула:

— Зачем тебе Москва? Там учёные люди, они все тронутые… А в хуторе — дом построим, женишься, выучишься на учителя. Человеком станешь.

Сегодня нехитрый совет этот вспоминаю с чувством большой потери. Мама была права. И Анна права. «Понюхай, как вишня пахнет». В школе меня хвалили, ставили в пример: мальчик много читает, дружит с книгами. Хороший мальчик. У меня не было друзей, просто собеседни-ков не было. Я не мог, например, поговорить с кем-либо о стихотворении Баратынского «Отец». Или об «Исповеди» Гоголя. Ни в школе, ни дома, ни на улице. Я не мог найти единомышленников и в семинарии. Говорить вслух о Толстом или о Пушкине, как об авторитетах, было недопустимо. Они считались безбожниками, язычниками.

Я невольно стал потихоньку отдаляться от церкви. Приняв сан священника, я убеждал себя, что это нужно, важно, что в этом, может быть, смысл моей жизни. Но внутри не было крепости, силы. Внутри были сомнения,

пустота. Я искал в церкви опору и не находил её. И ещё больше замыкался в себе. Только в иллюзиях, только в книжном, нематериальном мире я, увы, находил утешение. «Над вымыслом слезами обольюсь». И я обливался слезами «над тучкой жемчужной» и «сном золотым». И совершенно не понимал, не видел, кто сидит на комбайне, кто кладёт кирпич и кроит железо, кто возводит церкви и пускает ток. Я многого не замечал в материальной жизни. Отсюда мои несчастья и жизненная неприкаянность. Я слабый человек.

Не ропщу, не жалуюсь, не ищу сочувствия. Не жалею, не зову, не плачу — как сказал поэт, чьи душевные конвульсии были не чета моим. И кто свою одинокость и неприкаянность ощущал, наверно, стократно острее. Моя невзрачная личность годится разве что для печального примера в назидание другим. Как урок бесполезной жизни. Бесхозного употребления к делу.

Можно ли как-то поправить положение? Вдохнуть оживление в едва мерцающий сосуд? Вряд ли. Я от природы не имел крепкой воли. А сил душевных растрачено немало. В тридцать лет я ощущаю себя старым человеком. Начать жить по-другому не смогу. Допускаю такую возможность только при одном обстоятельстве. Только любовь может изменить жизнь человека. Только женщина способна выправить неудалую стезю. Но эта мысль уже не щекочет нервы. Та, чей образ волновал и был дорог мне, та уже далеко, уже невозвратно растворилась в житейском мареве… Другая не заменит её, я однолюб. Да и не хочу я замены. Мне остается только подготовить себя, чтобы умереть прилично.

Выше я говорил, что не видел смысла в убогом хуторском существовании. Не видел, не замечал простых людей. Не мог, например, оценить, понять замечательного человека, своего земляка хуторянина Семёна Семёновича Гривенного. Понял только после его смерти, что этот маленький человек был из чистого золота. Праведник, живой пример полезной нравственной жизни. Сейчас вот сооружают памятник в хуторе. То ли новому хозяину Сергею Ивановичу Тримайло, то ли Сталину, на которого похож Сергей Иванович. Кстати, я недавно говорил об этом с матерью Сергея Ивановича — Настей. Бедная, она плачет и молится, чтобы господь вразумил сына отказаться от затеи с монументом. Она собирается ехать в Москву, потому что Брудастый с Кайло рвут подмётки, торопят француза с установкой скульптуры. Говорят, уже отлили в бронзе. И ведь поставят! Никому в голову не придёт, что если кто достоин такой чести, так это великий хуторянин Семён Семёнович Гривенный! Я поделился этой мыслью с Анной, и она обещала подумать.

Сергею же Ивановичу памятник один — казино! Я, холуй, строил его для хозяина. Я, который готовил себя к великому поприщу. Это ли не насмешка судьбы, это ли не отмщение аз?

Если мне отпущено какое-то время коптить небо, то я буду делать это в одиночку. Уединюсь где-нибудь у меловой горы, поставлю там вагончик и буду влачить свои дни. Не в скиту, не в веригах, не в молитвенных бдениях, нет, — я слабый сломленный человек. Подвиги святых старцев в пустынях не для меня. Хочу только одного, уединения. Не могу никого зрить, разговаривать, сожалеть о чем-нибудь и о ком-нибудь. «А родители?, — спрашиваю себя. — Неужели душа так затвердела, что ты бесчувствен к близким людям?..» Душа онемела, и я бесчувствен к близким.

Тогда зачем ты живёшь, зачем застишь солнце и задаром коптишь небо? —

Нет, я не полезу в петлю, хотя недорого ценю свою бесполезную жизнь. Не жду чуда и не верю в спасение. Цветок отцвёл, кинул семя и засыхает, удобряя почву для будущих поколений. Я засыхаю, даже не кинув семя. Становлюсь удобрением, принося таким образом какую-то пользу. Вот и всё оправдание червяка, возомнившего было себя властителем дум.

Много гордыни в человеке, много её и у меня. Я не сумел оценить подлинную жизнь, про-шёл мимо её животворящих родников. Прожил в призрачном мире вымысла и бесполезных мечтаний, не сумел вовремя опуститься на землю. Нормальный, здоровый человек тем и отличается от больного, что из самых смелых фантазий он вовремя возвращается на землю в свой привычный обжитый угол. А я слишком задержался и теперь стою у разбитого корыта. При всём при этом, я ещё не вполне разуверился, что такие особи не нужны человечеству. «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой»! Это прямое назначение искусства, Бог даровал его нам, чтобы человечество не сошло с ума. Эта мысль ещё примиряет меня с жизнью, и я кропаю свою исповедь с малой надеждой, что она кому-нибудь пригодится….»

11

Мать Дмитрия, Мария, почти каждый день спрашивала у Анны про сына. Бедная выплакала все глаза, почернела от горя. Каждый вечер она встречала Анну молчаливым ждущим взглядом. Не только надежда была в нём, но и немой упрёк. Мария смотрела на Анну, как несостоявшуюся невестку и, конечно, видела в ней причину всех несчастий своего сына. Но ещё она видела в ней друга, спасительницу и наставницу непутёвого Мити. Мать цеплялась и за соломинку. Она робко спрашивала:

— Песельница эта, рыжая, насовсем ушла? Не вернётся?

— Насовсем, тётенька, — не вернётся.

— Слава Богу! Совсем замордовала Митю. Споила, порчу навела…

Но Анна не щадила соседку.

— Митя — взрослый мальчик, он сам обидит кого угодно. Вы лучше меня знаете…

— Знаю.

Отец Степан несколько раз ходил к вагончику. Стучал в дверь, в окна. Сын не отвечал.

—Тьфу! — плюнул старик. — Говорил, учись на прораба!

И заплакал, по-детски сморщив губы и нос.

Анна пришла к управляющему поговорить насчёт Мити. Француз встретил её подобострастно, млея от удовольствия. Он не играл, не притворялся, на его глянцевых щеках откровенно цвела любовь. Он слушал, глупо улыбался и повторял, кланяясь:

— Мадам Анна… Да. Я готов. Приказывайте.

Анна понимала и принимала его обожание, но чуть лукавой насмешливой улыбкой держала дистанцию. Француз изнемогал от этой улыбки, и женщина понимала это. Она понимала, что рядом с ней любящий человек, и скоро ей придётся ответить ему, подчиниться и начать совсем другую жизнь.

— Погибает хороший человек…

Анна не узнавала своего голоса и улыбалась совсем не к месту.

— Он ничего не просит. Я прошу. Разреши ему жить в вагончике на охраняемой территории, подальше от любопытных. Так у нас в России живут большие грешники. Дмитрий Степанович — несчастный человек.

Настя с Анной поехали в Москву к Сергею Ивановичу, как заговорщики, не сказав никому о цели поездки. Дело предстояло нешуточное: убедить хозяина отказаться от затеи с памятником. По дороге они перебрали все аргументы и не сомневались, что разумный человек Сергей Иванович откажется от памятника самому себе на своей родине.

Сергей радостно встретил мать и сестру. За обедом, как только узнал о цели их депутации, весело рассмеялся и тут же рассеял сомнения:

— Да кто вам сказал, что я хочу себе памятник?

— Управляющий.

— Гм… Мне он говорил о садово-парковой скульптуре. Ну, я сказал, чтобы сами там придумали что-нибудь. Теперь понимаю, захотели сюрприз преподнести. Ну, что ж, у меня тоже сюрприз. Я давно думал и всё сомневался. Теперь принимаю решение, скоро приеду в хутор. Вас же прошу пока помалкивать.

Настя не выдержала, расплакалась. Обняла сына и, глотая слёзы, шептала.

— Сыночек… Как хорошо… Я, было, плохо о тебе подумала…

Управляющий Кретьен Лягур готовился к официальному открытию казино и каждый день проводил совещания. Он знал пожелание хозяина провести мероприятие как можно проще, скромнее. Чисто по-человечески он понимал Сергея Ивановича. Зачем ему помпа в хуторе? Но как профессионал знал, что помпа нужна — как реклама. Казино — это не просто бизнес, это игра, непредсказуемый театр с публичной трагикомедией. Театром нужно управлять. И он, Кретьен Лягур, умеет это делать. Открытие казино важная часть будущего успеха и известности в профессиональном сообществе. И он как управляющий подготовит праздник по всем правилам жанра.

Сценарий праздника лежал на столе управляющего. Он был выверен и точен, как королевский протокол. Помощники Кретьена показали себя первоклассными спецами. Нерешённым оставался один пункт. Как открывать памятник? Совместить с открытием казино или провести как отдельное мероприятие? Кретьен был в раздумье. Он велел позвать Брудастого и Кайло, чтобы посоветоваться с ветеранами.

Валентин Тарасович и Егор Михеевич с чувством обременённости доверием начальника важно уселись за стол и напряжённо глядели на тонкие пальцы управляющего, ловко вертящие остро отточенный карандаш.

— Я пригласил вас, господа, — начал свою речь француз, постукивая по столу карандашом. — Я пригласил уважаемых хуторян, чтобы посоветоваться, как будем открывать памятник? Отдельной программой или в общем распорядке праздника?

Француз нарисовал ветеранам впечатляющую картину. Ожидается приезд нескольких тысяч гостей. Официальные делегации из всех соседних городов, а также из Москвы и Петербурга. Общественные организации, студенчество, интеллигенция, представители СМИ, а также иностранные гости. Приглаше-

ны двадцать известных в Европе карточных игроков, имена которых пока не разглашались. Они примут участие в первых сеансах на карточных столах. Это гарантирует европейскую известность хутору Гривенному. В итоге праздника — банкет до утра, кордебалет и грандиозная иллюминация.

— Может быть, памятник откроем на второй день? Чтобы таким образом усилить самостоятельный эффект? — Кретьен сделал выразительную паузу, по-отечески глядя то на Валентина Тарасовича, то на Егора Михеевича.— Мне чрезвычайно важно ваше мнение, господа!

Ветеранам польстило такое обращение начальника, и они старались придать как можно больше значимости своим словам. Первым начал Валентин Тарасович. — С государственным выражением лица, с окаменевшими губами.

— Я полагаю, господин управляющий, открывать памятник генералиссимусу на второй день праздника никак нельзя. Это неуважение к личности. Не уважать Сталина — значит не уважать Сергея Ивановича, на которого он похож. Это всё равно, я дико извиняюсь, что сначала открыть в Париже какую-нибудь забегаловку, а вторым номером открывать памятник генералу Шарлю де Голлю. Вам, как патриотическому французу, допустить такое было бы чувствительно и обидно. Также обидно будет хуторянам и всем гостям праздника. Народ не поймёт!

У Брудастого даже шея вспотела от красноречия, и он долго вытирался платком.

— Благодарю,— кивнул француз и вопросительно посмотрел на Егора Михеевича.

— Что касается до меня, то я так скажу, — Егор Михайлович отвинтил крышку минералки, запрокинул голову, побулькал, подвигал кадыком и аккуратно поставил бутылку на стол.— Любой праздник это большая пьянка. Тут, я чую, будет агромадный кутёж. С участием ино-странных гостей и картёжников. Наутро у всех будут болеть головы, у картёжников в том чис-ле. С кем вы, господин управляющий, будете открывать памятник вождю? Гостей опохмелять надо, а не памятниками хвалиться. Согласен с моим другом, товарищем Брудастым, народ не поймёт! Непременно в первый день надо показать товарища Сталина!

Француз никак не отозвался на предложения ветеранов, он молча пригласил посмотреть на только что доставленную бронзовую фигуру. Она стояла под замком в складском ангаре. Герой стоял во весь рост то ли в шинели, то ли в демисезонном пальто. Лицо состояло из носа и усов, — над остальными частями автор не особенно трудился. Но сходство всё-таки угадывалось. Ветераны почтительно обошли фигуру вокруг, потрогали бронзу руками.

— Похож на товарища Сталина! — уважительно сказал Валентин Тарасович.

— Очень похожий на Сергея Ивановича, — робко сказал Егор Михеевич.

— Большие деньги уплачены за обоих, — весело заключил француз.

12

Приезд Сергея Ивановича Тримайло в хутор Гривенный был больше похож на государственный визит. Олигарха сопровождали министр здравоохранения

и министр по чрезвычайным ситуациям с огромной свитой чиновников. Рядом с министрами были мэры и губернаторы соседних регионов. Представители СМИ окружали чиновников плотным кольцом в ожидании сенсации. Но прежде был обед…

Господи помилуй, что это был за обед! Ради одного единственного такого обеда и, может быть, только единственный раз в жизни, — только ради этого стоило делать карьеры министрам, губернаторам, мэрам, чиновникам помельче и даже журналистам. Пообедайте и умрите! Повторить такое невозможно!

Сто двадцать блюд ждали гостей в огромном зале ресторана. Выбирали яства каждый по вкусу, кто сколько хотел. Если тебе, например, понравился свиной окорок, то вели подать на тарелке хоть килограммовый оковалок и ешь, сколько влезет. Если положил глаз на сычуг с начинкой, тебе принесут целиком весь сычуг, — работай ножом и вилкой, не стесняясь. Проси соусов, подливок, присыпок, каких ты сроду не видывал. Говорят, что утку по-пекински кушают только президенты. Вели подать — и тебе тут же подадут утку по-пекински!

Если ты магометанин, то тебя кормят по-магометански, если иудей, то до отвала ешь исключительно кошерную пищу. Если ты ни то, ни другое, а, допустим, вегетарианец — кушай травы и ягоды.

Гости попадаются и привередливые, им трудно угодить. Но гастрономический интеллектуал Кретьен Лягур удовлетворял самые изысканные пристрастия и вкусы. По его совету министру здравоохранения подали вязигу в шампанском, и она впервые в жизни откушала это блюдо. Другая барышня на её месте издала бы пронзительное: «Вау!» Но министр на то и министр, чтобы в знак благодарности наградить хозяина, то бишь Сергея Ивановича, царственной улыбкой. Вы не знаете, что такое вязига? Тогда вам и знать не надо, потому что попробовать её на зуб нам с вами не доведётся в этой жизни.

С другим министром вышел казус. Ему, не спросясь, подали нежнейшие окорочка лягушки. Молочного цвета окорочка, похожие на лядвии балерины. Продукцию поставлял бывший ветеринар Лошак со своей лягушачьей фермы. Министр неожиданно икнул и, прикрыв рот ладошкой, вышел из-за стола. Культурный человек, как сказал классик, никогда не заметит, что ты нечаянно уронил на колени тарелку с горячим борщом. Он никогда не смутится от того, что ты громко высморкался у него под ухом. — Культурные гости даже ухом не повели, когда стошнило министра.

Народ за столами собрался молодой, здоровый, ели и пили с аппетитом и много. В ходу бы-ли блюда самые простые. Отварная баранина и отварная же свинина с малосольными грибами. Отварная осетрина с хреном. Окорока, балыки, студень. Много лука, чеснока, перца. Донская селёдка с уксусом и сельдереем. Донские же раки, сваренные в сливках. Помидоры. Загряжские краснощёкие помидоры по полкило весом. Редиска с кинзой! Кинза с малосольным розовым салом!.. Царица небесная, сколько еды на белом свете! Много её разнообразия в Загряжске и в хуторе Гривенном. Но чтобы вот так в одном месте сошлись сто двадцать блюд — не было такого даже у папы Римского! Всё это изобилие было употреблено в дело и, слава Богу, всё усвоилось, утряслось и, за исключением одного министра, всем пошло на пользу.

Много речей было сказано на обеде, много тостов говорено. И анекдоты были, и песни, и танцы с плясками. В пляске сошлись на спор два губернатора: один молодой, другой не очень. Плясали друг перед другом лезгинку. И так рвали подмётки, так поддавали коленками и верте-ли запястьями, что, не будь они губернаторами, их бы без конкурса взяли в какую-нибудь филармонию. Плясали долго, напористо. Молодой губернатор, мокрый от пота, скинул пиджак и наотмашь швырнул на пол. Не очень молодой губернатор без устали строчил ногами, вертел шеей и с выдохом выкрикивал: «Вах!.. вах!» Он и победил, переплясал молодого. Победителя наградили аплодисментами, министр здравоохранения лично поднесла ему чарку водки.

После часового перерыва гостей пригласили к Кремлёвской стене на открытие памятника. Вокруг уже собрались жители хутора. Монумент был покрыт белой простынёй, а небольшое пространство вокруг обтянули пёстрой лентой для московской депутации. Брудастый и Кайло настойчиво пытались проникнуть на почётную территорию, но люди Сергея Ивановича бесцеремонно пресекали попытки. Пропустили только управляющего Лягура.

Сергей Иванович вышел к подножию монумента и медленным жестом поднял руку. Разгорячённые обедом гости разом притихли, словно впервые увидели его сходство с генералиссимусом.

— Почитаю за честь открыть памятник великому гражданину хутора Гривенного!

Сергей Иванович дёрнул за верёвку, покрывало съехало наземь и перед притихшей толпой во весь рост появился Семён Семёнович Гривенный с голубкой на плече. Бронзовый лилипут простирал руки к солнцу и улыбался счастливой улыбкой. Сходство было так велико, что хуторяне и все присутствующие шумно зааплодировали.

— Здравствуй Семён Семёнович!

Кайло чуть не упал, крикнул от страха и неожиданности:

— Я собственными руками ставил товарища Сталина! Это провокация!

В толпе засмеялись. Послышались выкрики:

— Пить меньше надо!

— Любо Семёну Семёновичу!

— Любо! Любо!

Не только Кайло был изумлён. Управляющий Кретьен Лягур посчитал себя оскорблённым. Он сам заказывал скульптуру, сам контролировал её установку на пьедестал и сам закрепил белое покрывало на монументе. Зачем Сергей Иванович совершил подмену втайне от него? Это недоверие. Больше того, это оскорбление!

Анна загадочно улыбалась, успокаивала француза:

— Это очень по-русски, дорогой! У нас любят пошутить.

Сергей Иванович опять поднял руку и сказал по-будничному просто:

— Сегодня мы отменяем казино. Весь комплекс отдаю министерству здравоохранения и министерству по чрезвычайным ситуациям. Здесь будут лечить пострадавших в авариях и катастрофах. Это сегодня нужнее казино. Думаю, что Семён Семёнович Гривенный похвалил бы меня. И моя мама тоже….

Сергей Иванович поклонился хуторянам и присоединился к депутации. Долгое «Урааа!» прокатилось вдоль Кремлёвской стены и вспугнуло стаю

голубей со шпиля Спасской башни. Несколько белых турманов сели на бронзовые руки Семёна Семёновича.

В хуторе Гривенном начиналась другая жизнь.

ЭПИЛОГ

Прошло несколько лет.

Каждую субботу в библиотеке появлялся немолодой человек с седой бородкой, с редкими седыми волосами до плеч, в круглых очках. С тихой улыбкой, в застёгнутой наглухо чёрной рубашке он напоминал разночинца из тургеневских романов. Удовлетворённо оглядывал зал умными тихими глазами, становился за кафедру и негромко спрашивал:

— На чём мы остановились в прошлый раз?

Из зала охотно подсказывали:

— На гибели ацтеков и разрушении Теночтитлана.

Дмитрий Степанович Редкозубов начинал очередную лекцию в библиотеке реабилитационного центра. Слушателями были в основном молодые люди, проходившие лечение после техногенных аварий. Шахтёры, военнослужащие, нефтяники, строители из разных уголков России.

Дмитрий Степанович второй год читал курс по истории земных цивилизаций. Его лекции имели успех. Люди приезжали из Загряжска, Забалуева, приходили местные, хуторяне. Кузьма Валерьянович с Варварой. Настя с Иваном Максимовичем. Иногда в библиотеку заглядывали Валентин Тарасович Брудастый и Егор Михеевич Кайло. Оба были при деле, при должностях. Руководили уборкой, окультуриванием и озеленением территории центра.

Свою лекцию Дмитрий Степанович всегда заканчивал объявлением:

— А сейчас для вас будет петь Варвара Менестрель! Аккомпанирует ей Кузьма Валерьянович!

Под аплодисменты артисты поднимались на сцену. Варвара пела много и вдохновенно, аккордеон Кузьмы Валерьяновича изнемогал от лирического страдания. Молодые люди слушали, как откровение, полузабытые песни Шульженко, Вертинского, Баяновой, Зыкиной, Руслановой…

Варваре несли на сцену цветы, роскошные букеты хризантем, ромашек, гвоздик. Варвара плакала, принимая подарки от раненых солдатиков.

— Боже, мне никогда не дарили столько цветов! Я ваша! Я буду петь для вас всегда!

Кузьма Валерьянович украдкой смахивал слёзы, шептал:

— Вот народная любовь! Вот признание на старости лет!

В хутор Гривенный на имя Нины Кузьминичны пришла посылка из Парижа. Поскольку хуторскую почту давно перевели в Загряжск, Нина Кузьминична попросила Настю съездить за посылкой на машине. Она же попросила открыть посылку и прочитать письмо от дочери Анны. Чтение состоялось у Насти, в беседке за широким столом в молчаливом присутствии Ивана Максимовича.

В посылке была разная парфюмерия, кремы, духи, конфеты, кофе, бутылочка ананасового ликёра и фотокарточки с детьми на Елисейских полях….

«Дорогие мама и папа! — Медленно читала Настя. — Я уже привыкла здесь и говорю по-французски. Детей учу по-русски, но они всё-таки больше французы, чем русские. Ничего не поделаешь, им учиться здесь, и надо хорошо знать язык.

Прошло немало времени, и много изменилось в моей жизни. Конечно, я виновата, что не пи-сала вам и не сообщала о новостях. Простите, жизнь набирала такие обороты, что я едва успевала опомниться. Рассказываю всё по-порядку.

Как вы знаете, я уехала с Кретьеном в Париж. Его родня приняла меня прохладно, но всё же примирилась с выбором Кретьена. С одним условием, чтобы я приняла католичество. Я стала католичкой, мы поженились, и муж усыновил трёх моих детей. Я впервые почувствовала себя счастливой. Кретьен любил меня и заботился о моих детях. Жили мы в предместье Парижа в небольшом особняке с парком, лужайкой и летним бассейном. Я ждала ребенка, когда случилось несчастье. В ресторане, где Кретьен ужинал со своими друзьями, неизвестный террорист взорвал бомбу. Бедный Кретьен был буквально прошит осколками, и умер в больнице. Я осталась одна, теперь уже с четырьмя детьми.

Не знаю, как бы сложилась моя дальнейшая жизнь, если бы не участие друга и помощника Кретьена господина Александра. Больше года он потратил на то, чтобы я и мои дети стали законными обладателями наследства покойного мужа. Претензий и препятствий со стороны родственников было великое множество. Что могла сделать я без помощи Александра, без средств? Только на юридические услуги была потрачена уйма денег! Александр стал для меня больше, чем друг. Он признался, что полюбил меня ещё в России, в нашем хуторе во время строительства казино…

Через год мы поженились. Я родила Александру трёх девочек, младшенькая уже ходит ножками. Старший, Володя, учится в юридическом колледже. Очень похож на своего отца, моего первого мужа — актёра, который безжалостно бросил меня в Воронеже.

В общем, живу я, как коренная парижанка. Хожу в костёл, но молюсь так же, как молилась раньше. Те же молитвы, те же слова. Бываю в парижской опере. Всегда хожу на концерты русских артистов. Во всём чувствую себя очень русской и с волнением посещаю могилы соотечественников на кладбище Пер-Лашез.

Александр с утра до позднего вечера на работе, я, конечно, скучаю и вспоминаю всех хуторян, как самых близких и родных мне людей. Передавайте привет и кланяйтесь Насте и брату Сергею, соседям: тёте Марии и дяде Стёпе. Мите кланяйтесь, он хороший. Женить его надо, и скорее! Только женщина вправит ему мозги! Так и скажите ему от меня.

Скучаю и люблю вас всех до смерти!»

— Отрезанный ломоть, — прошептала Нина Кузьминична и заплакала.

Иван Максимович молча, длинно и тяжело вздохнул.

— Не гневите Бога! Жизнь продолжается, — заключила Настя.

Ветеринар Лошак побывал в Париже.

Он был уже не тот Лошак, который лечил людей, как скотину, а скотину,

как людей, не видя в том большой разницы. Он владел лягушачьей фермой, т.е. имел статус буржуа в хуторском масштабе. Ежемесячно в назначенный день на ферму подъезжал грузовичок, забирал картонные коробки, в которых вместе с водорослями живьём были упакованы питомцы фермы. Товар отправлялся самолётом прямёхонько в Париж, в ресторан Александра, унаследовавшего, как мы знаем, все хозяйство покойного Кретьена Лягура. Александр ценил обязательность и аккуратность своего партнёра. В отличие от жены Анны, которая не пожелала даже видеть земляка. На недоуменный вопрос Александра ответила резко:

— Потому, что он хам и мошенник!

Лошак бродил по Парижу несколько дней, жадно вбирал и вдыхал запахи и звуки чужой цивилизации. В хуторе он подробно делился впечатлениями с Брудастым и Кайло. Он угощал своих заклятых друзей горилкой от Уколовича у себя на ферме, на берегу Серебрянки под ста-рыми вербами.

— Париж — это Европа, всё там не по-нашему. Только вышел из гостиницы — плати за каждый шаг. За прогулку по Елисейским полям — плати, за Эйфелеву башню, поглядеть сверху — плати, за простую воду плати, присел на скамейку — плати. Нет, не понравился Париж! Эйфелева башня вся из арматуры, точь-в-точь высоковольтная опора, какие за хутором стоят. Из еды — одни лягушки. Местные французы на каждом шагу едят одних лягушек.

— Ты молиться должен на французов! — резонно заметил Брудастый. — За мерзопакостную тварь тебе долларами платят.

— Вы глубоко ошибаетесь! — горячо возразил Лошак. — Лягушачьи окорочка кушают все культурные люди. Я сам с удовольствием съел в ресторане пару окорочков и не жалею об этом. Больше того, я открою ресторанчик в Загряжске, где все блюда будут состоять исключительно из лягушачьих деликатесов. Тогда посмотрим.

— Посмотрим!

Лошак не стал углубляться в подробности своего бизнеса и продолжил рассказ о парижских впечатлениях.

— Только один раз мне предложили услугу бесплатно, — загадочно и самодовольно произнёс Лошак. — Ни за что не догадаетесь!

— Ну, например, бесплатно пописать в парижском туалете, — неуверенно подсказал Кайло.

— Эх, ты! — насмешливо произнёс Лошак. — Мелко плаваешь, землячок! Красавица француженка предложила отдаться мне бесплатно прямо на Эйфелевой башне!

— О-о-о! — в один голос воскликнули Брудастый и Кайло. — И как же ты…

— Оробел, — тихо признался Лошак. — Везде за каждый шаг плати, а тут угощают даром. Нет, не поверил!

— О-о-о! — воскликнули оба друга. — Дурак ты, дядя!

— Теперь я и сам так думаю, — с сожалением сказал Лошак.— Мне ещё никто из женщин не предлагал отдаться бесплатно. Ни в хуторе, ни в Загряжске, ни в Москве, где я учился на курсах повышения квалификации.

Прежде чем открыть свой ресторанчик в Загряжске, Лошак дотошно изучал пристрастия и вкусы клиентов в местных ресторациях. В трёх-четырёх

местах он предложил включить в меню лягушачьи окорочка. Каждый день интересовался результатом. Увы, ни в одной ресторации не было ни одного заказа на лягушек. Лошак недоумевал и жаловался знакомому владельцу ресторана в Загряжске:

— От диетического деликатеса наши едоки морду воротят! А что кушают наши едоки в общепите? Уши свиные! Хвосты поросячьи! Печёнку, селезёнку, требуху, я извиняюсь! Желудки, кишки. Вымя кушают! Дикая нация! Печенеги! Сарматы!

Лошак отказался от мечты открыть свой ресторанчик для земляков и продолжал бизнес исключительно для благодарных французских едоков.

Бронзовую скульптуру генералиссимуса, похожего на олигарха Тримайло, решили установить на меловой горе за речкой Серебрянкой. Среди каменных скифских баб и огромных замшелых валунов. Кто решил и кто устанавливал, неизвестно. Ходили слухи, что затея принадлежит бывшему батюшке Дмитрию Редкозубову, который проявил себя в последнее время настоящим историком и краеведом.

Если вы хотите взглянуть на редкую достопримечательность хутора Гривенного, то вам нужно заехать на меловую гору по степной дороге со стороны Загряжска. Оставьте машину у подножья горы и поднимайтесь пешком. Тропинка круто берёт на бугор, виляя между промоинами, каменными уступами и редкими кустами шиповника. Чем выше, тем сильнее и свежее ветер. Он свистит в кустарниках и сухом бурьяне, шевелит жёлтый песок на проплешинах бугра, гонит наверх круглые скелеты перекати-поля.

Вам трудно дышать. Остановитесь на минуту, обглядитесь кругом. С высоты птичьего полёта далеко открывается необъятная ширь Придонья. Виляет голубой жилой Дон и теряется где-то за Загряжском. Зелёная пойма вся в клетках садов, виноградников, овощных плантаций. Несмолкаемый гул федеральной автотрассы на Воронеж, на Москву. Щекочет в горле, щиплет глаза. Родина…

И вот бугор, самое высокое место в округе. Здесь, по преданию, стоял Мамай со своими полчищами. Свидетелями тех времен остались глыбы-валуны и каменные скифские бабы. И высокое донское небо. И упругий свежий ветер, набирающий силу от Турции, от Чёрного моря, несущий на донские степи тёплые благодатные дожди.

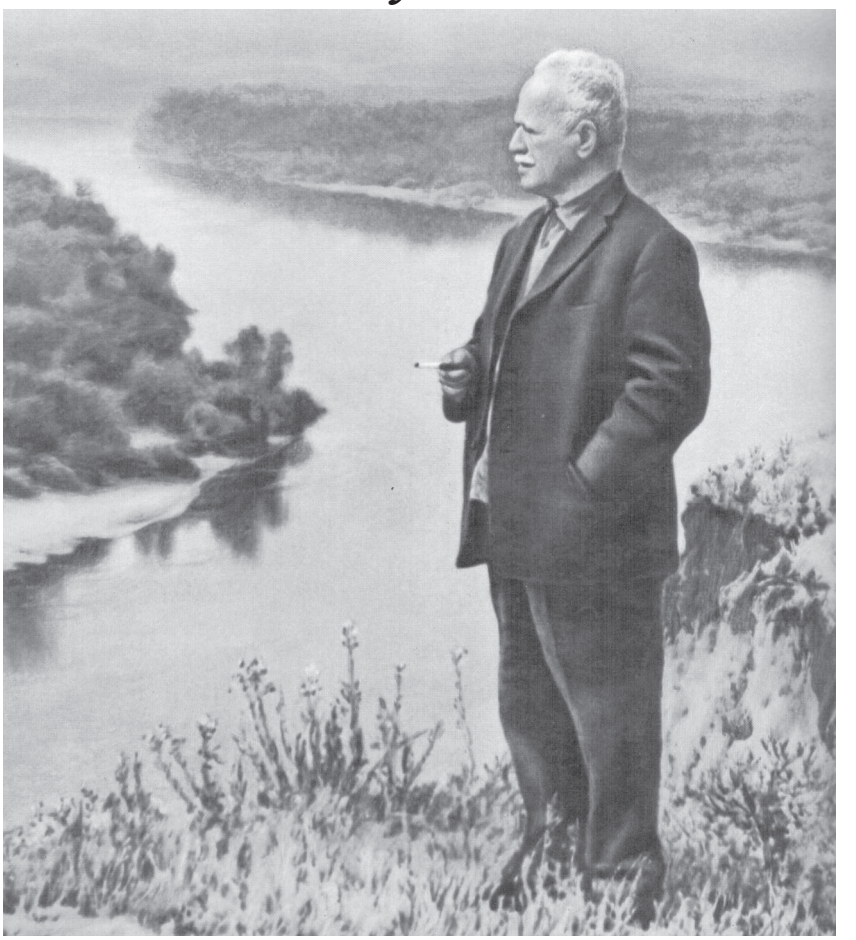
Вы не сразу отличите бронзовую скульптуру от каменных истуканов. От дождей и ветров, от морозов и оттепелей металл на памятнике покрылся серой коркой и по цвету сравнялся с древней каменной скульптурой. Ветер вылизал, сгладил черты лица генералиссимуса. Нос и усы стали плоскими, лицо стало напоминать размытые обличья скифских баб. Бронзовый вождь был вкопан в землю по пояс, и по росту не отличался от древних идолов. Природа и ландшафт дополнили работу скульптора. Идол сильнее оригинала!

Непременно побывайте на меловой горе за речкой Серебрянкой!

Станица Старочеркасская, Ростовская область.

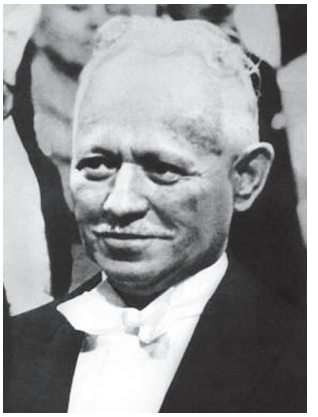
Крутояр

Раздел посвящён Донскому краю, донским писателям и деятелям искусств



«КРУТОЯР» — любимое место на Дону Михаила Александровича Шолохова

Михаил Шолохов



БАХЧЕВНИК

Рассказ

1

Отец пришёл от станичного атамана весёлый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки; таким, как нынче, давно не видал Митька отца. С тех пор как пришёл он с фронта, постоянно был суров, нахмурен, щедро отсыпáл четырнадцатилетнему Митьке затрещины и долго и задумчиво турсучил свою рыжую бороду. А нынче как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Митьку, подвернувшегося под руку, сунул с крыльца шутливо и засмеялся:

— Ну, ты, висляй!.. Беги на огород, кличь матерю обедать!

За обедом сидели всей семьёй: отец под образами, мать прижалась на краешке лавки, к печке поближе, а Митька рядом с Федором — старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду разложил на две щетинистые половины и снова улыбнулся, морща синеватые губы:

— Должон семью с радостью поздравить: нынче меня назначили комендантом при военно-полевом суде у нас в станице… — Помолчал и добавил: — В германскую войну лычки тоже не даром заслуживал, офицерство и мои храбрые отличия не забыты по начальству.

И, багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Фёдора глазами:

— Ты что же, сволочь, голову опустил? Не рад отцовской радости? А? Ты у меня, Федька, гляди!.. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками? Через тебя, подлеца, мне атаман в глаза стрянет. «Вы, — говорит, — Анисим Петрович, действительно блюдёте казачью честь, а Федор, сынок ваш, с большевиками якшается, двадцать годов парню, жалко, может пострадать…» Говори, сукин сын: ходишь к мужикам?

— Хожу.

Дрогнуло у Митьки сердце, думал, ударит отец Фёдора, но тот только перегнулся через стол, кулаки сжимая, рявкнул:

— А знаешь ты, красноармейская утроба, что завтра мы твоих друзей

арестуем? Знаешь ты, что портного Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют?

И опять услыхал Митька от побледневшего брата твёрдое:

— Нет, не знаю, но теперь буду знать.

Не успела мать загородить собою Фёдора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, раз-махнувшись, кинул тяжёлую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненькой цевкой далеко брызнула кровь. Молча Фёдор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову, а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты, хлопнув дверью.

До вечера суетилась мать. Из сундука достала связку сушёной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Фёдорово белье. Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворох белья, сидит неподвижно, лишь плечи у неё под рваной ситцевой кофтёнкой судорожно сходятся и расходятся.

Затемно пришёл из станичного правления отец и, не ужиная, не раздеваясь, лёг на кровать. Фёдор, стараясь не скрипеть половицами, на цыпочках прошёл в кладовую, достал седло, уздечку и вышел на двор.

— Митя, поди сюда!

Митька загонял телят, хворостину бросил, подошёл к брату. Смутно догадывался он, что Фёдор хочет уехать за Дон к большевикам, туда, откуда каждую зорю плывёт и волнами плещется над станицей глухой орудийный гул. Спросил Фёдор, отводя глаза в сторону:

— Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?

— Запертая… А на что тебе?

— Надо, значит. — Помолчал Фёдор, посвистал сквозь зубы и неожиданно зашептал: — Ключи от конюшни у отца под подушкой… в головах… выкрадь их… я хочу ехать…

— Куда?

— В Красную гвардию служить… Мал ты ещё, после поймешь, на чьей стороне правда живёт… Ну так вот, еду я воевать за землю, за бедный народ и за то, чтоб все равные были, чтоб не было ни богатых, ни бедных, а все равные.

Выпустил Фёдор из рук Митькину голову, спросил строго:

— Возьмёшь ключи?

Ответил Митька не колеблясь:

— Возьму, — повернулся к Фёдору спиной и, не оглядываясь, пошёл в хату.

В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподымая за ручку (чтобы не скрипнула), отворил дверь и мягко зашлёпал босыми ногами к кровати.

Головой к окну навзничь лежит отец, одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь, большой, обкуренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подошёл Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина, густая и недвижная… У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная скорлупа, из раззявленного рта стервятно

разит спиртом, а где-то на донышке горла хрипит и рвётся наружу застрявший кашель.

Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердце, не останавливаясь: тук-тук-тук-тук…

И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под засаленную подушку, потом другой. Нащупал скользкий ремешок и холодную связку ключей, потянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за шиворот.

— Ты зачем крадёшься, стервец? Я тебе чупрыну в два счета оболтаю!

— Батя! Родненький! Я за ключами от конюшни… Будить не хотел…

Скосил отец на Митьку припухшие, желтизною налитые глаза.

— А зачем понадобились ключи?

— Кони что-то нудятся…

— Так и говори… — Отец кинул на пол связку ключей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту спустя захрапел снова.

Митька — опрометью из хаты на двор, к Фёдору, прижавшемуся под навесом сарая. Сунул ему в руки ключи, спросил:

— А какого коня возьмёшь?

— Жеребчика.

Вздохнул Митька, следом за Фёдором шагая, сказал вполголоса:

— Федя, а ить меня батька-то запорет?..

Промолчал Фёдор, молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и, уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла:

— Терпи, Митяй! Горе мыкать не век будем, а отцу, Анисиму Петровичу, перекажи моим словом: коли тронет он тебя или мамашу хоть пальцем — лютую расправу на него наведу…

И выехал из ворот, торопя жеребчика в дальнюю путину, а Митька за плетнём присел на корточки, хотел поглядеть было вслед Фёдору, но глаза застлала солёная пелена и удушье перехватило горло.

2

Отец захлебывается в горнице клокочущим храпом. Встал Митька раньше раннего, обротал Гнедого, к Дону поехал напоить и искупать коня-работягу. Под копытами Гнедого шуршит, осыпаясь, присохший мел, съехал под яр к воде, разнуздал коня, сбросил одежду, ёжась от мглистой утренней сырости, и услышал, как над водой где-то далеко-далеко растаял охнувший гул и, перекатываясь, пополз по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, подумал: «Теперь Фёдор, поди, у большевиков уже… В Красногвардии службу ломает…»

Перекинулись мысли на дом, на отца, и разом, как искра на ветру, потухла радость. Ехал обратно домой сгорбившись, померкли Митькины глаза.

Уже подъезжая к дому, подумал: «Задать бы стрекача туда… к большевикам… правда у них живет, говорил Фёдор… С ним бы увязаться. А отец мне нынче сдерёт шкуру… юшку красную пустит из носу…»

У крыльца снял с коня узду и медленно вошёл в хату. Отец из горницы сипло:

— По какой причине жеребчика не водил купать?

Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, почувствовал, как кровь торопливо уходит к сердцу.

— Жеребчика нету в конюшне!..

— Где же он?

— Не знаю.

— А Фёдор где?

— Не видал.

В горнице, обуваясь, шаркает сапогами отец. Через кухню прошёл в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами.

— Где седло?.. — загремел из сенцев.

Стал Митька поближе к матери и, как бывало давно, в детстве, уцепился за материну руку. Вошёл отец в кухню, в руках комкает кожаный ремень.

— Ты кому ключи отдал?

Мать собой заслонила Митьку.

— Не тронь его, Анисим Петрович. Ради Христа, не бей!.. Аль не жалко сына?

— Пусти, чертова сволочь!.. Тебе говорю аль нет?.. — Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, бил ногами деловито, долго, жестоко, до тех пор, пока перестали из Митькиного горла рваться глухие, стонущие крики.

3

Всё слышнее и слышнее становился орудийный гул. По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивала и скрежетала жесть, крылья скрипели тягуче и нудно, и, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром басовито ухало: бу-у-ух!..

Рокочущий густыми переливами гул долго таял за станицей в ярах, задёрнутых предрассветной голубизной. Через станицу утрами тянулись к Дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой. Обратно везли израненных, завшивевших казаков, сваливали их на площади, возле станичного правления. Любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки, закровяненные бинты, вату с комками запёкшейся крови и внимательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым матюканьям раненых.

Митька старался не попадаться отцу на глаза.

Позавтракавши, уходил с удочками к Дону, сидя на берегу, смотрел, как по мосту двигалась конница, громыхали тачанки, гребла морозную пыль пехота. Возвращался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, скучившись, босые, в изорванных шинелишках. Казачки выбегали на улицу, плевали в серые, запылённые лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шёл Митька следом, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных; сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхалось неровными бросками… Глядел в каждые глаза, обведённые иссиня-чёрными кругами, переводил взгляд с одного безусого лица на другое и ждал, что вот-вот в одном из этих серошинельных узнает брата Фёдора.

На площади, около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидал Митька, как на крыльцо правления вышел отец, левой рукой теребя темляк на шашке, гаркнул:

— Шапки долой!..

Медленно-медленно сняли красногвардейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, изредка перешёптывались. Опять знакомый грозный голос:

— В ряды стройся!.. Да живо, красная сволочь!

Шуршат, переступая, босые ноги. Серая шеренга измученных лиц до крыльца правления протянулась.

— По порядку рассчитайсь!..

Осипшие голоса. Заученный поворот голов. А у Митьки в горле судороги, жалость к этим как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья, и в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде.

— В сарай — шагом — арш!..

Пошли по одному в раззявленное чёрное хайло дверей. Последнего, низкорослого, шатающегося, ударил Митькин отец ножнами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой; пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь, шагов пять и тяжело упал вниз лицом на жесткую, утоптанную ногами землю. На площади хохот, гул голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабьи рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натыкаясь на людей, побежал по улице.

4

Мать возится у печки, кончает стряпаться. Подошёл Митька боком, сказал, глядя в сторону:

— Маманька… испеки пышек… я бы отнёс энтим, какие в сарае сидят… пленным.

У матери на глазах мокрая плёнка.

— Отнеси, сынок, может, и наш Федя страдает где… И у пленных матери есть, тоже небось ночами подушки не высыхают.

— А как батя узнает?

— Не приведи Бог! Ты, Митенька, вечером отнеси. Какие казаки стерегут, отдай им и скажи, чтоб передали…

Солнце, как нарочно, замедляет шаг и ползёт над станицей, равнодушное к Митькиному нетерпению и невозмутимое. Насилу дождался, пока спустится темнота, прошёл на площадь, ящерицей скользнул между проволочной огорожей и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами.

— Кто идет? Стой! Стрелять буду!..

— Это я… харчи пленным принёс.

— Кто такой? Проваливай, пока приклада не пробовал! Чёрт тебя носит по ночам! Дня тебе мало харч носить?

— Погоди, Прохорыч, никак, это комендантов парнишка?

— Ты Анисима Петровича сынок?

— Да…

— Тебя кто же с харчами прислал? Отец?

— Не-ет… Я сам.

К Митьке подошли двое казаков. Старший, бородатый, ухватил Митьку за ухо.

— Тебя кто, пащенок, научил харчи пленным таскать? Ты того не могёшь понять, что они нам есть самые вредные враги? А ежели я про эти дела батяньке твоему доложу? Он как за это тебя примолвит?

— Брось, Прохорыч! Жалко тебе чужого хлеба? В два горла жрать всё равно не будешь, возьми харчишки, передадим!

— А ежели Анисим Петрович про то узнает! Тебе рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство. За подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и розог всыплют…

— Да ну тебя к чёрту, расплакался!.. Эй, парнишонок, ты куда же удираешь? Тащи свои харчи, передам, что ли.

Передал Митька молодому в руки узелок; нагнувшись, шепнул тот ему:

— По средам и пятницам я дежурю… Приноси.

Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька на площадь; стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригибаясь у плетней и оглядываясь.

5

Каждый день, как только над станицей золотисто-рябым пологом растопыривалась ночь, из сарая выводили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем гнали в степь — к ярам, закутанным белесым туманом. До станицы ветром доносило отзвук трескучего зал-па и реденькие винтовочные выстрелы. Когда пленных уводили больше двадцати человек, следом, поскрипывая колёсами, шуршала пулемётная тачанка. Номера дремали на широких козлах, кучер блестел цигаркой и лениво шевелил вожжами, лошади переступали неохотно и разнобоисто, а оголённый пулемет, без чехла, тускло блестел дырявой пастью, словно зевал спросонок. Спустя полчаса где-то в ярах пулемёт сухо и отрывисто татакал, кучер полосовал кнутом взмыленных, храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка лихо останавливалась возле комендантской, глазевшей на сонную улицу тремя освещёнными окнами.

В среду вечером отец сказал Митьке:

— Ты все лодырничаешь? Веди-ка нынче в ночное Гнедого, да смотри — в хлеба не пущай! Только потрави у меня чей-нибудь хлеб, я тебе всыплю чертей!..

Обротал Митька Гнедого, матери успел шепнуть:

— Отнеси, маменька, харчи сама… Отдашь часовому.

Уехал вместе со станичными ребятами на отвод, за атаманскую землю. Вернулся на другой день, утром до восхода солнца. Отворил калитку, скинул с Гнедого уздечку, хлопнул его по пузу, припухшему от зелёнки, и пошёл в хату. В кухню вошёл — на полу и на стенах кровь. Угол печки в чём-то кровянисто-белом. Из горницы клокочущий хрип, мычанье… Переступил Митька порог, а на полу мать лежит, вся кровью подплыла, лицо багрово-пухлое, волосы на глаза свисают кровянистыми сосульками. Увидала Митьку,

замычала, задёргалась, а сама слова не скажет. Мечется в распухшем рту посинелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно, из перекошенного рта розоватые пузырчатые слюни…

— Ми… ми… тя… тя… тя… тя…

И смех глухой, стонущий…

Упал на колени Митька, руки материны целовал, глаза, залитые чёрной кровью. Обнял голову, а на пальцах кровь и комочки белые слизистые… На полу около валяется отцовский «наган», рукоятка в крови…

Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит:

— Ой, убегай, сердешный, куда глазыньки твои глядят! Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил её до смерти и на тебя грозился!

6

Месяц прошёл с тех пор, как нанялся Митька в бахчевники. Жил в шалаше на макушке горы. Видно оттуда молочно-белую ленту Дона, станицу, пристывшую под горою, и кладбище с бурыми пятнышками могил. Когда нанимался, шумели казаки:

— Это Анисимов сын! Не надо нам таких-то! У него брат в Красногвардии и мать, сука, пленных кормила. На осину его, а не в бахчевники!

— Он, господа старики, платы не просит. Говорит, за Христа ради буду стеречь бахчи. Будет ваша милость — дадите кусок хлеба, а нет — и так издохнет…

— Не дадим, нехай издыхает!..

Но атамана всё же послушались. Наняли. Да и как же не нанять обществу мирского батрака: никакой платы не просит и будет стеречь станичные бахчи круглое лето за Христа ради. Прямая выгода…

Поспевали, пухли под солнцем желтые дыни и пятнистые полосатые арбузы. Понуро ходил Митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосой трещоткой. По утрам вылезал из шалаша, ложился около стенки на перепревший бурьян, вслушивался, как за Доном бухали орудия, и долго затуманившимися глазами глядел в ту сторону.

На гору мимо бахчей, мимо обрывистых меловых яров гадючьим хвостом извивается кочковатый летник. По нему сено возят летом станичные казаки, по нему гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов внизу, за левадами, за густою стеною верб, после выстрелов воют собаки, и по летнику громыхают шаги, иногда стрекочет тачанка, тлеют огоньки папирос, говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда, где путаным узлом вяжутся извилистые яры, видал под откосом засохшую кровь, а внизу, на каменистом днище, где вода размыла неглубокую могилу, чья-то босая нога торчала; подошва сухая, сморщенная, и ветер степной, шарящий по ярам, вонь трупную ворошит. С тех пор не ходил…

В этот день из станицы по летнику шли толпою раньше обыкновенного: по бокам — казаки из конвойной команды, в средине они — красногвардейцы в шинелях, накинутых внапашку. Солнце окуналось в сверкающую белиз-

ну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В левадах на верхушки верб чёрной тучей спускались грачи. Тишина паутиной расплелась над бахчами. Из шалаша провожал Митька глазами до поворота тех, что шли по летнику, и внезапно услышал крик, выстрелы, ещё и ещё…

Выскочил Митька из шалаша на пригорок, увидел: по летнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колено, суетливо стреляют, двое, махая шашками, бегут следом.

Выстрелы звоном будоражат застывшую тишину.

Тук-так, тук-так… Та-та-тах!

Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит… Казак ближе, ближе…

Вот, вот… Полукружьем блеснула шашка, упала на голову… рубит лежачего…

У Митьки в глазах темнеет и зноем наливается рот.

7

В полночь к шалашу подскакали трое конных.

— Эй, бахчевник! Выдь на минутку!

Вышел Митька.

— Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдатских шинелях?

— Не видал.

— Смотри не бреши. Строго ответишь за это!

— Не видал… не знаю…

— Ну, делать тут нечего. Надо по ярам до Филиновского леса ехать. Лес оцепим, там их, гадов, и сцапаем…

— Трогай, Богачев…

До белой зари не спал Митька. На востоке погромыхивал гром, небо густо залохмателo свинцовыми тучами, молния слепила глаза. Находил дождь.

Перед рассветом услыхал Митька возле шалаша шорох и стон.

Прислушался, стараясь не ворохнуться. Ужас параличом сковал тело. Снова шорох и протяжный стон.

— Кто тут?

— Человек добрый, выйди, ради Бога!..

Вышел Митька, нетвёрдо ступая дрожащими ногами, и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человека.

— Кто такой?

— Не выдай… не дай пропасть… Я вчера из-под расстрела убёг… казаки ищут… у меня нога… прострелена…

Хочет Митька слово сказать, а горло душат судороги, опустился на колени, подполз на четвереньках и ноги в солдатских обмотках обнял.

— Федя… Братунюшка! Родненький…

Нарубил и перетаскал в шалаш ворох засохших подсолнечных будыльев, уложил Фёдора в углу, навалил бурьяну и подсолнухов, а сам пошёл по бахчам.

До полудня гонял с зелёных курчавых полос настырных грачей, самого тянуло пойти в шалаш, смотреть в родные братнины глаза, слушать ещё и ещё рассказ о пережитых страданиях и радостях. Твёрдо было решено между ними: как только смеркнется — завязать Фёдору покрепче раненую ногу и знакомыми стежками лесными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону, к тем, у кого правда живёт, кто бьётся с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше. Уже перед вечером увидал Митька, как с песчаного кургана, блестевшего белой лысиной, съехали человек восемь конных и шагом пустили под гору усталых, спотыкающихся лошадей. Сел Митька возле шалаша, провожал глазами сутулые фигуры верховых, не поворачивая головы, сказал Фёдору вполголоса:

— Лежи, не ворочайся, Федя! Один конный бегит по бахчам к шалашу.

Из-под вороха бурьяна глухо загудел голос Фёдора:

— А остальные ждут его или поскакали в станицу?

— Энти тронули рысью, скрываются под горою!.. Ну, лежи.

Привстав на стременах, покачивается казак, плетью помахивает, лошадь от пота мокрая. Шепнул Митька, бледнея:

— Федя… отец скачет!..

Рыжая отцовская борода потом взмокла, обгоревшее на солнце лицо — иссиня-багрово. Осадил лошадь у самого шалаша, слез, к Митьке подошёл вплотную.

— Говори: где Фёдор?

Вонзил в побелевшее Митькино лицо кровью налитые глаза. От синего казачьего мундира потом воняет и нафталином.

— Был он у тебя ночью?

— Нет.

— А это что за кровь возле шалаша?

Нагнулся отец к земле, пунцовая шея вывалилась из-под воротника жирными складками.

— А ну, веди в шалаш!

Вошли — отец впереди, почерневший Митька сзади.

— Смотри, змееныш… Ежели укрываешь ты Федьку, то и его и тебя на распыл пущу!..

— Нету… не знаю…

— Это что у тебя за бурьян в углу?

— Сплю на нём.

— Посмотрим. — Шагнул отец в угол, присел на корточки, медленно расковырял чахлый шуршащий бурьянок и подсолнечные будылья.

Митька сзади. Перед глазами синий, обтянутый на спине мундир колыхается плавными кругами. Через минуту изо рта отца хриплое:

— Ага-а-а-а… Это что?

Босая Фёдорова нога торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру «нагана». Качаясь, прыгнул Митька, цепко

ухватил стоящий у стенки топор, ухнул от внезапно нахлынувшего тошного удушья и, с силой взмахнув топором, ударил отца в затылок…

Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Ярами, буреломом, густым терновником шли, ползли, продирались. Верстах в восьми от станицы, там, где Дон, круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде. Плыли на косу; быстро сносило нахолодавшей за ночь водой. Фёдор, стоная, цеплялся за Митькино плечо.

Доплыли. Долго лежали на влажном зернистом песке.

— Ну, пора, Федя! Эта половина, должно быть, неширокая.

Спустились к воде. Дон снова облизывает лица и шеи, отдохнувшие руки уверенней кромсают воду.

Под ногами земля. Застывшая в темноте гущина леса. Торопливо зашагали…

Светало. Где-то совсем близко ахнуло орудие. На востоке чахло румяную каемку протянул рассвет.

1925 г.

Донской край. Гроза над Манычем

Игорь Бондаренко

О МИХАИЛЕ ШОЛОХОВЕ

Эссе

Есть имена, которым не нужны никакие приставки: академик, лауреат, и т. д. Невозможно себе представить, например, такое словосочетание: Пушкин — лауреат Николаевской премии 1-ой степени… Или Гоголь — лауреат премии Союза писателей «незалежной» Украины. Просто — Пушкин! Гоголь! И этим всё сказано. И хотя Шолохов был лауреатом всевозможных премий, но достаточно читающему человеку услышать одно имя — Михаил Шолохов, — и этого достаточно.

Скажу сразу, что дружеских отношений, близости между писателем Игорем Бондаренко и великим писателем Михаилом Александровичем Шолоховым не было и не могло быть. Слишком велика была разница в возрасте и в том положении, которое каждый занимал в литературе.

Михаила Александровича впервые я увидел в 1959 году. В тёплый майский день главный редактор журнала «Дон» Михаил Дмитриевич Соколов взял меня, литсотрудника журнала в Вёшенскую. Какое первое впечатление на меня произвела эта встреча? Прежде всего, хочу отметить одну черту — доступность. Позже я много раз видел Шолохова и на писательских съездах, и на конференциях, и в застолье, когда Михаил Александрович приезжал в Ростов и останавливался в гостинице «Московская». Шолохов был прост в обращении с людьми и доступен каждому: будь то член ЦК КПСС, молодой литератор или житель станицы Вёшенской.

Когда я говорю, что Шолохов был доступен, то тут же следует подчеркнуть, что он всегда держался с большим достоинством, как и полагается

Бондаренко Игорь Михайлович (1927 – 2014) — советский и российский писатель. Участник Великой Отечественной войны, антифашистского Сопротивления в Германии (1943 – 1944 годы). Член СП СССР (1970). Почётный гражданин города Таганрога. Родился в Таганроге 22 октября 1927 года. В этом городе прошло его детство. Учился в школе № 10.

Первые публикации Бондаренко датируются 1947 годом. И. М. Бондаренко — автор 34 книг. Произведения писателя переводились на немецкий, венгерский, болгарский язык и языки народов СССР.

великому народному писателю. А то, что он писатель поистине народный — вёшенцы знали лучше других. Приведу такой бытовой штришок. Как-то спозаранку в калитку к Шолохову постучалась вёшенская старушка. Пришла она к нему со своей нуждой. Писатель выслушал её и спрашивает: «А почему, бабуся, ты не обратилась со своей просьбой в райисполком?» И услышал любопытный ответ: «Они же там начинают работать с девяти, они… контора… А ты же — не контора».

Шолоховский дом был открыт для людей. В жестокие годы коллективизации он не побоялся вступиться за своих земляков, адресуясь прямо к Сталину. Сталин письма Шолохова читал. Вождь долго, очень долго присматривался к писателю. Должен сказать, что у Сталина был хороший литературный вкус и «нюх» на таланты. В Шолохове он сразу распознал талант. Больший талант.

Со Сталиным, как известно, Шолохова свёл Горький. Встреча эта произошла в доме Горького. Сидели за столом. Горький больше молчал. Сталин спросил Шолохова: «Почему вы так смягченно показали Корнилова. Надо его образ ужесточить». Шолохов ответил: «Поступки Корнилова вывел без смягчения в соответствии понимания облика этого воспитанного на офицерском кодексе чести человека…» Сталин воскликнул: «Как это чести? Он же против народа шёл! Лес виселиц и море крови!..»

«Должен сказать, — впоследствии признался Шолохов, — что эта обнажённая правда убедила меня. Я потом отредактировал рукопись».

Сталин любил, когда писатели прислушивались к его советам. Уже Сталиным было написано письмо Феликсу Кону о том, что «тов. Шолохов допустил в своём «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок». Но письмо это рано ещё было извлекать на свет Божий. О нём и Шолохов, и страна узнают позже, в 1949 году, когда Сталин понял, что образ свой, так сказать, в полный рост в произведениях Шолохова он никогда не увидит. Однако до этого было ещё далеко.

После выхода первых двух книг «Тихого Дона» РАППовская критика (была такая организация — Российская ассоциация пролетарских писателей) «замахнулась» на роман. Но слух о том, что Шолохов был у Горького и там был Сталин, остудил пыл критиков. Шолохова ввели в редколлегию журнала «Октябрь», по роману сняли фильм. Если вначале рапповцы набросились на роман, как на «белогвардейщину», то фильм те же критики «понесли» за любование казачьим бытом и адюльтер… На что Шолохов в письме к актрисе Цесарской (она играла Аксинью) писал: «Буду делать всё от меня зависящее, чтобы «Тихий Дон» пошёл… по стране. По-моему, это очередная инсинуация московских сукиных сынов и дочерей».

Шолохов знал, что «сукины сыны» водились не только в Москве, но и в Ростове. В 70-е годы я был секретарём партбюро Ростовской областной писательской организации. Вышло постановление ЦК о литературно-художественной критике. На писательском собрании я сказал, что нам надо самокритичнее относится к тому, что мы пишем. Если у Шолохова «Донские рассказы» и «Тихий Дон» неравноценны, то что же говорить о нас, грешных.

Только я пришёл домой после собрания — телефонный звонок. Секретарь Ростовского обкома по идеологии Тесля: «Ты что? С ума сошёл! — Шолохова критиковать!» Я говорю: «Михаил Ефимович, я…» Но он не стал меня слушать. «Мне только что звонил Шауро (зав.отделом культуры ЦК КПСС) и спросил, что у вас там происходит? Секретарь партбюро выступает против Шолохова… Что это за секретарь такой?!» Оказывается, писатель А. позвонил в обком, а писатель С. — прямо в ЦК. Конечно, я бы не только «вылетел» из секретарей, но это вообще серьёзно бы отразилось на моей литературной судьбе, если бы...

На другой день председатель правления Ростовской писательской организации Александр Бахарев поехал к Шолохову. Говорили о разном. Потом Шолохов спросил у него: «Что там у вас вчера было на собрании? Мне звонил Шауро...»

Бахарев был человек прямой и честный. Он рассказал всё, как было. «Вот сукины сыны…», сказал Шолохов. Бахарев вернулся в Ростов. Позвонил мне: «Игорь, не беспокойся, Шолохов назвал их сукиными сынами… Я уже позвонил Тесле…»

У Шолохова было особое чувство юмора. Как-то на «посиделках» Шолохов-Синявский спросил заядлого охотника и рыболова Шолохова: «Михаил Александрович, а каким средством вы пользуетесь на рыбалке от комаров?» Шолохов помолчал, потом коротко ответил: «Терпением». С Шолоховым-Синявским была ещё одна забавная история. Сталин как-то спросил Шолохова: «А что, Шолохов-Синявский ваш родственник?» — «Нет, товарищ Сталин. Однофамилец...» Сталин тоже обладал своеобразным чувством юмора. В присущей ему неторопливой манере произнёс: « Смотри какой?! Мало того, что он — «Шолохов», так он ещё и «Синявский» (Это был очень популярный в те годы футбольный комментатор).

В 1938 году Сталин спас Шолохова от ареста и гибели. Из песни слова не выкинешь. — Так это и было.

В годы войны Шолохов часто бывал на передовой. Много писал очерков, статей. Начал роман «Они сражались за Родину». Это была солдатская правда. Горькая! Какой может быть только правда о войне. Но Сталин, как мне кажется, от Шолохова ждал другого. Мой брат генерал Николай Константинов учился вместе с Василием Сталиным в Академии Генерального Штаба. «Кто может написать «Войну и мир» о минувшей войне? — Только Шолохов». Эти слова отца пересказал Василий Сталин моему брату. Знал ли об этих словах Шолохов?

Наверное, знал. Но он и без подсказок понимал, что всё написанное им о войне только начало. Он встречается с генералом Лукиным, героем Смоленска, командующим 16-й, а потом — 19-й армиями, с человеком трагической судьбы, потерявшем ногу и познавшем всю горечь плена. Но весь шолоховский «запал» был «погашен» официальными властями после опубликования письма Сталина Феликсу Кону в 1949 году. «Тов. Шолохов допустил в своём «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок». Вождь не дождался своего восхваления в романе «Они сражались за Родину» и рассердился. «Сигнал» поняли все. Шолохова перестают печатать.

У романа «Они сражались за Родину» самая трагичная судьба. Полная версия романа просто погибла. — Писатель её сжег. В 1995 году было переиздание романа. Переиздание того, что сохранилось. Оно не содержит потрясающей по своей силе главы, которая даже в пересказе не может оставить читателя равнодушным.

1 мая 1938 года. В Ростове по улице Энгельса идёт демонстрация. Поют революционные песни. Заключенные в подвалах НКВД (на улице Энгельса) тоже начинают петь: «Смело мы в бой пойдём за власть Советов…» — «Вихри враждебные веют над нами…» В камеры врываются энкавэдэшники, и рукоятками пистолетов по головам — петь в камерах запрещено!!!

Эту главу Шолохов привёз и читал на бюро обкома. Об этом мне рассказал друг моего отца Михаил Кузьмич Фоменко, секретарь Ростовского обкома КПСС по идеологии. (В то время) Читал долго. Около часа. И заметил, что к концу чтения остался только первый секретарь Обкома Соломенцов М.С. и Фоменко. Шолохов обвёл взглядом опустевший кабинет и с грустью обронил: «А где же остальные?.. Ус..лись?» Собрал рукопись и махнул в Москву. К Брежневу. Но Брежнев его не принял…

У Шолохова было много почитателей. но и немало было недоброжелателей. Каких только «собак» на него не вешали. Как-то в журнал «Дон» приехал Евтушенко. Он попросил устроить ему встречу с Михаилом Александровичем. (Тогда он искал защиты от критиков его «Бабьего яра») Мы устроили ему эту встречу. Чем она закончилась, я не знаю. Но пополз слушок… — Шолохов-антисемит. Как можно обвинять человека в антисемитизме, если один из самых сильных своих рассказов он посвятил Левицкой. А когда ехал в Стокгольм получать Нобелевскую премию взял своего любимого режиссера ростовской киностудии Лиона Мазрухо.

Были и такие шепотки: «Шолохов спился. Ничего не пишет...» Как раз раздался телефонный звонок из Москвы. Звонил заместитель председателя иностранной комиссии Союза писателей СССР Косоруков. С Косоруковым мы были знакомы. Москвичи знали, что Шолохов их недолюбливает. Косоруков меня попросил: «Позвони Шолохову, узнай. собирается ли он поехать на юбилейную сессию Нобелевского комитета?» Я позвонил. Взял трубку секретарь. Я назвался. «Я сейчас доложу Михаилу Александровичу» Он положил трубку на стол. И я услышал стук пишущей машинки… Шолохов работал. Затем Шолохов взял трубку. Я передал ему привет от коллектива журнала «Дон» и поинтересовался, поедет ли он в Стокгольм?

«А что мне там делать?… Не поеду я…» — ответил Шолохов.

Он не любил суеты. Этих светских «тусовок», как теперь говорят. — Это был великий писатель и великий человек.

К 75-летию со дня рождения поэта

Владимир Моисеев

МОЕЙ РУСИ – ПРЕКРАСНЫ ОТРАЖЕНЬЯ

***

В дорогу вбит копытный топ,
И бубенцов искрится эхо. –
Горячей тройки крепкий пот
С морозным ветром густо смешан.
Латунных блях свежо сиянье,
И звон врывается в зенит…
Летят в Михайловское сани
По гулкой млечности зимы,
А над дорогой вихри вьются. –
Поэт зиме по-русски рад.
Свежо подчёркивают юность
Две тени жгучих бакенбард.
Вокруг снега, и даль без края,
И ели тёмные до звёзд…
И сердце нежно замирает
Среди метелицы берёз.
А тройка брызжет пенной силой, –
Мелькают сёла… Где предел?..
Он в душу песенной России,

Моисеев Владимир Валентинович, поэт, член Союза писателей России, родился 31 января 1941 года на полуострове Ханко в Ленинградской области. В самом начале Великой Отечественной войны его семья уезжает в эвакуацию в Новосибирск, а по окончании войны перебирается в Таганрог. Здесь Владимир окончил школу №16. Армию отслужил в ракетных войсках на Западной Украине, где и начал писать стихи. После службы окончил филологический факультет Таганрогского педагогического института на филологический факультет, год работал учителем русского языка и литературы.

Неоднократно публиковался в известных «толстых» журналах. Из-под его пера вышло две книги стихов «Ржаные страницы» и «Млечный парус», а самым первым был поэтический сборник «Качели».

С её напевами простыми,
Как в поле чистое, влетел!

ЧЕХОВ

Ещё Москва признаньем не бряцàла –
Слезам не верила и в нём искала брешь,
А он – с улыбкою провинциала,
Стоял пред ней с котомкою надежд.
Туманились сады и пристани. –
Туманных звёзд круговорот…
Судьба в глаза смотрела пристально:
Она всё знала наперёд.
Успех! Триумф! Всё – честь по чести.
Но в час, когда успех «шёл в рост»,
Застенчивое имя – Чехов –
С чахоткой намертво срослось.
Так платят дань – сполна, по рангу.
Нагляден творчества итог:
Усталый взгляд и губ пергамент…
И вновь в крови его платок.
Платок в крови, судьба в крови…
От глаз чужих – кровь надо прятать.
А жизнь, как рукопись, горит. –
Огонь не выдаёт обратно.
Что слава?.. Что любовь?.. – Всё зыбко.
Исчерпан жизнелюбья пласт.
И всё ж его полуулыбка,
Далёкая… жалеет – нас.

***

Осенние мгновенья – как глотки вина:
Хмелеет роща и хмелеет поле…
И в полусон река погружена,
И отраженья держит на приколе.
И нежно вянут в отраженьях дни,
И вечеров в них вянет панорама…
Вдруг чиркнут гладь транзитные огни –
И вновь река лелеет облик храма.
И, кажется, река до дна светла,
И плавно ветерок её голубит.
Качнутся звёзды в полночь у весла –
И вновь недвижно светятся из глуби.
И долго осень мне в глаза глядит…
Хочу продлить я это наважденье!
Держу в горстях студёный пласт воды:
Моей Русú – прекрасны отраженья.

Проба пера

творчество начинающих донских поэтов, слушателей литературного Семинара при Ростовском региональном отделении Союза писателей России – 2016 г.

Елена Шевченко

Кандидат в члены Союза писателей России,
г. Ростов-на-Дону

ПОСМЕРТНО

Об этом признаются… на могилах,
Когда – истлел от времени покров,
Настал конец рыданий и даров,
И вспомнить облик ваш уже не в силах. –
Об этом признаются на могилах.
Когда покрыты щедро монументы
Букетами цветистых эпиграмм,
Созвучьями тонов гранитных гамм
На них – цветы и траурные ленты, –
Становишься «единственным»…
Посмертно.

Арпи Оганян

г. Таганрог Ростовской области

***

Никому не дано нарушить смену времён года, когда вначале всё рождается, затем растёт, а потом угасает.

(Ким Ки Дук)

Весна:
без сна – каждую ночь.
В окно –
запах травы.
На «Вы» –
с каждым листком;
и ком
в горле, когда –

вода
с неба – ведром,
и – в дом
через окно.
Но…

Июнь:
и юн каждый цветок,
глоток
воздуха свеж…
И – брешь
в памяти, ведь
смотреть
глупо назад:
глаза
наши немы,
и мы...

…Душой в осень летим. –
Хотим
Солнечный свет.
Но нет
солнца давно.
Оно
прячет лучи…
Включи
Солнце нам, Бог, –
коль смог
Мир Ты создать,
тогда
Солнце – пустяк!
Ведь так?..

Зима –
дома́ кутает в снег,
и век
нам не сомкнуть.
А путь
стелет метель,
с петель
ветры сорвав.
И – прав
каждый, кто смог
Урок
этим извлечь:
беречь

Душу от тьмы. –
Смотреть,
хоть и темно,
в окно…
А из окна –
весна.

Анастасия Кнутова

Кандидат в члены Союза писателей России,
г. Ростов-на-Дону

***

Подоконник следы «заметает» впопыхах ускользнувшего солнца…
Осень с небом друг в друга вплетают – каждый год! – обручальные кольца.
Мне бы вновь – окончание мая, только лето нескоро вернётся.
Если осень – корабль, то, пожалуйста, давай притормаживай, Боцман!..

Почтальон под названием «ветер» по квартирам прохладу разносит, –
Не хватает глинтвейна и пледа…
Чересчур пунктуальная осень
Прочь из города выгнала лето –
Променяв на холодную россыпь
Мелких капель на окнах… в куплеты
горсть минорных аккордов подбросив.
Кошке нос перекрыв баррикадой
тёплых лап… заморозив ладони…
Подарив всем деревьям – помаду,
Ненавидя цвет листьев зелёный!..
Облака превратив безвозвратно
В горы туч! – Их над городом гонит,
Предвещая печаль и прохладу…
Небеса покрывая бетоном.

Осень сто́ит не временем года
Называть, а прелюдией снега.
Осень – это не свойство погоды,
Осень – это внутри человека.

Осень – это не верить уходу
И по прежнему мыть две тарелки …
Осень – это не ветер холодный,
Осень – это бегущие стрелки,
И витки из колючей обмотки

На заборе, что встал между нами.
Осень – это квартира в высотке,
Что до боли сжимает тисками …
Осень – это спасаться на лодке
От внезапного всплеска цунами…
Осень – это до горечи в глотке
О тебе вспоминать вечерами.

Сергей Волошин

Кандидат в члены Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

ВЕНЧАНИЕ

Какая-то чертова дюжина
С обеих сторон не сдюжила. –
Невеста в себя погру́жена,
На пол упало кружево…
И если – жених, то выхолен,
Но тоже одно на выходе…
Не скрыться опять от похоти,
К тому же, что он – давно хотел.

Но то расстояние – их юдоль.
Все – до «алтаря», да исподволь,
Безвольно забыв про исповедь,
Коль больно должно, то – низко ведь.
В нём мало – давно! – хорошего,
И много всего поношено. –
Невесте была бы ноша, но
За нею фата из прошлого…

И если – венчание, – что ж тогда?
Что горе, что счастье – ложь одна.
И, чтобы сокрыть весь смрад, до дна,
Не хватит и тонны ладана!..
А взгляд у икон так вымучен:
Здесь каждый по-своему вычерчен.
Здесь правда танцует с обручем…
И нет ни перил, ни поручней.

Ирина Дьяченко

Кандидат в члены Союза писателей России,
ст. Мальчевская Ростовской области

***

Нежно и тало,
Сердце шептало:
«Люблю...»
Счастья так мало! –
Песком намывала…
Храню.

Сон – явью скошен…
Луг запорошен
Луной,
Плащ скомороший
С плеч тихо сброшен.
Судьбой,
Смейся – сквозь слёзы,
Ранясь о розы!.. –
Как встарь.
Майские грозы
Канули прозой
В январь.

Краской сандала
Пульсирует ало
Рассвет. –
«Любишь, – не мало!..» –
Солнце шептало
В ответ.

Наталья Воронина

Кандидат в члены Союза писателей России,
г. Красный Сулин Ростовской области

***

В сердце – колкие тревоги,
Как сосулек острия. –
Непроезжие дороги,
Ледяные острова,

Чёрно-белое пространство,
Бело-серые дома…
Я, с завидным постоянством,
По тебе схожу с ума!
Даже если разозлиться
На отсутствие тепла,
На промокшие ресницы,
На ненужные дела, –
Всё равно не будет толку
Хоть зимою, хоть весной:
Невозможно мне – нисколько! –
Разлюбить… и стать иной.

Татьяна Волокитина

Кандидат в члены Союза писателей России,
г. Таганрог Ростовской области

У КРОМКИ МЛЕЧНОГО ПОРОГА

Сирень цветёт – в тиши, в глуши –
Забыв сумятицу… тревогу…
Я тёплых звёзд стряхну немного,
С ветвей – в хранилище души.

Чтоб светолитьем слёз – в тиши,
У кромки млечного порога,
Напившись вечным словом Бога,
Молитву тихо совершить.

И отыскать в себе – себя…
И покаянно всех любя,
До боли, сердцем оголиться.

И новый облик обретя –
Как несмышлёное дитя! –
Для счастья солнечно открыться…

Крутояр

Окончание

Утро на Дону

Вниманию писателей и читателей!

Редколлегия журнала «ДОН_новый» сообщает, что с 2016 года по журнал будет выходить с периодичностью — 1 номер в полугодие или 2 номера в год.

Алексей Сазонов

МАРШРУТАМИ СПАСЕНИЯ

***

Неприкаянная доля
Потерялась, заблудилась –
Где-то в кукурузном поле
За репейник зацепилась.
Где-то в пахнущем полынью
И лимонником овраге
Залегла в бурьяне пыльном,
Как газетная бумага.

И бездомная тревога
Наступает мне на пятки –
На просёлочной дороге,
На асфальте и брусчатке…
Я недаром беспокоюсь,
Мне без этого – отвратно:
Даже если только совесть
Потерялась – неприятно!

Вольный ветер в чистом поле
Кувыркается и свищет. –
Может, он шальную долю
Где-нибудь в степи отыщет?

Сазонов Алексей Иванович, поэт, член Союза писателей России (2011), родился 14 февраля 1965 года в п. Коксовый Белокалитвенского района Ростовской области.

В 2009 году вышла первая книга стихов «Колея» поэта, получившая высокую оценку литературной критики Ростовской области, а в 2010 году — сборник стихотворений «Где-то за радугой».

Живёт и работает в п. Коксовом Белоклитвенского района Ростовской области.

Так пустынник жаждет Рая…
Так голодный ищет хлеба…
А земли не видно края,
Где её целует небо!

ЛЮБЛЮ, БЕЗ ЛИЦЕМЕРИЯ...

Люблю, без лицемерия,
Из многого, из сущего –
Автобусы вечерние,
Людей домой несущие.

Под небесами мутными
По городу осеннему
Спешат они маршрутами –
Маршрутами спасения...

Неспешно дверь закроется,
Усталые – рассядутся,
И вот автобус тронется,
И только дождь – останется.

А дождь останется... И пусть
Вздыхает тьма окрестная! –
Ведь он смывает с улиц грусть
Святой водой небесною.

КОРЫСТНЫ ЛЮДИ, КАПРИЗНЫ БОГИ

Корыстны люди, капризны боги,
Пространства злы и безмерны…
Но есть на свете четвероногий
Друг, бескорыстно верный.

Когда остальные друзья изменят
(В судьбе – как на поле боя!) –
Собака участь твою разделит,
Пойдёт до конца с тобою.

О тоненький лучик в лавине мрака,
Твержу – до скончанья века:
Осанна, осанна тебе, собака, –
Последний друг человека!

Юлия Жура́влева

МОЙ ЕГИПЕТ

(Дорожные заметки)

В Египет я ездила в гости к дайверам, жила в русской общине, поэтому мои впечатления о нём отличаются от впечатлений тех, кто жил в отеле.

Оказалось, что я люблю Египет. — Он остался у меня в душе, и я хочу его снова видеть!

11 августа, 02:14

В самолёте «лопнули» барабанные перепонки. Очень странное ощущение: как будто в голове — тоннель, и ездят КАМАЗы. С грохотом. Попутчик-врач сказал, что лопнули перепонки.

Я забеспокоилась, как с этим жить, чтобы не лечиться в Египте, и врач великодушно ответил:

— Оно вам мешает?

— Нет!.. Можно не лечить?

— Ой, я вас умоляю! Пусть это будет вашим последним горем.

У него манера разговаривать, будто он мессия. В иллюминатор он смотрел, как в колодец, как будто хотел разглядеть, что под крылом… На крыле трепыхалась серенькая тряпочка, про которую он сказал: «Как у нас в кардиологии…» Нашёл бинтик — почистил туфли.

Я спросила:

— Простите, а вы еврей?

— Я понимаю: лопнули перепонки, и всё такое. Но и вы меня правильно поймите — как я могу быть еврей, если лечу в Египет?

Жура́влева Юлия Ивановна, прозаик,член Союза писателей России (2014). Родилась 5 апреля 1958 года в городе Майкопе республика Адыгея в семье педагогов. Закончила филологический факультет Адыгейского государственного педагогического института. После окончания института, с 1979 по 1983 гг. работала внештатным сотрудником газеты «Адыгейская правда» С 1984 года живёт в городе Туапсе; работает в ОАО «Туапсинский морской торговый порт» делопроизводителем канцелярии.

В 2013 году издала две книги прозы: «Покажи, как летит орел» и «Цветущее дерево Шамиля»

Живёт и работает в городе Туапсе Краснодарского края.

Действительно!

На обратном пути перепонки сами собой срослись.

А врач поехал «в круиз по Нилу».

12 августа, 11:27

Первое впечатление на египетской земле: хорошо, что нет японцев. Я не против японцев, но когда их вежливые шустренькие группы с фотокамерами встречаешь и в самой крайней точке Норвегии, и у каждого африканского водопада, поневоле хочется, чтобы они путешествовали в других местах.

Второе, мимолётное, но свойственное славянам впечатление: «Опа! Куда меня опять черти занесли!» — которое чувствуешь, попадая южнее места, в котором живёшь сама, и — почти немедленно любовью к роману Фолкнера «Осквернитель праха», в котором мальчик из южных штатов, выросший среди негров, попадая в негритянскую хижину, безошибочно различал среди других запахов запах негров, вдыхал его — и тут же переставал его замечать… Хорошее было время, когда в книгах американских авторов прямо и убедительно писали «негр», и в этом слове было уважение к нации, и сочувствие к ней, и признание её прав и её достоинств. Вряд ли в такой степени можно любить и уважать афроамериканца, в какой — после всех своих «детских чтений» — уважаешь негров, приученный Марком Твеном, и Фолкнером, и Гарриэт Бичер Стоу, и Харпер Ли, что есть такие люди, которые называются негры, и у этих людей такие терпение и достоинство, которые тебе даже и не снились!..

Но я отвлеклась. В Египте нет негров. Там арабы. И едва ступив на их землю и увидев её под ослепительным небом — с её запахами, звуками, верблюдами и кошками, со всеми жителями в их обыкновенном, житейском, совсем непарадном виде, — как мальчик Фолкнера, втягиваешь воздух и принимаешь чужую повседневную жизнь, и понимаешь её, и любишь всё то, что понимаешь…

14 августа, 17:19

Египет — вязь… Противоречивый. Разный.

В нём много кошек. — Самые обычные кошки, но глядя на них, стараешься догадаться, какую жизнь каждая из них живёт. Вторую или девятую?.. И сколько жизней положено прожить кошке и сколько тебе?.. И начинаешь непривычно беспокоиться о себе: вечная ты или не вечная? Зачем тебе быть вечной, сама не знаешь, но в своей праздности среди нагретой солнцем чужой экзотики, вблизи очень странных сооружений, а особенно среди чужих людей с их мыслями и неторопливым, но громогласным, зазывающим, шумным течением жизни, начинаешь думать о вечном… и доходишь даже до такого абсурда, что корыстно смотришь на обмотанных арафатками египтян, на глаз определяя, способен ли этот или вон тот араб построить пирамиду Хефрена?

Зачем им строить пирамиду Хефрена, если она давно построена и частично разобрана на дешёвые жилища?.. Да и учёные вроде доказали, — а

особенно сам вид этой пирамиды доказал, — что её строили не древние египтяне, а представители внеземных цивилизаций, потому что невозможно обыкновенным маленьким людям соорудить такую махину с безупречно подобранными плитами…

Не знаю. Я видела, что строят сейчас. Судя по их теперешним жилищам, пирамиду Хефрена им не построить. Да и не нужно. С пирамидами у них хорошо… С дождями — плохо.

16 августа, 21:10

…Если материализовать мысли вечного Каира по отношению к туристам, то звучать они могут так: «Приехал — смотри! Что я мог, я для тебя сделал: я выстроил для тебя курорты, обустроил долину Гиза и пустил по Нилу суда, но если тебе там скучно, — смотри как есть. Потому что ты здесь не на курорте. Мы здесь живём, воюем… размножаемся».

Потому что это Каир. Он живёт, воюет и во все века размножается, чтобы было кому жить дальше, — громадный, пыльный, и в отличие от курортов абсолютно непоказушный город.

А вот такой. С помойками. С притоками реки Нил, в которые сбрасывают мусор. Если в Египте видишь речку или ручей, то это обязательно приток Нила, потому что другой реки там нет. Мусор можно бросать в мусорные баки, но интересней, наверное, бросать в притоки Нила. Каир немножко напоминает нашу Красную Поляну советского периода, когда гиды обиженно говорили въезжающим в неё туристам: «Только не спрашивайте — это и есть Красная Поляна?!..»

Въезжая в Каир, тоже хочется спросить: это и есть Каир? А это и есть Каир, и когда он раскрывается по мере того, как ты по нему едешь, у тебя постепенно захватывает дух оттого, какой он величавый, красивый, чистый и благоустроенный, но не потому, что это нужно туристам, а потому, что он хочет так сам.

Он — Каир. Как хочет, так и живёт.

16 августа, 23:14

Главное в Египте — избегать курортных мест. Строго говоря, там, где помойка — там Египет. А где помойку убрали, а место вычистили и построили отель со сложной европейской инфраструктурой, после чего место огородили и назначили ему цену посуточно и в долларах — то это уже не Египет, а курорт.

17 августа,02:12

В ресторанчике, куда мы зашли поесть, ожидали большую группу, и владелец — в джинсах со стразами и во фраке — закрывая спиною выход, чтобы мы, чего доброго, не ушли, с гиканьем и взмахиванием рук перебазировал нас, как гусей, в маленький пустой зал со столом, накрытым белой, мокрой скатертью прямо из стиральной машины.

Вычислив, что мы русские, хозяин таинственно сказал: «Борш, борш…» — выбросил руки вверх и торжественно объявил: «Тагил!»

Миша Галустян научил россиян, а россияне научили курортный мир говорить «Тагил», хотя где находится Тагил, не знает, скорей всего, ни сам Миша, ни половина россиян, а тем более — жители Востока, которым чудится, что в слове Тагил заключен магический, безусловный смысл.

…Мы сидели за мокрой скатертью и хотели чего-нибудь поинтереснее русского борща, но как это объяснить хозяину, который не слушает, не реагирует, ждёт большую группу и кричит «Тагил»?

А дальше случилось интересное: молодой помощник начал протискиваться в дверь с большой наряженной ёлкой и застрял. Ёлка раскачивала лапами, и с неё сыпались новогодние игрушки…

Пока Олеся расчехляла фотокамеру, прибежал хозяин и с гиканьем, тоже — как гуся, вытолкал помощника вместе с ёлкой из нашей комнаты, собрал с пола новогодние игрушки, принёс две порции гороха нут, залитого сильно наперченным ледяным кефиром, и сказал: «Борш!», — а потом — «Тагил!».

Большая группа, которую ждал хозяин, оказалась немецкой семьёй из четырёх человек… Им тоже постелили мокрую скатерть, они отказались на ней есть и перешли в другое кафе.

18 августа, 03:14

Плавали под жёлтой, жаркой луной — большой и круглой, как медаль за материнство.

Вода тёплая и от воздуха отличается только тем, что мокрая. Не испытываешь ни прохлады, ни облегчения. На пляже полно народу, пахнет шашлыками и поёт российская певица Ёлка *«Мой мальчик-красавчик, много девушек вздыхает…»* — Полное ощущение, что отдыхаешь в Туапсинском районе, и только усилием воли напоминаешь себе, что вокруг всё «очень» восточное, с верблюдами…

18 августа, 04:19

Когда-то здесь жили Боги, и были добро и справедливость. А потом ушли. Оставили всё, как есть — и ушли. И кошки были — Боги. И лисы. И шакалы… Интересно, где они видели здесь лис? Или лисы ушли вместе с Богами? И птицы улетели за всеми. Остались люди…

19 августа, 21:21

Гид Мухаммед объяснял, что, пирамиды сделали люди. А, может быть, и не люди. Или какие-то другие люди. Например, Атланты.

А ты смотришь… и понимаешь, что всё это сделали не люди. Не такие, как мы. Потому что, не могут просто люди, даже очень древние и с очень высокой цивилизацией, — делать такие вещи.

Атланты могут. Могут придумать, могут захотеть, могут воплотить.

Где нечеловеческая точность линий, — видишь фигуру, подходишь к ней и, как родной, говоришь ей: «Привет! Как я рада, что я тебя увидела…» — да, это Атланты.

А где — как попало, набросанные камни с искренним эмоциональным по-

сылом в вечность: «Да пошли все на фиг! Я на этой жаре для кого-то должен камень долбить!..» — это люди, это такие же, как мы.

Египтяне два тысячелетия назад были такие же, как мы, — такие же ленивые, так же хотели пить и также плохо переносили жару. Собери нас всех вместе, объяви тиранию и потребуй вытесать одного сфинкса и возвести одну стену… Мы такое возведём!

…Были Атланты. Были. А потом ушли. И больше не приходили. Но память о себе оставили красивую.

В Луксоре большая и добрая душа, которую чувствуешь, — и к каждой живой птичке, и полуживой, часто спящей кошке (вообще, это самая обычная благодарность за то, что они не вымерли без воды и пищи, а как-то живут и размножаются), относишься так, будто это их предки ходили в парадно украшенных золочёных мантиях и с непростым выражением на мудрых мордах с макияжем богини — двумя линиями, подчёркивающими глаза и проходящими по скулам, — и назывались красивыми именами Амон, Анубис, Апис, Атон, Баал, Геб, Гор, Мин, Нун, Осирис, Птах, Ра, Себек, Сет, Тот, Хонсу, Хнум, Шу, Астарта, Баст, Исида, Маат, Нехбет, Нут, Сехмет, Тефнут, Хатхор…

Когда Атланты ушли, они увели их с собой, как уводят с собой коров, лошадей и коз и уносят кур.

19 августа, 07:16

Верблюды — Джаспер, Мумтаз Амча, Джелал Амча, Хатиче Акар, Кибеле, Чигдем, Турая и Святой Иоанн (что совсем уж удивительно).

19 августа, 10:23

Жить в общине — совсем не то, что жить в семье. В семье, если кто-то болеет — его лечат и за него переживают. А в общине на него машут журналом, создавая прохладный ветер, и предлагают кофе, а если нельзя кофе — пойти поплавать. В семье все вместе едят, а если у тебя есть отдельные продукты и ты ими не делишься, то это очень некрасиво, поэтому всегда всё съедают вместе.

В общине — можно вдвоём купить козьего сыру или халвы, и вдвоём их съесть, чтоб никто не видел, а виноград или дыню прятать под кроватью, чтобы не нашли и не съели, пока тебя нет… В общине можно есть отдельно.

В семье каждый носит свою одежду, только пляжные полотенца общие, а в общине могут легко попросить твою туничку или футболку, и ты легко можешь надеть чужую туничку или майку и съездить в соседнюю деревню…

Соседские арабы, которые тебя знают, и ты их всех знаешь, — можно сказать, тоже члены общины: если ты пьёшь кофе, то предлагаешь кофе, а если у тебя есть минеральная вода, то протягиваешь бутылку — сколько выпьет. И они тебя угощают всем, что у них есть.

А поскольку почти все местные арабы — бедуины (Дахаб — «золото», бывшая бедуинская деревня), они очень строго и многослойно одеваются,

и в общении с ними нужно следить, чтобы сарафан, майки, шорты казались достаточно закрытыми, и стараться не попадаться им на глаза в купальнике. В купальнике на морском курорте нет ничего предосудительного, но нужно щадить их чувства.

23 августа, 08:19

Оля, сочная, как бочонок с мёдом, приехала отдыхать с симпатичным мужем-арабом и с собакой. Собака — тяжёлый и одышливый французский бульдог по кличке Шер. Формой напоминает комод и перекрывает собой все звуки: если спит — храпит, не спит — хрипит. Глаза выпучены от жары и ожирения, а между нижней и верхней челюстью с плоским языком можно просунуть палец.

С виду, жизнь такой собаки — сплошное мучение, всё время хочется предложить ей пососать валидол…

Муж-араб собаки стесняется, а жена её обожает. Пёс страдает от её излишнего внимания и давно не хочет ни пить, ни есть, ни жить. Он такой тяжёлый, что его не держит морская вода, которая, в принципе, держит всё. Погружается и тонет, поэтому Ольга купает его, держа под мышки.

Утром пёс лежал в тени пальмового навеса под настилом на прохладном песке, завёрнутый в мокрое полотенце, и хрипел. Потом перестал хрипеть, и все стали ждать, что начнёт храпеть… А он в это время получил тепловой удар и умер.

Муж-араб встал на четвереньки и за уши вытащил Шер из-под настила. Позвали спасателей — спасать. Не спасли. Спасатель Миша отказался делать искусственное дыхание «рот в рот», и Оля от души назвала нас всех сволочами, хотя мы мучаемся от зноя не меньше её собаки.

Муж-араб осторожно интересовался дальнейшей судьбой бульдога, в которую входит обратный билет на самолёт в Катар: заставят собаку увезти домой в самолёте, или сделают из неё мумию, или предложат отвезти на свалку и закидать песком, или придумают что-то креативное, главное, чтоб недорогое.

Предложили кремировать. Недорого.

Жена ругала нас сволочами, хотя её Шеру мы никак не вредили, смерти не желали и по-своему сочувствовали. Возложила на нас ответственность за климат… Чтобы Олю утешить, мы с Машей сломили две цветущие ветки и крест-накрест накрыли ими собаку. Получилось красиво… Почти тотчас подошёл молодцеватый вежливый полисмен и потребовал 20 долларов экологического сбора за сломанные ветки. — Мы виновато объяснили, что денег у нас нет. И что, если бы у нас были свободные 20 долларов, мы бы сразу в Абу-Симбл поехали…

25 августа, 09:19

Ночью снились танцующие турецкие дервиши — кружились и кружились.

По берегу кто-то ходил и разговаривал… что-то роняли, разбивали… а они всё кружились и кружились…

Часа в три ночи сбегала искупалась, в чём спала (ночью темно, поэтому в чём спишь — в том бежишь ныряешь, главное — надеть шлёпанцы, потому что здесь по ночам такое ползает… и купаться в шлёпанцах, потому что такое плавает!.. Бывает, заговоришь с человеком в темноте, и если он от тебя шарахается, то значит совсем раздет. — Стесняется!)

Трижды за ночь в открытое окно комнаты врывался кот Керим, шуровал на полках и на столе, что-то искал…

В первый визит Керима мы с Олей толком не проснулись. А позже я ему спросонья говорила: «Иди, иди в кухню, там в миске рыбьи головы». А кот — местный. Кот знает, что если он вечером их не съел, то они — протухли…

А в половину седьмого утра в открытую дверь комнаты вошла толстая русская девочка лет семи и спросила: «Мой бантик не у вас?»

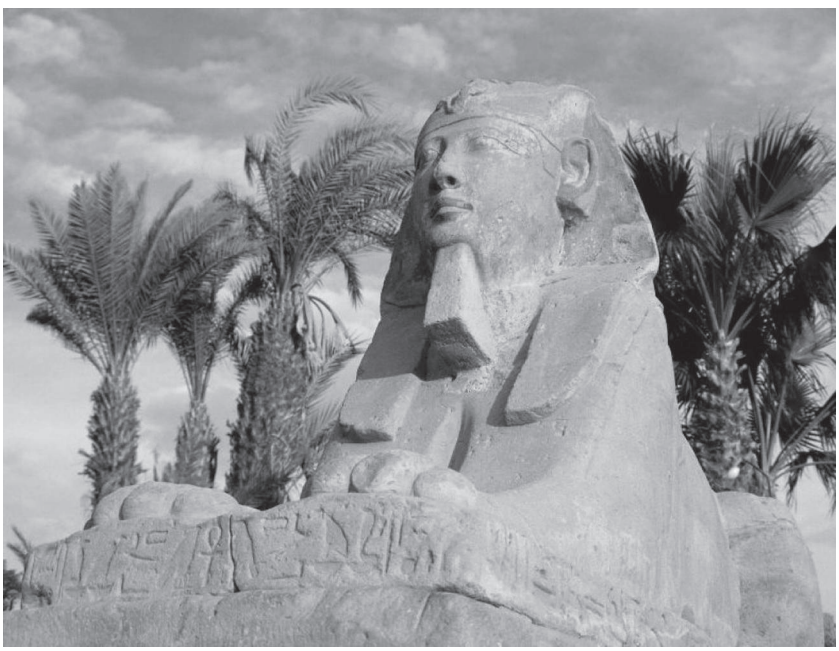
Мы сказали — нет.

…Бантик оказался у нас: большой розовый цветок вроде георгина. Девочка забрала свой шёлковый бант и ушла. Притащить к нам его мог только кот.

Когда я подняла бант с пола, из розовых лепестков посыпался песок…

2012 г.

(Продолжение следует)



Сфинксы Египта

Елена Арент

С ЯБЛОЧНОЙ МЯКОТЬЮ

ЗАКАТ

Неяркий, соломенный, дымчатым облаком меченый,
над тихим заливом
усталого солнца закат,
неспешно ступай – по пшеничному полю,
навстречу мне,
по пряному лугу в загадочном пенье цикад.

Бесшумно крадись по бессонному саду, измятому
прозрачным туманом,
и с жадностью путника пей
сок спелого-спелого августа – с яблочной мякотью,
с росою медвяной и с нежностью поздней моей…

***

Таганрогу

Мой оберег, мой город городов –
то каменно-тяжёл,
то ветрено-бесплотен…
Доверчиво глядят с его полотен
огни жилищ, задумчивость садов,

Арент Елена Линусовна, поэт, член Союза писателей России, родилась в 1963 г. в г. Междуреченске Кемеровской области. Окончила Ворошиловградский машиностроительный институт. Работала инженером-технологом, менеджером, педагогом. Автор четырёх поэтических книг: «После долгих зим», «Песчаный берег», «Дорога», «Островок».

Живёт и работает в Таганроге Ростовской области.

шершавый сумрак тесных подворотен
и лицедейство рыночных рядов.
И медной звонницей – в туманы и в метель –
подковы якорей…
и эхом гулким
шумит рыболовецкая артель
в раскосых богудонских переулках.
Качает небо невод парусов, смывает сон
с депальдовских ступеней...
И, от зари до самого успенья,
идут века неторопливой тенью
по циферблату солнечных часов.

МЕЖ ДРЕВНИХ ЛИП

Меж древних лип, как в юности, бредёшь,
не замечая трепета деревьев, –
ещё вовсю трезвонит тёплый дождь,
но в каждой тёплой капле стужа дремлет...

И вдруг – на жизнь становишься взрослей
и безоглядно одиноким старцем
взмываешь в небо осени своей
по листьям, умоляющим остаться.

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

К подолу января
прильнёт колючий холод, –
чужой оставлю город
ослепшим фонарям.
За мною поплывёт
в нутро безлюдных станций,
невидимым скитальцем,
полночный небосвод.
Домчит меня метро
до края, до конечной –
где путь ложится млечный
на крест земных дорог…

Татьяна Грибанова

КРЫЛЬЦО ДЛЯ АГРАФЕНЫ

(Быль)

1

Сколько Маша помнит, Аграфена Петровна, по-уличному — баба Груня, всегда мелькала перед её глазами. Грунина избёнка через дорогу от дома родителей, крылечком на их горницу смотрится. Вся немудрёная жизнь старушки для соседей — как на ладони.

Маша не знала её молодой, для неё она во все времена — баба Груня. Говорят, красавицы такой на пять деревень было не сыскать. А сейчас — старушка, как старушка: седина, морщин на лице, что борозд на распаханной бахче. Но посмотрит порою из-под уголка ситцевого платочка так, что не возможно не рассмотреть сквозь беспощадное время её былую красу.

Замужем она никогда не была. Не успела. Степан Фролов, с которым два года хороводилась Груня, попал в плен где-то в Белоруссии на втором месяце войны, бежал, и сгинул уже в наших лагерях. Девчонку, подругу Машиной мамы, она в сорок восьмом прижила от Сергея Трифонова. Их, фронтовиков, тогда и вернулось-то всего ничего. На десять баб — один мужик в колхозе. А потому, закрывали глаза счастливые, те, что дождались своих, на приспанных от их мужей ребятишек.

Продоярствовав пять десятков лет, пометавшись по тырлам от одного вымени к другому с ранней зари и до густых звёзд без продыху, бедная Грушечка не заметила, как опала, словно маков цвет, её невостребованная краса.

Дочка Любушка укатила с мужем по вербовке на крайний север, где-то, аж на Шпицбергене, на шахтах, «стригла длинные рубли». А Машину подружку Лизу подкинула в три года в карман замусоленного Груниного фартука.

Татьяна Грибанова, член Союза писателей России, поэт, прозаик. Родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила факультет иностранных языков ОГПИ. Работала преподавателем иностранного языка. Автор четырёх поэтических книг: «Апрель», «Прощёный день», «Сказ о Судбищенской битве», «Соль» и книги деревенских рассказов «Лесковка». Печаталась в журналах: «Наш современник», Роман-журнал «XXI век», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «ДОН_новый» и других. Лауреат Всероссийского конкурса «Звезда полей» им. Н.М. Рубцова в номинации «Привет, Россия!» (2012).

Живёт и работает в Орле.

Приблизительно с этого возраста Маша с Грушиной внучкой — не разлей вода. Живут давно в городе. Обзавелись семьями. Но это не мешает им регулярно перезваниваться и даже иногда посидеть, поболтать на кухне за чайком.

Неделю назад встретила Машу Лизавета расстроенная, сама не своя.

— Бабу Грушу в деревне забижают. Прямо не знаю, что и делать, упрямится, ко мне не съезжает, — поделилась подруга.

— Всю жизнь сама себя защищала, а теперь не справляется? Видать, сильный противник объявился.

— Не то чтобы сильный... Хитрый и подлый.

— Это чего ж ему от Грушечки надобно?

— Помнишь Ваську Рябого? Распузатил на безнадёге стариков. Новый русский, чёрт бы его подрал! И жена ему подстать. Фельдшерица с нашенского медпункта.

— И чем же им твоя баба Груня помешала?

— Магазин, надумали, на месте её хаты ставить. Земли им, живоглотам, на деревне не хватает.

— А бабку-то куда?

— Куда, куда? В Богдановку! В дом престарелых! Говорила я ей!.. Дождалась старая, докапризничала… Позор на мою голову. Фельдшерица оформить надумала, как «бесхозную»!

— Надо бы съездить, разобраться.

— Была уж… Да куда там! Все, кто при силе, Васькой прикормлены. Попробуй, поищи правду!

— Не паникуй. Наших соберём, нагрянем к выходным, застанем врасплох.

2

И нагрянули. — Лиза с домочадцами, Мария со своим семейством, сманили ещё одну подругу с двумя сыновьями. На серьёзное дело собрались и народу прихватили побольше, для весомости делегации.

Перво-наперво, с утречка отправились к Ваське Рябому потолковать, на лучшие струнки его души повоздействовать. Но, видать, таковые в его потёмистой душонке напрочь отсутствуют, а коли и есть, то зарылись глубоко-глубоко, чтобы совесть своей трогательной музыкой не будить.

Новенький Рябовский домина на отшибе, на Заречном раздоле красуется. Огороженных угодьев — на хорошую деревню. Помещик, да и только. Видать, заприметил Васька их издалече, а может, сарафанное радио ещё с вечера сообщило, только до порога парламентариев Рябой не допустил, у ворот полчаса продержал. Два сытых, аж бока лоснятся, ротвейлера и калитку открыть не дозволили. Правда, выглянул Васькин холуй, Тимка Вертлявый.

— Кого надо? Шляетесь тута ни свет, ни заря. Отдыхает ещё Василь Григорич, воскресенье. Не велено рано будить.

— По важному делу мы. Подними Ваську-то.

— Сказано: не велено, значит, не велено. Знаем мы ваше дело! Ишь, чего удумали! На кого прёте? — и лязгнул засовом.

— Вот и пристыдили, вот и потолковали, — повторяла всю обратную дорогу всхлипывающая Лиза.

— Погоди нюниться, что-нибудь обязательно придумаем, — не сдавалась подруга.

Под вечер назначили на Грунином крыльце совет.

— Предлагаю назвать его, в связи с предстоящими военными действиями на Рябовском направлении «Совет в Филях», — объявил Лизин сын Виктор.

— Тебе бы всё шутки шутковать, а бабу Груню скоро в богодельню силком спровадят, — осадила та сына.

3

Давным-давно Грушеньке, как одиночке, постановил колхоз срубить общими усилиями небольшую четырёхстенку. Опасались, что придавит их с маленькой дочкой рассыпавшееся отцовское жильё. Хатка получилась крошечная, но Грушенька поднатужилась и уже на свои кровные через пару годков приладила из мелкослойной сосны вдоль двух стен просторное крыльцо. С его появлением Грунина жилплощадь раздвинулась, со стороны казалось, сама хата раздалась.

Под общей кровлей с избой притулились амбар и сарайки. Всё хозяйство — под рукой. Уютный Грунин дворишко, как и сама хата, любовно обихаживался: всегда выметен, прибран, словно завтра Престол-день.

Всю тёплую пору хозяйка проводила на крыльце. В дальнем застеклённом конце его Груша свостожила топчан, укрыла постилками и, отгородившись ситцевой занавеской от комарья, коротала там душные летние ночи.

Не один год любилась она на этом крылечке со своим Сергеем. Прикипела к нему накрепко, но сойтись, не сошлась. Как при живом отце трёх ребятишек осиротить? Но и самой бабьего счастья хотелось. А потому — давно поделила она с соседкой Зинкой, Сергеевой женой, своего любушку. Деревня знала об этом, и, как часто бывает у наших баб, то кастрошила «бесстыжую» Грушку, то до слёз жалела горемычную.

Грунина хата, до самых дальних укромных уголков, известна Маше наощупь. Десятки лет в ней ничего не менялось. Запрятанная было за ненадобностью на чердак люлька и та, с рождением внучки снова водрузилась на привычное место. Обстановка избы не привлекала ничем особенным. По-крестьянски просто. Лишь расшитые особым, убористым, крестом занавески, скатерти и подзоры выделяли её изо всей деревни. На белые холстины розовой повителью, синеокими васильками да кипенными ромашками выстилала, выплёскивала Груня свою одинокую, нескладную судьбу-судьбинушку, с редкими, крадеными у подруги-соседушки, минутами горького счастья.

С трёхлетнего возраста исползали Машутка с Лизушкой широченные, укрытые домотканными полавочниками, намертво прилаженные к стенам лавки. Меж их ножек-стамишек были устроены задвижные дверцы, превратившие лавки в лари, где Груня хранила всякую всячину. Боковинку под левым окном хозяйка держала за прялку, наготавливая за зиму с двух своих

ярок пряжи — и на свои «неслушные» ноги, и на посылку, другую в северные края дочке, и внучонке с соседской девчушкой на носки-варежки.

Несмотря на запреты бабы Груни, неслушные девчонки на цыпочках обследовали многоярусные полки над лавками. Перебили у припечки не одну тарелку из резного открытого шкафа-блюдника. Заползали даже (и не раз!), подставив табуретку, в Грунину печь, разыскивая то припрятанные к ужину медовые гарбузы, то сковородку с зарумяненным белым наливом.

Справа от печи громоздилась подклеть, в которой зимой блеяли девчоночьи игрушки — шаловливые, как и они, козлята. А с другого боку дед Сергей сладил деревянную столешницу для стряпни. Чего только на ней не громоздилось! И чугуны-чугуночки, и салонки-сахарницы, и ковши-махотки.

Последние годы Маша всё реже забегала к бабе Груне. Когда тут? Прилетит к своим: то постирать, то прибраться, то приготовить! И переделать всё не успевает. Постоянно точит мысль: «И то бы надо подладить, и это зашить-заштопать». В неоплатном долгу до конца жизни перед родными.

Повстречает бабу Груню у ворот, раскланяется и опять спешит-торопится на своё подворье. А ведь в детстве не проходило дня, чтобы за бабкиным столом земляники с молоком не похлебала, блинков её поджаристых с укропным припёком не отведала. Совесть-червоточинка буравит душу, как задумается Маша о судьбах стариков в глухомань-деревне: виноваты мы, ещё многое могущие, ещё здоровые и сильные, перед немощными и покинутыми. Виноваты…

4

Как и сговорились, к вечеру подтянулись на Грунин двор.

Показалось, с годами стал он теснее и ещё меньше. Липа у ворот так вымахала, что до её цветов, наверно, старушка теперь и вовсе не добирается. Бывало, подсаживала девчонок, чтобы липов-цвет для чая обирали. Скамейка у калитки прозеленилась, замшилась. Видать, редко на ней Груня теперь сидит, всё больше на печи.

Всегда опрятный дворик заполонил анис. Словно обронила Грунюшка, поспешая ранней зорькой на дойку, платочек бело-ситцевый да подобрать позабылася. Сад состарился и задичал. Медовки закислились, вишни-ягоды — измельчали. Лужок у калитки зарос полынь-травою. И прошла бы она ручку другую, обкосила настырную глухую крапиву да лопухи, что наглым порядком по двору рассеялась, да куда там! Не до того ей… не до того… В заброшенном саду притулилась заброшенная изба, а в ней доскрипывает свой век заброшенная бабка.

Лишь в палисаднике под распахнутыми окошками по-прежнему простушки-мальвы, что девки деревенские, водят свои цветастые «корогоды». И всё так же чёрно-золотистые шмели, парни неотвязные, вьются подле них, нашёптывают в молоденькие ушки ласки ласковые, наигрывают на несмолкающих невидимых жалейках до самых потёмок свои немудрёные напевы.

Хата бабы Груни ещё полста отстоит, не подведёт, а вот крылечко обветшало: и ступеньки подгнили через одну, и стёкла в паутинках-трещинках.

Крыша ощерилась дранкой. Крыльцо заметно устало, приосело на левый угол, сгорбатилось, перила повываливались, расшатались, словно Грунины зубы. Гвозди совсем проржавели и еле удерживают доски, готовые вот-вот развалиться. Серо-перламутровая древесина застеклянела от солнца и дождей. На иссушённых боковушках-тесинках прорезались глубокие бороздки, шершавистые завитушки от сучков. Половицы рассохлись и стонали-ныли даже, если двухмесячный котёнок Парамошка спрыгивал на пол с прогнившего чердака. Правда, иногда, ни с того, ни с сего мытые-перемытые крылечные полы начинали радостно чирикать, перенимая залихватские напевы озорных синиц, стаями расселившихся в подзаборных репейниках. И тогда трещины на полувыбитых стёклах улыбались, складываясь в развесёлый рисунок, а среди лопухов раскрывались удивительные лазоревые цветы. Но это случалось очень редко, лишь когда отпускало скованную который год поясницу, и «занигумливали» шишкастые болезные руки старой доярки Грушеньки.

Слава Богу, дикий виноград прикрыл Грунин разор. Когда-то принесла Грушенька из соседней деревни небывалый у нас кустик, приткнула позади крылечка рядом с кадушкой, под самый водосток, да и позабыла, не выращивала, не ходила за ним. А дичок, знать, сырость любил, к месту пришёлся. Как ударился в рост! До самой трубы вымахал и с каждым годом всё буянистее оплетал Грунино крылечко.

Знойкими зимами рьяные ветра срывали пожухлую листву. Казалось, морозы вот-вот погубят его оголённые корни. Но подплывал апрель, и дикарёк снова оживал. А с мая по самую глубокую осень радовал старушку развесистой кроной, терпеливо дожидаясь своего праздника, когда первые лёгкие заморозки распишут куст в такие сказочные цвета, что захватит дух.

Маша ступает на Грунино крылечко, словно и не минуло несколько десятков лет. Те же половички, та же лавка с ведром ключевой воды и погнутым алюминиевым ковшиком.

Сидят за выскобленным столом. Груня суетится, гостей мятным чаем подчует.

Июньский вечер ласков и чист, не хочется вспоминать закавыки, из-за которой собрались на этом уютном крылечке. Не верится, что старый добрый мир может быть уничтожен ради жажды наживы.

Лиза не выдерживает, подталкивает к разговору.

— Ну, у кого какая идея? Выкладывайте.

— Что тут придумаешь, кроме как взять над бабой Груней усиленное шефство, коли она в город съезжать не желает, — выдаёт Николай, муж ещё одной подруги, Риммы.

— А чтобы дом не казался заброшенным, надо бы ставенки подправить, крылечко перекроить, крышу подлатать, одним словом обиходить, — вставляет своё слово Грунин правнук Кешка.

— А ты сама-то что скажешь? — обращается Лиза к старушке.

— Дак, а что тут ответить? Коли так бы — живи, не хочу, я и до ста потянула б, — улыбается баба Груня.

— Вот и ладненько, пока отпуска летние, сработаем бабульке крылечко,

подсобим. Кукиш с маслом Ваське! Ишь, раскомандовался! Что хочу, то ворочу. Мы ему хотелку-то поприжмём. Мало чего ему вздумается. Пусть на своей фазенде стройку разворачивает. Простор во-он какой! — подытоживает Николай.

— Да кто ж к ему в Заречку в лавку потащится? — замечает Груня.

— Вот то-то и оно. Боится паразит деньги на ветер выкинуть.

— А эдаким-то бесстыжим путём карман набивать не боится! — вспыхивает бабка.

Мужская половина отправляется спать, — завтра спозаранку в лес за сухостоем, в райстрой за материалами разными. Подруги, по давней привычке, припоздняются на Грунином крылечке.

5

В вышине, словно пшёнка, рассыпаются дробные звёздочки. Раскатываются за звенящий неумолчными соловьями Черёмуховый брод да раздушившийся конопляник до самой Кукорихиной околицы. Засмурневшие с заката небеса, высветляются и линялыми, стиранными-перестиранными бледно-фиолетовыми косынками колышутся на томном июньском ветерке.

Маша прислоняется к боковой стенке крылечка и замирает от тепла, передающегося ей от согретого за день родного, знакомого до каждой трещинки крыльца. Кипучая жизнь не позволяет сбавлять заданные ею темпы, а порою всего-то и нужно — тёплым июньским вечерком посидеть на ступеньках старого крылечка и хотя бы часок никуда не лететь, не мчаться.

У деревенских всегда так велось: любимое место отдыха после повседневных хлопот — крыльцо.

Ранней весной, когда стают сугробы, и из-под них на свет Божий выползет крылечко, когда стихнет по округе предвечерний гомон, приятно притулиться на порожках и слушать, слушать, как в палисаднике на кусте махровой сирени щёлкают-лопаются поспевшие почки, как где-то в невидимой дали чуть слышно разговаривают, ласково курлычут, ищущие ночлег пролётные журавки; как, засыпая, потягивается, покряхтывая, престарелыми досками и перекладинами видавшее виды крыльцо…

В сентябре тянет из сада дымком, спелой антоновкой. Крылечко завалено полосатыми гарбузами, корзинами с огородной всячиной. Сорвёшь на ходу терпкую гроздочку дикого винограда, прокатишься-проскользишь по тронутым лёгким морозцем половицам, и затоскуешь по канувшему лету, наблюдая с крылечной высоты за гуртующимися над долом птицами, за вьющейся в вишняке «богородичной пряжей» — паутинкою.

Зимою о бедолаге-крылечке почти забывают, разве что потопочут на нём валенками, пошмурыгают полынным веником, да в непогодь вывесят вымерзать на протянутой под самым его верхом верёвке постиранные половики. И стонут — попискивают половицы, жалуясь на выстуженное, улетевшее сквозь вечно распахнутую дверь, тепло, на тяжесть сваленных в дальнем углу промёрзлых берёзовых поленьев.

Маленький уютный уголок делает в любое время года более радостной нелёгкую крестьянскую жизнь. Помнится, баба Груня любила попить здесь чайку, посудачить с соседками, полузгать подсолнушков, просто посидеть на его ступеньках, послушать ночные шорохи.

И Машутка с Лизонькой крутились рядышком. Подростками обожали они здесь пошептаться о своих задушевных тайнах, о самом сокровенном. Часами могли с него наблюдать за движением облаков, мечтать о чём-то далёком, недосягаемом.

А сколько песен здесь спето! Но ещё больше, чем петь, нравилось им слушать, как выводит-страдает баба Груня. Настолько завораживал её голос, что подружки не замечали: старушка пела всегда одну и ту же песню с простой мелодией и незамысловатыми словами.

И я выйду ль на крылечко,
на крылечко погулять,
И я стану у колечка
о любезном горевать.
Как у этого ль колечка
он в последнее стоял
И печальное словечко
мне, прощаючись, сказал:
«За турецкой за границей,
в басурманской стороне
По тебе лишь по девице
слёзы лить досталось мне…

Неожиданно начинавшаяся песня, словно плач, так же неожиданно затихала, знать, иссякли Грушечкины слёзы, осталось лишь воспоминание о далёкой и горькой любви.

И вот опять они, будто в детстве, сидят с бабой Груней, чаи гоняют, на светлячков, что в жасминных кустах посверкивают, любуются.

— А что же, бабуль, песню-то свою не позабыла? — интересуется Маша у Груни.

— Разишь такую запамятуешь? С нею жисть прожита. Помню, как не помнить… Я вот об чём радуюсь: и как только вас Господь надоумил крылечушко моё подлатать! Оно поскрипит, и я с ним, Бог даст, поскриплю ещё маленько. На ём, почитай, всю жистюшку протопталась, не одни ходоки поистёрла. Проморгнули годики… уж и вы не малолетки… — Груня чему-то улыбается про себя. — А помните, девоньки, как промеж собой спор вели, кто выше, да кто на сколь за год подрос? — бабулька отодвигает развесистые ветки плюща, — вот они зарубочки-то. Крылечко по сей день метки хранит, детство ваше, почитай, год за годом помнит.

На свет слетаются бражницы, танцуют, мечутся у лампы. Груня на крылечке всегда любила посумерничать. Пригасит, бывало, фитилёк у старой керосинки и давай сказки сказывать, где услышанные, где придуманные и сама не помнит. Только знала их видимо, не видимо.

— А помнишь, бабуль, как мы тебя с именинами поздравили, какой подарок придумали? Два дня по бахче ползали.

И подруги хохочут, вспоминая, как наловили на «бакше» целый рой капустниц да лимонниц, запустили их в хоботную плетушку, накрыли подшалком. Пришла баба Груня с вечерней дойки, а они, чтобы подарок не выскользнул, двери заперли, да как выпустят бабочек из корзины. Так и справляли Грунины именины на крылечке, полном порхающих бабочек.

Не раз ещё слышалось: «А помнишь?..» Один за другим всплывали дни и вечера, оставшиеся здесь, под сенью этого дикого винограда.

Груни припомнилось, как выдавала она дочку замуж. Свадьбу играли, чуть ступеньки не сломали. Половицы гнулись, так лихо била дробь разгулявшаяся молодёжь. А уж частушек переслушало крылечко за два дня!

Мне не надо дом кирпичный,
Был бы дроля симпатичный,
Был бы дроля по душе, —
Проживём и в шалаше.

Ты Иванович, Иванович,
Ивановна и я,
Тебе не надо ли, Иванович,
Во жёнушки меня?..

— Как я с им, родным, расстанусь, ума не приложу,— всплакнула вдруг баба Груня, погладив растрескавшийся столбец. Каждый скрип крылечушка, каждый вздох его помню, и оно тожить знает все мои печали-радости… Вы здесь топотали босыми ножонками... Оно родимое провожало меня на утреннюю дойку, встречало с работы тёплыми нагретыми за день ступеньками. На ощупь знаю все выщерблинки на этих выскобленных дожжами перильцах. Крылечко это, что родим-человек, согревало мне душу и помогало в самые тяжкие времена. Где бы я за день не оказалася, не примину к вечеру сюда возвернуться.

6

…Две недели токали топоры, стучали молотки на Грунином подворье — подлаживали обветшавшую крышу хаты, обновляли ставни-наличники, а самое главное — сработали любо-дорого новое крыльцо. Старые полусгнившие доски спалили за садом на пустыре.

Деревенские любопытничали, заглядывали на строительный гам. С дальнего конца улицы приплёлся дед Махай, бывший колхозный плотник. Не смог усидеть на своей завалинке, завидев, как к Груниному двору прокатила подвода со свежим тёсом. Прикондылял и тут же, по старой привычке, закомандовал, засуетился.

— Колька! Стропилы-то покрепшея крепи! Скоб-гвоздей не жалей, чтобы Груне на следующие полста не знать печали.

— Чтой-то ты усхлопотался, дедуль? Как для себя стараешься! — подковыривали Махая.

— А што жа, — подхватывал дед шутку, — женчина Груша теперя богатая, эвон какие хоромины отгрохала, соберуся да к Покрову сватов зашлю. Пущай отказать посмеить! Живо постройку по тесинке разберу!

— Об чём толкуешь, старый греховодник, — отмахивалась Груша, — одной ногой на Поповке, а туда же! — Сама любовалась, не могла нарадоваться на новое крылечко. А оно изо всей деревни на загляденье!

Сосну на корню подсмолили. Дерево рубили не всякое, с разбором. Махай с Грушиным правнуком загодя отправились в лес, высмотрели подходящее.

— Бывало, готовясь к новостройке, за пять годков делали топором на стволах затёсы-ласы. Снимали кору с деревов узкими полосками сверху вниз, да меж ими оставляли полосы коры для сокодвиганья. Сосёнка-то за энти годы густо обронит смолу, пропитает ствол. А по первопутку валили мужички просмолённую сосну да рубили из ей хаты… Свалить дерево надоть знать когда, раньше-позже сроку — гнить начнёт, а коли вовремя — самое то… Вот опять же лиственный лес… Его рубить надобно по весне, во время соков. И кора сходить, как скорлупка с яичка томлёного, и высушенная на солнце берёзка-осинка становится кость костью, каляная, крепкая, — толковал Махай о своём ремесле Грушонку (так он Грушечкиного правнука прозвал).

— А скажи-ка ты мне, Иннокентий, почему деды наши одними топориками срубы ставили, «рубили» хаты, пилы только во внутренних работах использовали, — экзаменовал он Грушонка.

— Откуда ж мне ваши премудрости знать… хоть бы современные усвоить, — уклонялся от ответа парень.

— И что жа ты за несмышлёнай такой! Смекай: пила ить при работе древесные волоконцы рвёть, открываить для воды, топорик, тот насупротив — сминаить волокна, торцы брёвен и запечатываются.

— Видать, потому и гвозди в старину деревянные готовили, — сообразил Кешка.

— Ну, слава Богу, докумекал. Почаще к бабке наезжай, я тебя свому ремеслу в два счёта обучу, — загорелся дед.

Решили сладить крыльцо угловое. Прямо с него обустроили ход на гульбище. Кровля — на два ската. Один короткий, над рундуком, второй, тот, что подлиннее — над лестницей. Крышу, по настоянию старого плотника, увенчали охлупнем с небольшим коньком. Сладили и «курицы», и водомёты, прорезные и накладные причёлины. Всё как положено. Махай проследил, чтобы ничего не упустили.

Пока строительством занимались, заказали братьям Пахому да Кузьме Сёмкиным, двум старым мастерам-резчикам прикрылечные украшения. К завершению работы подвезли они на телеге наличники да ставни. На крышу измудрились сработать ажурный кокошник. Залюбуешься! Будто не с деревом работали мастера, а кружево диковинное плели.

— Спокон веку крыльцо — лицо семейства, — заявили они, сгружая резные балясины, — а потому должно оно быть опрятным, прибранным, красиво изукрашенным.

Груша заходила то с одной стороны двора, то с другой, не могла насмо-

треться на новизну, утирала кончиком подшалка слезящиеся глаза, без конца благодарила «помочников»: и строителей, и стряпух, и мальчишек, что крутились около — то инструмент подать, то за кваском в погребок слетать.

7

В конце августа, накануне Успения, работы были закончены, двор очистили от хлама, стружки вымели, остатки тёса сложили под сарайку — пригодятся в хозяйстве.

Из хаты пахло пареным-жареным. На новоселье пригласили полдеревни.

Грушенька, в новом шерстяном подшалке, в тёмно-синей штапельной кофточке в мелкий огурчик, в зелёной сатиновой юбке и в расшитом переднике сидела на крылечке на свежеструганной лавке. Прислонясь к резному столбцу, дозволив командовать у своей печи внучке Лизавете, она прикрыла глаза: то ли заходящее солнышко слепило их, то ли старушка задремала. На спокойном, казалось, помолодевшем, лице её просматривалась едва заметная улыбка. Всегда напряжённые, уставшие от бесконечных работ руки безмятежно затихли на пожелтевших кружевах праздничного передника.

Лопухи и крапиву со двора выкосили, под мальвами накрыли столы. За суматохой позабыли о притихшей на новом крылечке Грушеньке. И только когда гости расселись, обнаружили, что место хозяйки пустует.

— Виновницу-то позабыли! — всплеснула руками Лиза.

Кликнули Грушеньку. В сумерках лица её было не разглядеть и казалось, старушка издали, с высоты крыльца наблюдает за последним праздником на её дворе. Лиза заспешила к бабе Груше. Старушка не кинулась к ней навстречу, как обычно. Грушенька спала… вечным сном.

Из тёса, оставшегося от строительства крыльца, связали гроб. Досок хватило в обрез. Словно предусмотрели заранее.

Придавленная нежданным горем деревня, вся до единого, высыпала проводить бабу Груню в последний путь.

Там же, под мальвами, где недавно собирались праздновать новоселье, накрывали поминальный стол.

Народ, возвращавшийся с погоста, издалека завидел языки пламени, внезапно вырвавшиеся ввысь над крыльцом Груниной хаты. Отстоять усадьбу не удалось.

Через полгода на её месте Васька Рябой развернул долгожданную стройку…

Людмила Андреева

НЕ ЗНАЕШЬ

ЛЮБИТЬ БЫ ТЕБЯ…

Любить бы тебя пламенней,
Любить бы тебя неистовей!..
Но плачет душа, – изранена,
И вьюжной зимы исповедь
То болью – в ней, то надеждами;
То óбразами из прошлого –
Слепыми цветами снежными
Да птицами заполошными...
И ты, мне навеки преданный –
Не знаешь о льдах-смятениях,
И как тяжело во времени
Искать для любви спасения...

ЗИМА

Неспокойная, вьюжная… нежная,
То безмерно добра, то строга…
В прилежании – мило небрежная,
Сочиняет невинно снега

Андреева Людмила Николаевна, поэт, член Союза писателей России (2015), родилась 16 февраля 1976 года в селе Кагальник Азовского района Ростовской области. По профессии историк. В настоящее время работает в азовской средней школе №1 учителем истории и обществознания.

Стихи пишет с детства. Основное направление в творчестве — лирико-философское. С 2006 года — член Азовского литературного объединения «Петрович».

Живёт и работает в городе Азове Ростовской области.

Канительщица бесконечная!..
Но тревожит мне сердце одно:
Вдруг пройдёшь,
и тебя
не замечу я,
Сквозь заснеженное окно.

СЕРАФИМ

Непогодит бессонница в доме –
Разбросала тетради и письма…
Мысли скомканы, голос изломан…
День пустяшен отсутствием смысла.
…Не берусь с нею спорить – не в силах.
Пусть творит. Я – причина ненастий:
Бился Ангел в окно шестикрылый,
Миру временному сопричастный, –
Не впустила. Зашторилась думой,
Потерялась в стихах пересмешных.
И непонятый, Ангел – угрюмый,
Улетел в запредельное спешно...
Стало душно, надрывно, убого.
Люди, время, судьба – на изломе.
Оттого, деловито и строго,
Непогодит бессонница в доме.

***

Какая боль! – Пески стекают в Вечность.
Грозится ночь настать и не уйти,
Пугая бездной, мраком бесконечным,
Отсутствием спасения, пути…
Ей верят звёзды, и пророки – верят:
Могущества у ночи не отнять.
Я беспокойно распахнула двери –
Сегодня не могу ей не сказать:
«Послушай, Ночь – надменная, слепая,
Ты только мнишь… и только множишь боль,
Иллюзии и страхи порождая.
Не знаешь ты, – что знает лишь Любовь! –
Не знаешь, души смертных теребя,
Что в мире вечном… вовсе нет тебя!»

Марина Некрасова

ПУСТОЕ...

Рассказ

Только эти двое и бывали здесь после полуночи: белый рыхлый человек и кошка.

Человек был слишком белокожим для морского курортника. И когда после двенадцати, шлёпая сланцами, он брёл по причалу, сам себя видел ярким, ослепительно ярким белым пятном на «чёрном бархате сцены».

На сцену походил этот заброшенный причал. — Он стоял на старых сваях, был кривым и длинным, выступал далеко вперёд и над морем, и над берегом, и идти по нему до края было долго.

Первые ночи, шлёпая по причалу, человек стеснялся. А потом, так ни разу никого на причале не встретив, он привык, и стесняться перестал.

Причал был тускло освещён фонарями. Проходя мимо них, человек оставлял вокруг себя страшные тени. В том месте, где были выломаны перила, он снимал сланцы и спускался на песок. Говорили, что перила были выломаны недавним штормом. Но шторм в этих местах человеку не представлялся: всё время было тихо и душно, днём стояла нестерпимая, адская жара, а к ночи над землёй повисал густой душный пар, дышалось тяжело, как в людном предбаннике.

Внизу, под причалом было совсем темно. Боясь острого под ногами, человек неуклюже ступал на ощупь. Он неловко сгибался, вытянув шею и скрючив руки с зажатыми в ладонях сланцами. Первые шаги по песку человек делал неуверенно и медленно, так что со стороны его можно было принять за слепого. Потом глаза его свыкались с темнотой, и человек подбирался совсем близко к белеющей кудрявой каёмке моря, шёл вдоль неё, наслаждаясь

Некрасова Марина Сергеевна родилась в Чите в 1971 году. Получила музыкальное и филологическое образование. Работала учителем в музыкальной школе, журналистом, преподавателем русского языка как иностранного. Кандидат филологических наук. Рассказы печатались в литературных журналах: «Встречи», «Дальний Восток», «Другой берег», «Зарубежные задворки», «Парус», «Сибирские огни», «Слово Забайкалья», «Сура».

В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.

прохладной шершавостью мокрого песка и лёгкостью шага после трудного спуска с причала.

Бухта была маленькой. В эту сторону от причала человек мог пройти лишь пару сотен метров, дальше на песке грудились камни. По другую сторону, где днём купались отдыхающие, было просторней. Но впотьмах по той стороне к морю было не пробраться из-за зонтиков, лежаков и мусора.

Пройдя вдоль пенистой каёмки моря до груды камней и вернувшись к причалу, человек отступал от воды и, подложив под зад сланцы, садился на песок.

Только после полуночи с моря слабо тянуло прохладой — тянуло так слабо, что лишь близко у воды можно было дышать легко и спокойно. Человек сидел на песке и дышал. Он следил за проплывающими вдали судами. Он, наверное, ни о чём бы не думал, если бы не кошка. Кошка появлялась на песке каждую ночь.

Вначале, увидев её на берегу, человек удивился. «Кошки боятся воды, а эта ходит по самому краю берега, где песок мокрый», — подумал он.

Он не видел, с какой стороны пришла кошка. Он заметил её, когда она тихо кралась вдоль моря. Кошка шла очень медленно, словно тоже боялась поранить лапу. Она то и дело останавливалась, воровато осматривалась, потом вжимала в себя голову и робко ступала дальше. Иногда кошка испуганно приседала, опуская вислое брюхо на мокрый песок, и замирала так на некоторое время, а потом, озираясь, продолжала свой путь.

«Может, собирает брошенную кем-то рыбу? — подумал человек в другой раз. — Да и чёрт с ней!», — одёрнул он себя, ленясь угадывать.

Которую ночь он сидел здесь, глядя прямо перед собой. Далеко впереди него неправильным чёрным облаком гладко плыл громадный сухогруз. Вблизи человека волна уныло смачивала берег. Человек сидел на песке, подложив под зад сланцы, и не замечал, что дышит в такт с волной. Вероятно, исчезни вдруг волна, и он перестал бы дышать.

На этом курорте человека вообще охватила непривычная лень. Он совсем ничего не делал, если не считать делом ночные вылазки к морю и вечерние посещения ресторана у входа в гостиницу.

«Жанна сказала, что осталось три дня, — думал он. — Ещё три таких дня. Три таких дня и три таких ночи. А потом я уеду отсюда, и всё это кончится. А Жанну и Пашу отчего-то жалко…»

Он медленно оглянулся, тяжело поворотив вбок затёкшую шею. Кругом никого не было.

— Слышь, ты, кошка? — негромко позвал он, прищурив левый глаз и вглядываясь в сторону воды. — Жалко мне их, поняла ты?

Кошка присела на лапах, вжалась худым брюхом в мокрый песок. Она выждала немного, повернув морду в сторону человека и навострив уши, а потом, всё так же сжавшись, на полусогнутых лапах быстро-быстро поползла мимо него дальше по берегу.

«Боится, — подумал человек. — А может, ей тоже душно? Душно ей тоже, вот что».

На фоне чуть подсвеченного луной неба кошка казалась чёрной. Человек

проводил её взглядом. Он дождался, когда силуэт кошки сольётся с ночью, и снова отыскал глазами неправильное, угловатое, но огромное облако — сухогруз. Тот шёл уже совсем далеко и стал смутно различим на еле видимом горизонте.

Жанна и Паша были его соседями по ресторанному столику. Ресторан для курортников расположили на открытой террасе гостиницы. Днём оттуда хорошо просматривался залив — сквозь низкорослые пальмы весёлыми лужами синело море. Белые пластиковые столики и кресла ресторана нарядно смотрелись на фоне новенького дощатого пола. Столики и кресла стояли в тени тряпичного полосатого навеса, в окружении ящиков с розами.

Наслаждаясь тенью, курортники часами сиживали в ресторане… Белый рыхлый человек поначалу тоже приходит туда. Терраса была чистой и уютной, а всё-таки сидеть там было жарко. Измотанный душным зноем к концу третьего дня, мужчина бросил попытки привыкнуть к здешнему климату. Он понял, что никогда не сойдётся с жарким солнцем на дивном острове Хайнань. Он перестал спускаться в ресторан — и к завтраку, и к обеду. Он вообще перестал выходить днём из гостиничного номера, а в ресторан являлся лишь вечером, мучимый голодом.

— А вы что же — не обедали, не завтракали, и на пляже вас не видно? — спросила однажды Жанна.

— Работаю, — глухо проговорил мужчина, торопясь быстрее доесть поданную на ужин лапшу, обжаренную с кусочками креветочного мяса, яйцом и жгучим красным перцем; он спешил, давясь этой острой лапшой, своим стыдом, мучаясь стеснением, головокружением и непривычным страхом потерять вдруг равновесие и упасть на дощатый пол на глазах у всех.

Он не работал — обманывал, а правду сказать боялся. И откуда взялись у него нелепые эти страхи, мужчина понять не мог. Знал только, что появился страх здесь — на дивном курорте этого райского острова под щедрым и безжалостным солнцем, в этой обильной влаге и выматывающей духоте, от которой всегда было некуда скрыться, кроме как ночью у моря и то, если сидеть у самой воды и вдыхать еле живой бриз…

Сухогруз затерялся в ночи, а кошка появилась снова. Она сидела теперь поодаль, смотрела куда-то между человеком и морем и будто бы чего-то ждала. Если бы человек пришёл сюда только что, он принял бы кошку за тёмный камень на песке. Но человек сидел здесь давно и отлично всё видел.

Не желая спугнуть, он обратился к кошке тихо и повествовательно:

— Не знаешь ты ни Паши, ни Жанны. И Эмильи ты не знаешь. Хорошо тебе…

«От снов всё пришло, вот что», — который раз подумал он.

***

«От снов всё пришло, вот что», — который раз думал он, лёжа на другой день в постели и разглядывая скучный белый потолок. — Эмилья эта, проклятая… Она всё».

Который раз, проснувшись далеко после полудня, он вспоминал свой сон. Во сне голос Эмильи странно жужжал, сладко согревая ухо:

— Ну, скажи же, скажи же! Скажи же мне всё, всё же скажи…

И крупные рубиновые серьги в её ушах слабо и тёпло мерцали, а слова тесно окутывали, — они липли и не отпускали, будто хмель в голове. Слова Эмильи прятались, спутывались меж собой и склеивались, мешали ему разобрать смысл.

— Ну, скажи же, скажи же мне всё! Скажи мне всё, всё же скажи…

— Что сказать тебе? — спрашивал он её во сне.

Она отвечала что-то. Он плохо понимал, или, проснувшись, плохо помнил это. Слова Эмильи странно терялись под надоевшим белым потолком, таяли, оставляя ему ощущение густого сладкого дурмана, отзвуки жужжания неясных фраз, трепета жаркого дыхания, бряцанья рубиновых серёжек и отблески кровавых рубинов на мягких смуглых женских плечах.

Он только одно ещё помнил:

— Эмилья я, Эмилья… Эмилья я, твоя Эмилья, Эмилья...

Он вспомнил и подумал, что это было уже, в другом сне было — вчерашнем, позавчерашнем, или совсем другом, раньше ещё.

И другое — тоже в прошлом сне было, не в этом:

— Скоро ли? — Эмилья кричит.

А он будто — в костюме своём для лекций: шоколадного цвета костюм с подрубленными женой штанинами. Стоит он где-то в этом костюме, то ли посреди пустыря, то ли на площади старой. Стоит он там и головой вертит: понять хочет, откуда зовут. А зовёт она — Эмилья.

Голос её издалека зовёт, голос спрашивает:

— Скоро ли? Скоро ли?.. Скоро?

И он во сне отвечает её голосу, крича, сам не знает куда, что есть мочи:

— Ско-оро-о, ско-оро-о…

И скоро, очень скоро мчится он по гладкой мёрзлой дороге. Ноги чудесно так ничего не касаются, сами собой переступают, по воздуху, как у акробатов в цирке, когда они на тросах висят под самым куполом.

— Скоро, Эмилья, скоро!

А кругом мороз, скользко, гладко всё.

«Чушь какая-то, — думал он тогда ещё, проснувшись. — Привязалось видение. В кондиционере дело: мёрзну. А не мёрзну — так жарко. Вот и включаю», — зачем-то объяснял он себе и тогда, и сейчас снова.

А потом другой сон вспомнил — тоже вроде старый, и тоже на сегодняшний похож.

— Лучистая, чистая. Лучистая, речистая. Чистая-чистая. Речистая, тая. Лучится, тая, Эмилья твоя. Твоя Эмилья лучится, тая…

И солнце там играло на стёклах разных. И опять он бежал куда-то в шоколадном своём костюме, быстро бежал, очертя голову. Куда мчался? Зачем? Ни во сне он того не знал, ни после.

«Глупости какие», — думал он, окончательно проснувшись и вспомнив, что удалось. «Влияние температуры воздуха на образный аспект сновидений. Дурь. Ни тебе логики, ни доказательств. Пустое», — раздражённо морщился он, припоминая тему чьей-то диссертации и стараясь её забыть, и пытаясь поудобнее устроиться на подушке и уснуть снова.

Сон повторялся каждую ночь, никогда, впрочем, не повторяясь полностью. Всё было так, да не так. То ж, да не то. И главным всегда был голос неведомой ему Эмильи: настойчивый, яркий, настоящий. В первую ночь он подумал даже, что не во сне звучал голос, а здесь — наяву где-то. Он вроде бы даже услышал тогда чистый девичий голосок, прислушался — и снова услышал. Он встал даже, подошёл к окошку, приоткрыл створку, выглянул. Сказочным отголоском в душной застывшей ночи будто бы и вправду разлилось, стихнув вдалеке аллеи:

— Эмилья, Эмилья!

«Приснится же, — подумал он тогда, оправляя подушку. — И имени такого не встречал сроду. И что это за имя такое — Эмилья? Бывает ли такое имя?»

Он злился: и тогда, и теперь. Он сердился на неё, Эмилью, и на всех вокруг. Он сердито мял подушку, прятался под жарким одеялом от ледяной струи кондиционера, которая не спасала, а мучила: загоняла вглубь горячей постели, заставляла кутаться, задыхаться, покрываться противным потом.

***

— Сказать правду, — отдых мой не задался. А что поделать? Ждалось, мечталось, думалось, но…

— Не случилось. Увы!

Мужчина говорил довольно громко, тщательно выговаривая каждое слово.

— Сказать правду, — на курорте я впервые, — продолжал он.

— Нет, что вы, не шучу, — он застенчиво улыбнулся. — Впервые выехал. Думал — отдохну. Думал — праздник, обновление. Никогда раньше не выезжал: дача. А тут — дачу продал. Вернее сказать — отдал. Жене. Да, дачу отдал жене. Мы, знаете ли, расстаться решили.

Он энергично помотал головой:

— Нет-нет, что вы! Отношения замечательные! Общаемся, знаете ли, дружим. Расстались мы, так сказать, по обоюдному соглашению. Нам, знаете ли, теперь так удобнее стало. Пришло время. А чему вы удивляетесь? — он будто бы обратился к кому-то в левом углу зала, затем вернул взгляд к центру и продолжил, кивая сам себе головой, будто расставляя точки на концах фраз:

— Детей не нажили. Работаем в разных районах. В этом году пенсии заслужили. И она, и я. Я — старше. Но — мужчина. Она уволилась. А я остался. А что? — он чуть приподнял плечи и брови, удивляясь непониманию. — Я не устал пока, хоть и постарше супруги буду. Работаю.

Он опять стал кивать головой, подчёркивая точки:

— Пенсионных за год прилично скопилось. Дай, думаю, потрачу. И поехал. Супруга одобрила. Я ведь и ей предложил. Отказалась. Увлечения у нас разные. Она огородничать любит. Переселилась на дачу. Я — другое предпочитаю. Люблю марки коллекционировать. Да, филателист. Именно. Но вот выехал, — и он застенчиво улыбнулся.

Белый рыхлый человек стоял у зеркала и громко говорил, держась за мраморную столешницу мойки, как за выступ ораторской трибуны. Иногда всем телом он чуть подавался вперёд, словно взывая к слушателям. Иногда

он отступал от воображаемой кафедры, позволяя себе жестикулировать. Если бы кто-то заглянул около пяти в гостиничный номер 323, то, вероятно, удивился бы, услышав сочный мужской голос, доносящийся из-за чуть прикрытой двери туалетной комнаты номера, где всегда было тихо. Но дверь в номер была заперта, и снаружи ничего не было слышно.

Сочный, полный сил мужской голос усиливала мраморная отделка туалетной комнаты. В мраморной комнате голос делался гулким. Здесь вообще было шумно. — В раковину звучно струилась вода, она завивалась внизу воронкой и, с бодрым хлюпаньем, порциями проваливалась в трубу. Если пустить воду полным напором, все трубы здесь становились голосистыми и шумными. И мужчина вовсю открывал кран, давая водным струям волю и создавая в туалетной комнате невероятный шум.

— Выехал — да напрасно, — сказал мужчина чуть тише.

Он вздохнул и закрыл кран. В глубине трубы хлюпнуло и стихло. В туалетной повисла тишина, и слышно было, как цокнул по стеклу тюбик крема, который мужчина положил на стеклянную полочку.

Мужчина растёр в ладонях каплю крема «после бритья» и похлопал себя по щекам и подбородку. Он приблизил лицо к зеркалу, надул щёки, и, вертя головой вправо-влево, рассмотрел своё отражение: толстощёк, довольно бледен, на лбу глубокие продольные морщины, нижняя скошена от давней привычки щурить левый глаз, не очень свежая стрижка русых волос с редкой проседью, глаза — уставшие, пугливо сидят под припухшими веками и толстыми косматыми бровями, а губы слишком тонкие, неподходящие ко всему остальному, будто чужие.

«Тонкие губы выдают натуру нервную, нередко — склонную к злословию и зависти», — вспомнил мужчина строчки из собственной лекции.

«Ко мне это не подходит. И вообще — враки всё это, мне ли не знать».

Он взял расчёску и стал приглаживать волосы, тщательно выправляя пробор и думая о другом:

«Чего уж теперь. Два дня осталось. Посижу молчком, пусть себе ухмыляются. Может, и вправду, — работаю. А что? Ну, подумают они — чудак. И что с того? Мне какое дело? Думать — каждый волен своё. Не побьют ведь», — он положил расчёску на полочку и вышел из туалетной комнаты.

В ресторане он старался ни с кем не встретиться взглядом. Это не получалось, и то и дело он ловил проворно убегающие от него, едва им замеченные, насмешливые взоры. Ему было стыдно, неловко, ему тяжело дышалось и глоталось с необъяснимым трудом. Чтобы отвлечься, он старался думать про себя о чём-то: вспоминал слова известных песен, строчки позабытых со школы стихов, перемножал и делил числа, считал до ста — единицами, пятёрками и десятками, туда и обратно, чёт и нечёт. Он с радостью скрылся бы в своём гостиничном номере до самого отъезда: чёрт с ним, с оплаченным питанием! Он каждый вечер так и решал про себя, что скроется и в ресторан не пойдёт, но к вечеру ему нестерпимо хотелось есть, ему так сильно хотелось есть, что всякий раз ему казалось, будто никогда в жизни он не бывал так голоден.

— И что же вы? — неопределенно спросила Жанна за ужином. — Последний день завтра…

Жанна потянулась к бутылке с соевым соусом, и на него пахнуло её загорелой, прожаренной на солнце кожей. Он собрался было ответить что-то, борясь с неотвязным головокружением, со страхом подавиться сухим рисом и упасть на дощатый пол на глазах у всех курортников. Он даже откинулся на спинку кресла и принялся жевать энергичнее, чтобы освободить рот для ответа, но тут заметил, что под столом Паша злобно пнул Жанну носком сандалии.

— Чего пристала, дура? Сказали тебе: работает человек, — одёрнул Паша свою то ли жену, то ли подругу.

Говорить что-либо было теперь бессмысленно. Он заметил, как Паша страшно скосил глаза, будто пугая Жанну, как та сжала губы, сдерживая смех, как Паша заговорщицки пропел мотив популярной пляжной песенки, подливая пива в свой и Жаннин стаканы.

«Нет, не женаты они», — подумал белый курортник.

Он решил всё-таки покачать головой, изображая то ли сосредоточенную задумчивость, то ли проницательность, то ли чёрт знает что ещё. Неловко ковыряясь палочками в тарелке, он уговаривал себя:

«Курицу съем и всё, хватит мне».

А потом сомневался:

«А пива бы тоже хотелось. Или опасно мне? Не буду. Скорей бы кончилось всё. Два дня вытерпеть. Даже меньше, чем два».

***

Полнеба над морем было ясным и звёздным. А другую его половину заволокло тучами. Небо поэтому казалось ступенчатым и ненастоящим, будто плохая декорация. Из-за неровности неба море освещалось лишь с одной стороны, и на ней чётко прорисованы были контуры стоящих на рейде судов, высвечивалась линия горизонта, мерцали красные и зелёные огоньки бакенов, уютно, по-домашнему, светилась башня маяка. Другая сторона моря была тёмной и, казалось, вовсе отсутствовала.

На пустом чёрном пляже вблизи причала белело пятно. Подложив под зад сланцы, белый рыхлый человек сидел на песке на самом краю берега. Звёздная часть неба мягко освещала его округлый силуэт, который отбрасывал лёгкую тень в сторону причала.

Человек смотрел на кокетливую кружевную оборку волны и силился думать.

«Может, влюбился я под старость лет? А что? Разное случается. И такое бывает. Только странно это: ведь сам не знаю, влюбился в кого. Возможно ли такое? Но ведь и другое возможно: что знаю. Знаю, а понять не могу».

Человек стал вспоминать самые яркие из здешних снов.

— Скоро ли, скоро?

«Это она торопила куда-то».

— Я Эмилья твоя…

«Знакомилась, значит».

— Речистая, чистая…

«Непонятно».

И другой ещё сон, новый.

Будто бы там ветер, смог, не видно ничего, но ждут его где-то. И голос:

— Гуди-гуди. Иди-гуди. Иди, найди, приди, приди. Буди. Приди, буди, буди…

Что-то невнятное кричала ему во сне незнакомая ему Эмилья. Всё звала. Куда?

И раньше ещё было:

— Лейся, клейся, смейся, смейся, лейся вся, лейся-смейся вся…

«Это весело было вроде. На баловство было похоже. И серьги опять бряцали, и огоньки красные, и запах сладкий».

«Пустое», — подумал человек и тут заметил кошку.

Обернувшись, оглядев пустой чёрный пляж, он спросил в полный голос:

— А ты, подруга, не знаешь ли её? Эмилья она? Не знаешь?

Услышав его, кошка мгновенно замерла, боясь приближаться. Постояв немного, она будто бы успокоилась и села. Напряжение её выдавали теперь только уголки навостренных в сторону человека ушей.

— Одна ты мне здесь подружка, — белый человек рассмеялся, но тут же сделался серьёзным и прошептал со злостью:

— Домой завтра. Домой. Завтра.

Человек прищурил левый глаз, набрал пригоршню песка и швырнул в кошку:

— Бррысь!! Брысь, брысь, пшла-пшла…

Изогнувшись в немыслимо быстром прыжке, кошка мгновенно скрылась из виду. Человек не докричал ещё своего «пшла», как кошки не стало.

Он вздохнул, поднялся с песка, и шепнул себе теперь спокойно:

— Домой завтра.

***

«Домой завтра». Как и все эти ночи не спалось ему до утра. А к утру приснилось обычное: Эмилья.

Как обычно, Эмилья звала, кричала. Темнели кудри, мерцали рубины, пахли плечи. И голос — вначале невнятно, потом разборчивее, слышнее, ближе, понятнее, и совсем близко и ясно:

— Мять — не перемять. Обнять, обнять. И обнять, и мять.

— И мять, и мять, и мять…

И жарко было — огонь, огонь: так было жарко, что стерпеть нельзя.

Он не сразу проснулся, с трудом — словно вырвал сам себя из своего же кошмара. Приподнялся на локтях — счастливый, растерянный, уставший — будто битый. «Тьфу, стыд какой», — первое, что подумал.

Он вскочил с кровати, пошатался немного, пошёл в туалетную, принял душ, вернулся и выпил воды. В окно посмотрел. Голова болела, хотелось спать. Вернулся к кровати. Он отдёрнул одеяло, студя под кондиционером горячую простыню. Ещё воды попил. Ещё в окно посмотрел… Вроде легче стало.

За окном вовсю бушевало солнце. Где-то играли в волейбол, плакал ре-

бёнок, звучала музыка. Море лениво сияло богатой лазурной гладью. Белый катер резал пролив, посылая купальщикам мелкие весёлые волны.

Он успокоился и залез под одеяло, растянувшись на приятно прохладной простыне.

«А может — быть чему-то? — вдруг подумал он. — Ведь взялось откуда-то. Ведь отчего-то же всё появилось. Не на пустом же месте. Если не с прошлым связано, так, выходит, — в будущем жди? А что, если явится она, а?»

Он долго смотрел в потолок, взвешивая всё и обдумывая.

«Дурак, — строго оборвал он сонные свои мысли. — Да тебе лет-то сколько? Пенсионер! Эмилью ему, ишь ты», — и он отвернулся на подушке, будто бы от самого себя отворотился, прошептал в кончик одеяла: «Пустое».

***

В пять часов в туалетной 323-го номера урчало и хлюпало. Глядя в зеркало, полуголый белый человек говорил уверенно и громко:

— Смешно вам? Что же, смейтесь, коли смешно.

Он стал кивать головой, выделяя точки:

— Да. Работаю. Всё время работаю.

Он вытянул вперёд подбородок:

— Другой я, понимаете? Не похож я на вас. Вон вас здесь сколько, а я такой — один. Нет таких больше, сами же видите, — и он широко распростёр руки, показывая вокруг себя.

— Смешно? — он чуть повернул набок голову и прищурил левый глаз.

Он почти закричал:

— Ну, так и смейтесь! А мне плевать на вас, понятно вам? Плевать! Вот так: тьфу! — и он смачно плюнул в самый центр вертящейся в раковине воронки.

Густой плевок радостно устремился в слив и исчез.

Человек вздохнул и остановил беснующуюся воду.

— Последний раз, — тихо сказал он своему отражению в зеркале. — Пойду.

В ресторане было необыкновенно шумно. Он даже подумал было, не случилось ли чего. Входя в двери, он быстро окинул взглядом публику и суетливо зашагал к своему столику. Ему привычно казалось, что все смотрят на него и смеются над ним. Он опускал глаза, но идти так было трудно, потому что голова привычно кружилась, и непривычно знобило спину.

«Простудился», — подумал он, издалека кивая Жанне и Паше.

Но было тут ещё что-то, что особенно ему мешало: все смотрели на него теперь по-другому — не каждый отдельно, а вместе, будто бы даже дружно. «Сплотились они, — понял он. — Против меня, выходит, сплотились. Обговорили, высмеяли. Вместе они теперь. А я один».

Он уловил тот особый дух, что рождает в случайных людских сообществах нечто их соединяющее. Украдкой глядя на повёрнутые к нему лица, он видел их похожесть. Завтра они сядут в один самолет и вернутся на общую родину. Они были одинаково загорелыми, оживлёнными, утомлёнными предотъездными покупками и суетой сборов. На женщинах пестрели похожие дешёвые

сарафаны, на мужчинах белели одинаковые полотняные рубахи. У всех тут были общие заботы, всеми пережиты были общие события, что превратятся потом в общие воспоминания.

Лишь один человек был в этом зале белокожим. Один он не понимал полюбившихся всем остальным шуток, один не купил подарков родне, не попробовал китайской водки и не поплавал с аквалангом над рифами.

…Когда он неловко садился в кресло, смотреть на него все уже перестали. Паша и Жанна были изрядно пьяны. Пивной дух крепко напитал пространство над белым столиком, запаху роз от ящиков сюда было не пробиться.

— А мы уж подниматься за вами хотели, — сообщила Жанна. — Думаем, как бы про самолёт не позабыли, за работой-то, — и они с Пашей громко рассмеялись.

«Нет, женаты они», — он тоже улыбнулся, покачал головой и взял в руку палочки. Гладкие палочки выскальзывали из его потных пальцев. Было душно. И Паша, и Жанна тоже поблёскивали потной кожей и развязно отдувались, делая хмельной воздух ещё пьянее.

На весь ресторан стоял оживлённый гул, который посетители не замечали: звякали ложечки в чайных чашках, поскрипывали кресла, слышались бормотание и смех, вскрики, шаги официанток, шум вентиляторов. В завесе этого гомона ему стало неожиданно спокойно. Он привстал, подливая в свой стакан пива, и принялся за остывшую уже свинину с овощами.

«Пусть думают, что хотят. Ничего они обо мне не знают. А у меня, может, по-другому скоро всё пойдет. Завтра буду дома. А они забудут всё».

Он набил рот свининой и совсем уже радостно подумал: «И я всё забуду, пустое всё».

И вдруг совсем рядом вскрикнули. Так громко вскрикнули, что он вскочил.

— Эмилья!

— Смотрите, это Эмилья!

Он вскочил, растерявшись, смешавшись, всё позабыв разом. Палочки упали, в голову ударил жар, горло вздулось, ослабли ноги.

Девчачий голос прокатился по залу, и всё стихло. Будто звук отключили: пропали людское бормотание, бряцание десертных ложечек в чашках, гул вентиляторов, скрип пластиковых кресел под посетителями, — всё стихло.

Всё стихло, только голос остался:

— Смотрите, Эмилья пришла! Иди сюда, Эмилья, иди, Эмилья, не бойся, иди сюда!

Кричала девочка. Она кричала, взобравшись на стул, и потому высилась над всеми в зале. Девочка была с лохматыми, непереплетенными после моря косичками, в светлом костюмчике — майка и шорты в крупный синий горох. Она кричала во весь голос, показывая на ящики с розами.

— Смотри все, это Эмилья!

И все уже смотрели туда, и он смотрел. По узкому борту длинного ящика, как по забору, шла кошка — та самая, знакомая ему кошка, белая с чёрными пятнами, костлявая. Она и шла так же, как ходила всегда там, на берегу моря — прижималась худым брюхом к ребру ящика, втягивала голову, нервно поглядывала по сторонам.

— Эмилья, ты где была? Ты где была, глупая? — девочка почти плакала, она уже спрыгнула со стула и в три прыжка очутилась рядом с розами.

Она взяла кошку, проворно обхватив её худое тело под передние лапы, и поднесла, повернув её мордой к своему лицу. Рассмотрев, девочка прижала кошку к щеке и стояла так, приговаривая: «Эмилья, моя Эмилья, Эмилья моя». Так, приговаривая, и пошла к своему столику.

— Баловство какое — кошек с собой по курортам возить, — сказала Жанна.

— Это ж она в первую ночь её искала, помнишь? — отозвался Паша. — Кричала, как оглашенная: «Эмми-и-илья!» Весь курорт разбудила.

— Тебя особенно разбудили. Надрался, храпел без сознания, еле сандалии стянула.

— Себя бы послушала…

Все на террасе уже говорили, скрипели креслами, бряцали ложечками в чашках. Все были оживлены перед завтрашним отъездом, все были друг на друга похожи ярким свежим загаром, купленными сарафанами и майками, схожими заботами, настроением.

Только один человек на террасе нелепо стоял, развернувшись к девочке, смотрел на неё, чуть прищурив левый глаз, и одно только и думал: «Вот откуда взялось. Вот почему. Правильно, значит, понял: пустое…»

Ночное море

Анатолий Власов

КАПЛЯ ВОСКА

***

Ночь затонировала окна.
И лишь порой луны зрачок,
Как проблесковый маячок,
Дождинок высветит волокна…
В шандале плавится свеча.
Безжалостной строкою – шпагой –
Дымит израненной бумагой,
Как поле битвы под Полтавой,
Мой старый стол. И горяча,
Как капля крови, капля воска,
Что запечатала строку.
И в зеркале – зари полоска
Вдруг вспыхнет, высветив неброско
Мою небритую щеку…

***

Как взрывом, скандалом контужен,
Оглох и ослеп, и промок…
Не нужен, не нужен, не нужен.–
Мысль долбит, как дятел висок.
И рушатся жизни твердыни…
Уходит земля из-под ног.
И небо глазами пустыни
Глядит в перекрёстье дорог.

Власов Анатолий Николаевич, поэт, член Союза российских писателей. Живёт и работает в г. Ейске Краснодарского края.

В журнале «ДОН_новый» печатается впервые.

КАБИНЕТ ПОЭТА

Тишина гнездится по углам,
И о чём-то шепчутся гардины.
Пыл веков садится за картины,
Скрыв следы давно забытых драм.
Но всё так же ярки на лице
Гнев румян и восхищённость взглядов,
И на бриллиантовом кольце
Отсветы сгоревших звездопадов.
На столе – гусиное перо,
На бумаге – клякса каплей крови.
Знать, поэту выпало зеро,
Оборвав строку на полуслове.
И подранком бьётся за окном
В вечной битве между тьмой и светом
С перебитым злобою крылом
Песня, не допетая поэтом…

***

Я шёл к любви все эти годы,
Но под ударами судьбы
Вдруг рухнул купол небосвода,
И стало небо на дыбы.
А там, где ждал увидеть солнце,
Свечи огарок оплывал. –
Я б за него не дал червонца,
А вышло так, что всю до донца,
Всю без остатка, жизнь отдал.

***

Люблю бродить я по дорогам,
Едва заслышав зов весны,
И улыбаться недотрогам,
Которым лифчики тесны. –
Позубоскалить, пообщаться,
Блеснуть Есенинской строкой
И, не жалея, распрощаться,
Махнув беспечно вслед рукой…

Люблю смотреть, как листья с веток
Спешат собой укрыть грибы,

Как ветер, словно малых деток,
Дубы таскает за чубы.
Люблю сидеть у тихой речки,
Смотреть, как, наклонившись в бок,
В мерцании кувшинки-свечки
Лениво дремлет поплавок.

Ещё люблю я гулкой ранью
Обжечься утренней росой
И встретить зорьку над Кубанью
С певучей звонкою косой. –
И это всё зовётся жизнью
От первых до последних дней.
Я выбирал в ней путь не ближний,
Мечтая, чтоб он был длинней.

***

Богатеет думкою дурак,
Сам своим фантазиям поверив, –
Ждёт, когда на горке свиснет рак
И Сим-сим ему откроет двери.
И не спит бедняга по ночам,
В потолок мечтательно глазея…
И восторг мурашек – по плечам,
И душа дрожит, в восторге млея.
А на утро, вырвавшись из грёз
С головой больной до безобразья,
Он сдержать не может горьких слёз…
Но приходит новая фантазия.

***

А небо дарует нам крылья,
А крыльям – безбрежный простор,
И шепчет: «Здесь нету насилья…
Свобода, вот мой приговор!
Лети в эти дали без края,
Мужай от моей высоты»…
Но держит любовь нас земная:
«Я рядом, а там – лишь мечты.
Иль может, забыл ты Икара?
Он тоже поверил в мечту…»
…Отброшены в угол гитара
И смелый рывок в высоту.

И что? – Жизнь, как спичка, сгорела.
А сколько затратил труда!..
Пусть небо «как лучше» хотело,
Но вышло-то ведь – «как всегда».
И я, соглашаясь, киваю,
Её, понимая умом.
А ночью… летаю, летаю –
До звёзд доставая крылом…

***

Белым парусом – саван над лодкой моей.
Перевозчик устал, ждёт попутного ветра,
И глядит, словно Вий, из-под хмурых бровей,
И одежда на нём в стиле древнего ретро…
Перевозчик устал. И ему не понять:
Белый парус всегда был надеждой моею.
И под ним в никуда не боюсь уплывать,
Долго, долго ещё точкой в небе белея…

***

Между небом и землёй,
Меж Отчизною и Раем –
Пойман я стальной петлёй,
И теперь – не досягаем.
Ни друзьям и ни врагам,
И ни той, что так любила…
Ни царям и ни Богам.
Русь! Я сын твой. Иль забыла?
Я ж тебя не предавал,
Ради жизни забугорной!
Лёгкой доли не искал,
Нежась в тишине заборной.
От зари и до зари
Не со мной ли гнула спину?..
Разбросаешься, смотри. –
С кем останешься, коль сгину?

Дебют... Дебют...

Тамара Иванченко

ЛЕКАРКА

Рассказ

Шурка шёл по деревенской улице босиком, и пыль приятным прохладным шёлком струилась между пальцами. Его ноги по ходу подбрасывали то камушки, то палочки, то всякую другую дребедень, валявшуюся на пыльной деревенской дороге. — Поэтому шёл он не по прямой, а зигзагообразно…

Было раннее утро. Косые лучи солнца медленно скользили по серым крышам домов и сараев, оставляя на них ровный серебристый свет. И только коснувшись капелек росы на листве деревьев и придорожной траве, солнечные лучики вздрагивали, замирали и вдруг вспыхивали разноцветными красками.

Стадо коров ещё не проходило по улице, поднимая после себя клубы пыли и нарушая утреннюю тишину громким, протяжным мычанием. Поэтому воздух никем и ничем не потревоженный, ещё наполненный ночной прохладой, был свеж и ароматен.

Шурке не привыкать подниматься чуть свет. Вот и сегодня он встал вместе с «мамакой» совсем затемно. Не позавтракав и буркнув матери, что очень спешит по делам, выскочил из дома. У него было пречудесное настроение и, негромко напевая недавно услышанную и понравившуюся ему песню: «Эх, яблочко, куда ты катишься, ко мне в рот попадёшь — не воротишься…», — он шёл, почти приплясывая от радости, которая так неожиданно свалилась на него.

Шурка шёл к своему другу Петьке. Сегодня он уезжает с родителями на ярмарку в город и на целый день отдаёт Шурке своё самое большое богатство — велосипедный обод. Взамен, конечно, Шурка должен будет вечером полить огурцы на Петькином огороде, но это такая малость по сравнению со счастьем — целый день быть владельцем обода.

«Вот пацаны обзавидуются!», — думал он на ходу.

Тамара Иванченко, прозаик, член туапсинского литературного объединения «Логос».
Живёт и работает в г. Туапсе Краснодарского края.
В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.

Откуда обод появился у Петьки, никто не знал, — не было отродясь в деревне ни у кого велосипедов. Сам же он никому ничего не рассказывал. Одним словом — тайна. Петька был жадным и никому не давал свою драгоценность, сколько ни проси. А тут подвернулся такой случай — родители собрались на ярмарку, а Петьку не брали по той причине, что вечером ему нужно полить огурцы, а днём присмотреть за хозяйством. Но как же хотелось на ярмарку, где полно всякого люда, весело и интересно! Шурка как лучший друг подрядился помочь, но с условием, что Петька даст ему обод — на целый день…

И вот Шурка шёл по дороге, держа в одной руке старый, ржавый, без спиц, изрядно помятый и ободранный велосипедный обод, а в другой — аккуратно обструганную палочку. Он крутил в воздухе этой палочкой в такт напеваемой песне. Лицо его сияло. И было неважно, что дал его Петька совсем не по доброте своей. Всё это было неважно.

«Какой я молодец! — хвалил себя Шурка. — Подумаешь, присмотреть за хозяйством и полить огурцы. Это раз плюнуть». И он со знанием дела плюнул через щель между передними верхними зубами, и плевок, просвистев в воздухе метра два, плюхнулся в серую, вязкую пыль.

Так он и шёл, крепко прижимая к груди обод. Перед глазами уже стояла картина, как он, управляя этой отструганной палочкой, покатит обод по дороге, поворачивая им то вправо, то влево. — Главное, держать палочку на ободе, не отрывая. Тогда обод не упадёт, а будет катиться всё быстрее и быстрее, и Шурка будет едва поспевать за ним. А следом в клубах серой и липкой пыли с криками и гиканьем будут бежать все деревенские мальчишки.

— Как здорово! — сорвалось с губ.

Он засмеялся, вспомнив, как однажды так же бежал за Петькой, а гуси, пасшиеся на траве у дороги, напуганные шумной ватагой ребят, разлетались в разные стороны, гогоча и хлопая крыльями. И только один толстый серый гусак, вытянув шею и шипя, ещё долго бежал следом за ребятами и старался больно ущипнуть клювом за пятки…

Шурка с гордостью подумал, что сегодня гусак не будет щипать его пятки, потому что он будет бежать за ободом первым.

Так, в мечтах, он дошёл до своей калитки. Из дома слышны были громкие причитания матери. Мечты моментально улетучились, и он стрелой влетел в избу. В полутьме комнаты Шурка не сразу разглядел скорчившееся на лавке под образами тельце Витьки, который то тихо стонал, то громко выл.

— Погодь, Витяня, потерпи миленький, — суетилась вокруг него мать.

Её ссутуленное тело сейчас казалось ещё более худым и маленьким. Увидев в проёме дверей старшего сына, она обрушилась на него:

— Где ты ходишь? Витька ужо умирает, а ты, окаянный, ушёл, и с концами. Немедля беги к лекарке бабке Лукерье. Знаешь, поди, где она проживает?..

— Да знаю, мамак, знаю. Последний дом у околицы. А что случилось-то?

— Витька ужо опять животом мается, горемышный. Кабы знать, как подсобить. Ж-а-а-алкенький мой сыно-очек, — нараспев затянула тонким голосом мать.

Она, как подкошенная, плюхнулась на колени и, задрав голову к иконам, быстро и неистово стала креститься, постоянно громко спрашивая:

— Господи, за что?.. Помоги, Господи, чаду моему Витяне...

Она резко наклонилась вперёд, ткнувшись лбом в деревянные половицы, задрав кверху задницу. До Шурки доносились отдельные, отрывистые слова: «Иисусе Христе… Богородица… раб Божий… Святые угодники…»

Так же резко выпрямившись, мать гневно посмотрела на сына и неожиданно громко и визгливо закричала:

— Ты ещё стоишь, окаянный? Немедля беги!

Шурка от неожиданности отшатнулся, зацепился ногой за порожек и со всего маху рухнул в тёмные сени. При падении обод, который он всё ещё прижимал к груди, вырвался из рук и полетел куда-то в темноту… Раздался звон разбитого стекла и дребезжащее падение обода.

Но Шурка уже не слышал ни сердитых криков матери, ни стонов брата. Он бежал по единственной деревенской улице, и пыль уже не струилась прохладой между пальцами. От постоянной ходьбы босиком кожа на подошвах стала толстой, как кирза. Потому он не замечал ни острых камушков, ни сучьев веток, попадавшихся на дороге. Да и не до них было сейчас. — Он бежал, и только ветер свистел в ушах. Он бежал, а следом бежали, наверное, все деревенские собаки. Они громко лаяли, без злобы, больше играючи, хватали его за штаны и пятки. Пытаясь избавиться от собак, он пинался и брыкался, как норовистый жеребёнок.

— У, твари проклятые… сволочи… шельмы окаянные... — Шурка ругался, на чём свет стоит. Благо, в деревне есть у кого учиться. Улица была безлюдной, поэтому он не стеснялся в выражениях.

Но вот, наконец, собаки отстали. Вдали показалась околица и изба бабки Лукерьи, огороженная плетнём, который местами повалился, а местами и вовсе сгнил от времени. Старая изба покосилась на одну сторону. Соломенная крыша зияла чёрными дырами, кое-где прикрытыми сверху старой ветошью.

Шурка изрядно устал и запыхался. Он шёл к избе, свернув с дороги на узкую и едва заметную в густой и высокой траве тропинку. Шёл и смотрел на два окна Лукерьиной избы, которые, как ему показалось, тоже смотрели своими глазницами с бельмами, но не на него, а в разные стороны. Когда он подошёл и потянул за щеколду, то дверь оказалась незапертой и легко открылась. Шурку обдало кислым, спёртым воздухом. Он с порога позвал:

— Бабка Лукерья, ты дома?

Внутри дома что-то скрипнуло, стукнуло. Послышались шаркающие шаги. В проёме двери показалась чёрная и лицом, и одеждой старуха.

— Чаво надо? — недружелюбно спросила она.

— Меня мамака прислала. Витька сильно животом мается. Скорее собирайся.

— Скоро сказывается, да не скоро деется, — скрипуче ответила Лукерья. — Ты кто будешь-то?

Она близоруко прищурила глаза, всматриваясь в незваного гостя, отчего

её лицо стало похоже на весенний гриб-сморчок, который так же, как и Лукерья, чёрен и морщинист.

— Да Шурка Иванов я, бабка Лукерья. Пойдём быстрее. — Витька умирает.

— Господи, прямо уже и умираеть? Впервой разве? Небось, опять чаво нажрался? — сердито прошелестела старуха, шамкая беззубым ртом и тут же спокойно добавила, — ну, коли надо идтить, то пойдём. Снадобье только прихвачу.

Лукерья не спеша, такой же шаркающей походкой, пошла вглубь дома. Из темноты комнаты, как из погреба, выскочила худая и такая же чёрная, как её хозяйка, кошка. Шарахнувшись от Шурки, она убежала за угол избы. Провожая взглядом кошку, он только теперь увидел огромного, как телёнок, пса, который лежал поодаль, положив голову на передние лапы, и с любопытством следил за гостем. Шурка сразу заметил, что он без привязи. Пёс глухо зарычал, оскалил зубы и медленно стал подниматься во весь свой исполинский рост.

Шурку, как ветром, сдуло с крыльца, и он очутился внутри бабкиной избы, которая была без сеней, поэтому он сразу попал в комнату. Комната была очень маленькой с серыми, давно не белеными, стенами. Большую часть комнаты занимала печь. Между окнами стояли стол и придвинутая к нему лавка. Вот и вся обстановка комнаты. В углу под потолком несколько закопчённых икон, на которых от копоти уже и не просматривались лики святых. Чуть поодаль на стене, в рамке, несколько пожелтевших фотографий.

В углублении между стеной и печкой что-то шелестело и позвякивало… Временами вздыхала, кряхтела и охала старая лекарка.

— Большая у тебя печь, бабка Лукерья. Прямо не печь, а печище.

— Да, милай, я всеми бита и об печь бита, только печью не бита… Коли вру, так дай Бог хоть печкой подавиться, — сердито ворчала Лукерья и, как казалось Шурке, совсем невпопад. Однако она продолжала:

— А вот коли баба с печи летит, так сто дум передумает… Да, печь, как мать родна, внучек. На печи всё красное лето. — Бывало, сидишь у печи да слушаешь людские речú. Добрая-то речь возля тёплой печки… Вот так и жизнь пролетела. А таперича — лежу на печи, да грею свои плечú. Вот так-то. Эх-хе-хе, — грустно закончила Лукерья.

— Ну, пошли, милай, пошли. Поспешать надобно, — продолжила Лукерья уже добрым скрипучим голосом, выходя из-за печки с узелком в руках.

Лукерья шла медленно, согнувшись в пояснице и тяжело опираясь на клюку. Казалось, что земля притягивала к себе её тело — изболевшее, и много чего перенесшее за свою долгую, трудную жизнь.

По дороге, пока шли домой Шурка спросил:

— Бабка Лукерья, зачем тебе такая большая собака?

— Правда твоя, не нужна мне она. Приблудилась весной. Куды её таперича девать — сама не знаю. Живёт, не уходит. А чаво мне охранять-то? Стены одни да печь. Вот и всё моё богатство. Отродясь дверь не запирала. Пусть живёт. Может, ты куды пристроишь?

Шурка ничего не ответил, а Лукерья продолжала:

— Да, внучек, как жизть-то пролетела, а как живо всё помню, будто намедни всё и было. И муж был, и нету горемычного. А какой мужик-то был — расторопный да проворный. А работник какой! Таких таперича и нету мужиков-то. Вместе с сыночком в Гражданскую войну сгинул, как и не было их вовсе. Кабы хоть кресту поклониться, так и креста нетути. Эх-хе-хе…

Лукерья остановилась, со вздохом перекрестилась и совсем уже обречённо продолжала:

— Живой не без места, мёртвый не без могилы. Эх-хе-хе, — снова вздохнула Лукерья.

Шурка всю дорогу молчал, а тут не выдержал:

— Бабка Лукерья, что ты все заладила о покойниках, да о могилах. Аж жуть берет.

— Да, милай, живому именины, а мёртвому помины. Покуда жив человек, голодной смертью помирать не станя. Будем, внучек, лечить твово братца. Авось и заработаю чаво на обед. Поспешать надобно.

Но поспешать у Лукерьи не получалось. Она шла, еле переступая больными ногами, переваливаясь, как утка. К полудню они наконец-то доплелись до места. Когда вошли в дом, то Шурка не сразу узнал мать. Лицо её распухло от слёз и было таким же чёрным, как у лекарки. Витька лежал на лавке навзничь и был весь белый. Он уже не стонал, а только хрипел.

…Лукерья сразу будто помолодела лет этак на двадцать. Движения её стали быстрыми, речь — то отрывистой, то тягучей. Она подошла к Витьке, ткнула пальцем в живот и задумчиво сказала:

— Тугой, однако. Прасковья, топи печь, будем чугунок греть. Чугунком эту болезть и выньмем, — громким приказным голосом заговорила Лукерья и, улыбаясь, подмигнула испуганному Витьке:

— Не боись, выньмем эту окаянную болезь-то.

Шурка забился в дальний угол комнаты. Ему было страшно. Он издали наблюдал, как мать возилась у печи, а лекарка хлопотала возле Витьки. Время от времени она выпрямлялась и, как генерал, покрикивала то на мать, то на Шурку. Печка никак не хотела разгораться. Весь чад и дым валили в комнату. Обессиленная мать металась от печки то к Витьке, то к Лукерье, пыталась помочь, но только мешала.

Наконец-то печь растоплена, и Лукерья велела Шурке достать из печи горящую головёшку и окурить ею комнату.

— Окури хорошо, — аккурат, все уголочки обойди. Надобно выгнать нечистую-то, — командовала лекарка. — Дом пахнет дымом, а гроб ладаном.

— Акстись, бабка Лукерья, что ты несёшь-то? Будя, буравить-то. Какой гроб? Свят, свят, свят... — запричитала испуганно мать и быстро стала креститься на иконы.

Шурке от этих слов стало совсем плохо, голова закружилась, глаза наполнились слезами от дыма и от жалости к Витьке. Ничего не видя перед собой, он вслепую тыкал головешкой в разные стороны. Головешка трещала

и больно стрелялась угольками на оголённые Шуркины руки и ноги. Слёзы ручьём полились из глаз. — Шурка зажмурился и ткнул головёшкой прямо в бабку Лукерью.

— Шурка, обалдел, небось! Хватя уже, дом подожжёшь, окаянный, — заворчала лекарка, продолжая мазать маслом вздутый Витькин живот.

Мать стояла рядом и, отворачиваясь, смахивала слёзы краешком передника. Тоненьким голосом она тянула:

— Терпи, Витяня. Терпи, мил-а-а-ай. Родненький мой, Витя-я-я-нечка…

Лекарка, между тем, взяла в руки нагретый в печи чугунок и со словами: «Ничего, родился — огнём крестился, состарился — пеленами повился», — и, перевернув чугунок, плюхнула его на голый, лоснившийся от масла вздутый розовый Витькин живот. Витька заорал, задрыгал руками и ногами. Но тепло, которое исходило от чугунка, постепенно успокоило его.

Мать и бабка Лукерья сидели по обе стороны от больного и наблюдали за ним. Шурка, вытянув шею из угла смотрел, как чугунок втягивал в себя Витькин живот. Ему было странно, что Витька молчит. Ему казалось, что это очень больно. Шурка всё больше съёживался, подтягивая колени к самому подбородку…

«Так и живота совсем не останется. Какой храбрый Витька», — подумал он и… «сглазил».

Витька начал плакать, лекарка и мать успокаивали его и просили потерпеть ещё немного. Однако он терпеть не хотел и плакал всё громче и громче. Когда же Витька стал орать во всё горло, мать попросила:

— Лукерья, снимай, ужо. Небось, болезь вышла… Больно, чай, ему-то.

— Ишь ты, больно ему. Жрать зелёные ранетки не больно, а лечиться больно. Куды там, терпи! — генеральским голосом приказала Витьке лекарка.

Но Витька терпеть не хотел и орал всё громче. Шурке было невыносимо жалко брата, и неожиданно для самого себя он подскочил к бабке Лукерье и стал кричать на неё:

— Снимай немедленно!

— Ах, немедля? Прямо щас и сыму, глядите вы, — язвила Лукерья.

Тогда Шурка приблизился вплотную к лекарке и гневно посмотрел в её насмешливые глаза. Мать, которая до этой минуты покорно исполняла все приказания Лукерьи, поддержала своего старшего сына, и бабка Лукерья сдалась и уже миролюбивым голосом, будто ничего и не произошло сказала:

— Ладно, не орите, сыму уже.

Она подошла к Витьке и стала затискивать свой скрюченный ревматизмом палец между чугунком и животом, пытаясь пустить воздух внутрь чугунка, что бы он отсоединился от живота. Но чугунок прилип к животу намертво.

Витька продолжал орать так, что у Шурки закладывало уши. Но грязный, чёрный от сажи палец лекарки никак не хотел залазить в чугунок, который всё тянул и тянул в себя Витькин живот. Шурке уже казалось, что не только живот, но и весь Витька с руками и ногами скоро скроется в этом проклятом чугунке.

Шурка стоял рядом с лавкой, на которой лежал многострадальный брат,

и глаза его от ужаса раскрывались всё шире и шире. Он не мог говорить, а только наблюдал, как мать, заламывая руки в бессилии, бегала вокруг с причитаниями:

— Ты уже чаво, старая… Ты чаво, сымай немедля. Щас я тебя, колдунью старую, задушу. Сымай, говорю! — распалялась мать.

— Милая, щас… милая, щас, — бормотала бабка Лукерья и всё тыкала и тыкала свой палец под чугунок. Но чугунок точно приклеился и покидать живот никак не хотел.

— Шурка, беги за дедом Спиридоном, — крикнула мать в отчаянии, едва не теряя сознание.

Оцепенение мгновенно слетело с Шурки. Благо, что дед Спиридон жил по соседству. Долго объяснять ситуацию Шурке не пришлось. Дед Спиридон понял всё с первых же сбивчивых слов. Глаза его сердито сощурились, брови хищной птицей опустились на самые веки, губы побелели. Он молча вышел из дома, в дровняке взял топор и стремительной своей походкой — головой вперёд — быстро пошёл по улице. Ноги у него, как всегда, не успевали за стремительностью головы. Он шёл, рассекая воздух седой, почти лысой головой, широко размахивая топором.

«Наверное, убить хочет бабку Лукерью», — пронеслось в голове у Шурки. Он еле поспевал за дедом. — «Ну и поделом ей. Лекарка называется. Пришла, а лечить не умеет. Вот сейчас дед Спиридон ей покажет…» — рассуждал на ходу Шурка. О том, что именно дед Спиридон должен показать бабке Лукерье, он не задумывался. Но ему очень хотелось чем-то наказать Лукерью, которая, по мнению Шурки, так мучила брата.

— Покажи, покажи ей, дед Спиридон! — в спину деду кричал Шурка. Он торжествовал.

Первым в комнату влетел весь взъерошенный, красный и запыхавшийся дед Спиридон. Его сердитые брови то поднимались на лоб, то опускались вниз. Отчего-то казалось, что глаза стреляли искрами.

— Лукерья, ты не лечишь, а в могилу мечешь, — гневно прорычал он с самого порога, размахивая топором и направляясь в сторону Лукерьи, которая колдовала вокруг Витьки.

«Вот сейчас он грохнет её», — протискиваясь вперёд, думал Шурка.

Бабка Лукерья резко выпрямилась, лицо её из чёрного вдруг стало белым. В глазах — ужас и страх. Мать, его маленькая и хрупкая «мамака», вдруг встала впереди Лукерьи, стрельнула сердитыми глазами на деда Спиридона.

— Опомнись, Спиридон, — вдруг громко заговорила мать и, растопырив руки, загородила бабку Лукерью.

Шурка растерялся. С одной стороны он видел, хотя и старого, но сильного мужчину, а с другой стороны двух беззащитных женщин, а за ними Витьку на лавке.

Но дед Спиридон решительно оттолкнул рукой мать и бабку Лукерью в сторону. Подошёл к лежавшему с чугунком на животе Витьке, оравшему во всё горло. На мгновение дед остановился, глянул на Витьку сердитыми глазами, потом на чугунок, поднял руки с топором кверху и замахнулся.

Шурка от ужаса зажмурился. «За что Витьку-то?» — пронеслось в голове.

Он открыл глаза, хотел схватить деда Спиридона за руку, но в следующий миг увидел и услышал, как топор опускается к чугунку и несильно стукает его обухом по боку. Слышится звон удара топора об чугун… А в следующий миг осколки чугунка посыпались на пол.

Витька сразу замолчал. У Шурки подкосились коленки, и он в изнеможении плюхнулся на пол.

Мать облегчённо вздохнула.

— Ну вот, кажись, и вылечился, — спокойно, как ни в чём не бывало, прошамкала бабка Лукерья.

— Да, дурака учить, что мёртвого лечить. Это я о тебе, Лукерья, — уже спокойно насмешливым тоном сказал Спиридон.

Лекарка же сделала вид, что не расслышала насмешку Спиридона и продолжала:

— Пелагея, дай хотя бы яичек. Давеча бесплатно тебя лечивала. За два раза, ладно уж, десяток яичек хватя.

— Шура, яйца там, в сенях, в кошёлке, принеси… Спасибо тебе, бабка Лукерья, за подмогу, и тебе, дед Спиридон, за то, что, ужо, вовремя ты подоспел.

Мать засуетилась по комнате, лекарка осторожно перекладывала яйца из кошёлки в свой узелок. Всё пошло своим чередом.

Дед Спиридон сидел возле накрытого одеялом Витьки и гладил его мокрые от слёз и пота волосы и щёки, к которым постепенно возвращался румянец. Немного погодя, когда Витька убежал за сарай по нужде, дед Спиридон крякнул, погладил рукой свой широкий подбородок и, повернувшись к Пелагее, сказал:

— Как же так, Пелагея? А кабы загубила Витьку-то? Чай, 32-ой год на дворе, а ты — лекарку в дом. Дохтурша вон в районе есть. Сказала бы. Запряг бы Маечку и отвёз Витьку к ейтой дохтурше… Ай, Пелагея, Пелагея. — Ума у тебя нет.

— Шибко ты умный, дед. Сам давеча с чирем к бабке Лукерье ходил.

— Так то чирей, а то живот. Надо понимать, Пелагея.

— Всё обошлось, дед, и слава Богу! И спасибо тебе за помочь. Ступай с богом. Дел полно. Некогда лясы точить. Будя ужо.

Вечером Шурка сидел у окна и смотрел, как струи дождя лижут оконное стекло. Дождевая вода во дворе сначала образовала лужи, потом эти лужи превратились в море, а потом вода огромной речкой потекла на улицу, образовав там всемирный потоп. — Так размышлял Шурка под спокойное Витькино посапывание на печке… А ещё он думал: «Как хорошо, что все остались живы и здоровы. Если не будет бабки Лукерьи, то кто же будет лечить людей в деревне?.. Нет, пусть живёт. Да и не виновата она. Витька сам наелся зелёных ранеток в саду у Агрипины. Пусть живёт эта старая лекарка. Как же без неё-то?»

За всеми этими хлопотами Шурка совсем забыл про велосипедный обод, который валялся где-то в пыльных сенях…

Елена Родченкова

ПРИШЁЛ СЕРЕНЬКИЙ…

Разлеглись мы, дураки,
В колыбеленьке...
Глазки – в кучку,
В ряд – клыки –
Пришёл… Серенький.

Льстивый, льнёт и говорит:
«Что брыкаетесь?
Распустили пузыри,
Улыбаетесь...
Повернитесь на бочок
В люльке, ляленьки!
Пришёл серенький волчок,
О-очень маленький.
Вы ж – великие, как Русь!
Попки беленькие,
Укачать я вас берусь –
В колыбеленьке…»

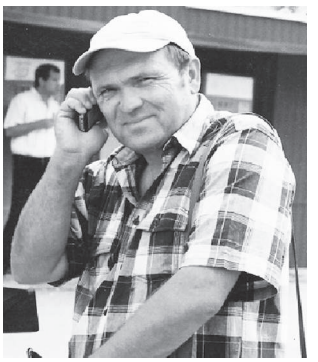
Он качает и поёт
Песни разные.
Белые клыки его
Стали – красные…

Родченкова Елена Алексеевна, поэт, прозаик, публицист, член СП России (1997), родилась в г. Новоржеве Псковской области в 1965 г. Закончила библиотечный факультет ЛГИК им. Крупской и юридический факультет СПб ГУП.

Лауреат Всероссийских литературных премий им.В. Белова, им.Э.Володина «Имперская культура», автор 25 книг.

Живёт и работает в г. Санкт-Петербурге.

Степан Деревянко



ПОЛЫНЬ НЕ БЫВАЕТ СЛАДКОЙ

(Эссе)

Я никогда не был в Чернобыле, хотя родился от него недалеко, а будучи взрослым, оказаться там мог. И не соглядатаем в какой-либо роли, а простым ликвидатором последствий Чернобыльской аварии, точнее — дезактиватором со штыковой лопатой, или тем же самым, но с ведром и тряпкой. Ибо это были обычные дезактивационные орудия, которыми, одетые в солдатскую робу, «дымари» или иначе — «партизаны» (то бишь резервисты), мои немолодые земляки каневчане, и иже с ними, спасали Советскую Родину от последствий ядерной катастрофы. И в первую очередь «нэньку Украину», ставшую теперь головной болью моей России…

Так как же я мог оказаться в далёком 1986-ом, или через год, как другие, в Чернобыле? Ровно тридцать лет назад, 26 апреля, — взорвался (был слышен просто сильный хлопок) четвёртый энергоблок атомной электростанции. Радиация накрыла Кубань и — дальше… Я помню свои ощущения тех дней: весеннее солнце не грело, а жгло кожу. Непонятно от чего побелели и высохли молодые огуречные плети. Районный военком пошёл к первому секретарю райкома партии, помялся и сказал:

— В районе радиация, Прокофий Петрович, три рентгена, что будем делать?

— А что можно сделать? Сеять панику не будем, первомайскую демонстрацию отменять тоже не будем… если не дадут указания.

Указания не последовало. Первого мая шли колонной перед трибуной у райкома, кричали «Ура!», вздымали повыше портреты советских вождей, пели песни, пили, кто что достал.

Степан Павлович Деревянко, прозаик, публицист, член Союза писателей России, родился в 1951 году. Вырос на хуторах Сухие Челбасы и Мигуты на Кубани. После службы во Флоте, где опубликовал свои первые новеллы и рассказы, поступил на отделение журналистики Ростовского университета, которое закончил, отдав предпочтение жанру очерка. Работал учителем русского языка и литературы, был редактором на радио и выпускал колхозную многотиражку. Был собкором российской газеты «Крестьянин» и журнала «Деловой крестьянин» в Краснодарском крае. Автор сборника новелл и рассказов «Я всё помню».

Живёт и работает в станице Стародеревянковской Краснодарского края.

А радиация?..

— Та хто йи бачив? Чи есть вона, чи нэма? Вона як той геморрой: ны сам ны подывыся, ны другим ны покажишь…

И хохотали над шуткой.

А в июне того же 86-го из района в Чернобыль по двести третьему приказу «Кубаньморнефтегазпрома» откомандировали для помощи родственной украинской организации первых работников цеха крепления скважин — Врублевского В.В., Курнякова К.Ф., Горбунова П.Р., Погорелова А.А., Савченко Н.Д. и Мушниченко В.В. И они стали там, в самом пекле, колотить жидкий цементный раствор и заливать его под аварийный реактор. Так, в общем-то, крепят нефтяные или газовые скважины.

Я тогда работал машинистом башенного крана, и мы строили в райцентре многоквартирную пятиэтажку. Через метров тридцать от нас стояла такая же жилая «коробка», и в одно утро, в начале смены, у её подъезда остановился УАЗик, и военкоматовский офицер открыл багажник. Под ноги ему высыпалась куча свежего крупного судака. Мне из кабины крана всё было видно, и я крикнул:

— Эй, капитан, на какую удочку ловил — на военную или на партийную?

В бригаде каменщиков засмеялись.

— Я тебе, мать твою… — пригрозил капитан. — Поедешь у меня стачивать язык в Чернобыль. Там и поязвишь.

Но не послали в ад. — То ли забыл про меня «рыбачок», то ли не дала моя флотская служба. Послали других, которых теперь называют «ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС», и которые теперь волею судьбы разделены на живых и мёртвых.

И я, немолодой годами писатель, по просьбе районного Совета ветеранов чернобыльцев собрал материалы для книги о них, которую, надеюсь издать к тридцатилетию аварии на станции. И мне теперь не даёт покоя Чернобыль. — Уж больно тяжко видеть людское горе, слушать о нём, сопереживать больным пожилым людям, видеть глаза вдов, глядящие в никуда… А иной раз и отвечать на вопрос: «Вот почему меня послали туда, а его не послали? Откупился? Отмазали?» Может, и так, и такое, говорят, было, но я, сами понимаете, не судья и не Бог. — Но было и другое. Агроному из станицы Новодеревянковской Борису Ивановичу Смирнову в колхозе предложили эту самую «отмазку», а он ответил:

— А как я потом людям в глаза буду смотреть? — И поехал, куда Родина послала. Теперь, естественно, облучён, болен, инвалид и пенсионер… слава Богу, что живой.

А Юрий Александрович Агафонычев, мастер, прораб ПМК-49, который любил добиваться во всём порядка и справедливости, и в послужном списке которого осталось более десяти построенных многоквартирных домов и школ в районе, а также Дворец спорта колхоза Победа», когда получил повестку в Чернобыль, тоже мог «откосить», но ответил сыну Алёшке просто:

— Если я не поеду, тогда то, что я не сделаю в своей жизни, придётся доделывать тебе, сынок.

На День Победы в 2011 году умер строитель от болезней, связанных с Чернобылем…

История Алексея Петровича Александрина, колхозного газосварщика, — как сейчас любят говорить, просто шокирует. Срочную он не служил из-за болезни, Присягу не принимал, а военкомат его призвал, хотя у него было двое маленьких детей, и он строил дом (а таких призывать не полагалось). Почему призвал? Вот тут, похоже, Александрин пошёл «за того парня». Сестра хотела устроить скандал в военкомате, но Алексей Петрович запретил ей это делать и ответил:

— Значит, я Родине нужен, — хоть теперь ей послужу.

И гордился, что его отправляют на ответственное дело. Там, в Чернобыле, тридцатисемилетний мужик принял присягу, резал и сваривал металл на самом аварийном блоке. Домой вернулся чуть живым, ему дали инвалидность и назначили персональную пенсию, которую он так ни разу не получил, потому что вскоре умер.

…Я могу говорить о судьбах других чернобыльцев, живых и уже ушедших от нас, но хватит и этих трёх, и от них тяжело. И я спрашиваю себя: что двигало этими, по сути — гражданскими людьми, призванными в нелёгкий час? Ведь можно было не поехать. Воспользоваться, как говорит мой знакомый чиновник, «золотым ключиком», который открывает все двери и все возможности, — чинодрал ключик вместо креста носит… Двигали — совесть, патриотизм. А на каком уровне эти качества, как хотите, думайте: на простом человеческом или на высочайшем гражданском — неважно — золото любой пробы всё равно золото.

Тогда, на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы, из моего Каневского района в 1986-87 годах отправили 214 резервистов (очень может быть, что данные неточные). В 2015-ом их в живых осталось меньше восьмидесяти… И я склоняю перед ними — живыми и мёртвыми — голову. Склоняю и говорю: «Живые — живите без болей, а покойным — Царствие Небесное за подвиг земной во имя Отчизны».

А в начале учебного года, первого сентября, меня, как писателя, пригласили в школу на праздник Знаний, где тема урока была посвящена единству народа. И я рассказал детям о чернобыльцах, о том единстве, о котором один из них сказал мне: «Люди тогда такие были, цены им не сложить. Знали, что от радиации долго не проживут — врачи предрекали в лучшем случае 7-10 лет, а мы ещё, видишь, живы. Но главное не это. Главное, что эти люди тогда и на врага пошли бы с лопатами, которыми заражённый грунт кидали в КАМАЗы. За Родину пошли бы!» Рассказал детям, а сам подумал, много ли теперь в моей стране, где всё решают деньги, случись беда, найдётся таких: не отмазавшихся, не откосивших, особенно среди богатых? — Ответ, думаю, известен.

Когда были живы мои родители, они держали в хуторе корову. И я любил с отцом пасти, в очередь, хуторское стадо. За ручьём, на сухом взлобке балки, бурёнки любили в обеденную жару полежать, пожевать жуйку. Взлобок весь

отливал сединой полыни, и в её запахе коров не так донимали мухи и оводы. Любил в полыни, подстелив ватную фуфайку, отдохнуть и я. Отец присаживался на скамеечку. И как-то — я лежал, вдыхал полынный дух, смотрел на облака, а потом положил на зуб махонький жёлтый цветок полыни. Ощутил горечь и сказал:

— Гирка, бисова душа…

— Полынь ны бува сладкой, сынок, — ответил отец и задумчиво добавил. — Як и жись чёловичья.

И теперь, думая о чернобыльцах, я вспоминаю слова отца. И чувствую, как глядят сквозь меня глаза вдовы ликвидатора аварии Любови Александровны Хрюкиной из станицы Новоминской, бедно одетой, больной женщины, и слышу её слова-печати: «Ныма ёго, понимаетэ, ныма. Други е, а ёго ныма. И нычёго мини от Вас ны нада. А фотокарточку ось найшла одну, но вона помнята, и вин тут боком», — говорит она, чтоб я «отвязался» со своей книжкой. А во дворе, просторном и чистом, две их с покойным мужем Валерием Георгиевичем внучки играют с козочкой и хохочут-заливаются…

Забвение

Николай Пидласко

РАССВЕТ

РАННИМ УТРОМ

Повиты мглой лиловой берега,
Рассвет в поля отряхивает звёзды…
И в тишине молитвенной луга,
И запахом весны пропитан воздух.
И нежно трётся мне об ноги кот,
И от реки несутся всплесков звуки,
И мама в хлев с подойником идёт…
И ей корова лижет, лижет руки…

В ПРИАЗОВЬЕ

Уходит ночь – рассвет дымится…
Степь – в золотящейся пыли…
Зерном налившись, наклонился
Ячмень – почти что до земли…
Над новой Родиною небо
Всё той же синей глубины. –
Вдыхаю запах утра, хлеба
И грусть утраченной страны…

Пидласко Николай Тихонович, поэт, член Союза писателей России, родился в с. Ки́рнасовке Винницкой области (Украина). Образование высшее. Автор нескольких поэтических книг.

Живёт и работает в г. Колпино, Санкт-Петербург.

В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.

Юмор... Юмор...

Вячеслав Зименко

ШОУ ПОД ДОЖДЁМ

(Антиалкогольное эссе)

Я, конечно, расскажу о дожде, но чуть позже. А сейчас разрешите познакомить вас с персонажами моего повествования.

Дело в том, что «экипаж» нашего подъезда… пьёт! Нет, не подумайте чего плохого: дом у нас вполне нормальный, среднестатистический, без особых «заслуг и замечаний». Можно, конечно, возразить: «Экая невидаль! Сейчас не пьёт разве только Кувейтский верблюд!» Так-то оно так, только наши «клоуны», употребив горячительное, удивляют Мир разнообразием вновь приобретённых устремлений.

Вахтовик Вован с четвёртого этажа около месяца тяжёло работает где-то за пределами цивилизации. Вернувшись домой из командировки, он днями в подпитии бесцельно бродит по двору и, как говорят на Дону, «крутит мухам дули». Мужчина разведён. Поэтому, убив четырьмя литрами пива (с пшыком «Дихлофоса») последний нейрон своей нервной системы, он начинает приставать ко всем проходящим мимо «особям» противоположного пола… Донжуан ещё ни разу не был бит, так как пристаёт не физически, а вербально, в виде россыпи на удивление редких (при убитом-то мозге!) комплиментов и умозаключений.

Сашка из цоколя ведёт себя по принципу: «Видишь суслика? И я не вижу. А он есть!» Тихий и незаметный в повседневности, набравшись до поросячьего визга, Санёк становится буйным и заметным. Почему-то начинает думать, что он — бывший десантник (хотя в армии не служил вообще) и призывает виртуальных друганов из своих глюков куда-то быстренько сгонять, чтобы «всех порвать на …»

Зименко Вячеслав Александрович, прозаик, член Союза писателей (2013). Уроженец Ростовской области. Окончил Горьковский военно-медицинский институт и Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. Служил на Тихоокеанском флоте судовым врачом, участвовал в дальних морских походах.

Автор книг прозы: «Несъедобный флот» и «Провинциальные истории». Публиковался в еженедельнике «Буфф-сад», журнале «ДОН_новый» альманахах «Дон и Кубань», «Культура Дона».

Живёт и работает в городе Ростове-на-Дону.

Отец и сын Кастрюлькины с пятого этажа гуляют обычно врозь, каждый в своём коллективе и желательно — что не всегда у них получается — в разные дни, чтобы один (трезвый) мог другого (пьяного) легонько пожурить за нарушение диеты и всё же принять домой. Причём сына частенько доставляет «скорая» (он там работает, кажется, не главным врачом). «Карета» долго стоит у подъезда с открытой дверью, потому что доставленный «больной» упорно не «желают» выходить из салона и «требуют» не выделываться, а довезти, как положено, до двери квартиры! Старший же Кастрюлькин умудрён жизненным опытом и в оном состоянии не похож на пьяного (пока молчит), однако всегда себя выдаёт «воспитательными» разносами:

— Сын-н-н-н! Ити его ни-хай!

— Ба-т-я!

— Ну, ты… как?..

— Нор-ма-лёк!

— С-с-ы-н-н-н! Его ни …!

— Ба-тя-тя! — Младший, выказывая уважение родителю, старается принять строевую стойку, а старший, придав лицу педагогическое выражение (брови в кучку, губы — трубочкой), уцепившись одной рукой за загривок сына, второй — грозит, и пальцем строго водит перед носом отпрыска. В этот момент всем окружающим, конечно, понятно, что один из собеседников сурово спрашивает, а другой осознаёт свой позор и раскаивается…

Притравленный напитком собственного производства Димка-немой, с третьего этажа, обязательно устрашающе громко мычит и, распугивая тусующихся у подъезда котов, «работает» альпинистом. — В любое время года и суток, принципиально игнорируя лестницу, подпольный винодел ходит домой исключительно через балкон, взбираясь на него по трубе газопровода. Яркий характер, неповторимые вкусовые и обонятельные нотки, особую консистенцию его «Божоле» придают махорка и горсть куриного помёта — добавленные в разлитое по трёхлитровым банкам, бурлящее под «голосующими» хирургическими перчатками виноградное сусло…

Теперь о заявленном дожде.

Его запахи нельзя спутать ни с какими другими. Аромат дождя! Он тонкий, неуловимый, не поддающийся определению. Но я точно знаю, что в непогоду он есть всегда! В воздухе смешиваются влага, прибитая ею дорожная пыль, намокшие кора и листья деревьев, молекулы электрического озона, с горчинкой прель, специфический парфюм цветущих растений и ещё сотни компонентов Бог знает чего…

Дождь лил, но в этот раз во дворе пахло бормотенью! Проезжая часть придомовой дороги уже утонула в бурных потоках и стала походить на средних размеров горную речушку. По лужам, намекая на предстоящую длительность начавшегося «метеорологического мероприятия», плыли крупные дождевые пузыри…

Стоять так, чтобы волны с шумом не разбивались о ноги, можно было только на бордюре, что «десантник» Сашка и пытался делать. Судя по амплитуде колебаний тела в пространстве, его мозжечок давно отказался выполнять функцию поддержания равновесия и уступил это жизненно важное право копчику, с помощью которого оно (тело) кое-как зафиксировалось на металлическом заборе.

Возможно, болоньевая куртка с капюшоном спасала её хозяина от намокания, а может быть, «десантники» в принципе дождя не боятся. Дождь шёл, а Сашка, подчиняясь какой-то высшей идее, всё стоял и стоял, взирая стеклянными глазами на непогоду. Рядом был родной подъезд со спасительным козырьком, но наш герой даже не глянул в его сторону. Он внимательно смотрел на дорогу, по которой, промокший до нитки, обречённо и неторопливо передвигался в его сторону «организм» незнакомого гастарбайтера.

Организм по причине опьянения, казалось, тоже не замечал ливня. Его спортивный костюм с дутыми пузырями на коленках, если верить надписи на спине — фирмы «Abibas», уже прилип к телу, а вода ручьями стекала по ткани в направлении чавкающих кроссовок, по щиколотку ног скрывающихся в стремительном потоке.

Поравнявшись с Сашкой, заезжий «организм» затормозил и тупо уставился на его куртку.

— Тыбэ хорошё. У тэбя ест куртка! — глубокомысленно заключил гастарбайтер (скорее всего — таджик).

— Ныряй, — радушно пригласил страдальца Санёк и оттопырил одежду почему-то в том месте, где спина теряет свои благородные очертания. — Гастарбайтер без лишних выяснений «нырнул» и затих. Под курткой скрылись только его голова и плечи, остальная часть таджикского тела торчала наружу и по-прежнему интенсивно мокла…

Минут десять конструкция из двух человек, сильно напоминающая циркового тряпичного коня-кентавра, пошатываясь, топчется по бордюру. Филейную часть «лошади» периодически заносит в сторону, и она бьётся о забор… Может, таджику надоело стоять буквой «Г», а может быть, ему не понравился газовый состав атмосферы под курткой, но он вдруг вынырнул «на свободу» и без какой бы то ни было прелюдии стал старательно и аккуратно душить своего благодетеля. — Неторопливо, словно в замедленной киносъёмке, Сашка сопротивляется. Действо напоминает что-то среднее между борьбой нанайских мальчиков и интимным танцем представителей ЛГБТ-сообщества. Миг — и «десантник», готовый упасть затылком на бордюр, зависает вниз головой на заборе. Следующий миг — и, после нечаянно проведённого Сашкой приёма «маё-гери-киками», таджик лихо прыгает на корточках и с гиканьем приседает, попутно, на всякий случай, проверяя рукой целостность своих «бубенчиков»…

После серии неточных ударов в «дыню» обе высокие стороны «садятся за стол переговоров». — Примирительно обнявшись, участники конфликта угощают недавнего своего врага самым дорогим, что у них есть на данный момент: Сашка даёт таджику отхлебнуть из початой бутылки, а гастарбайтер угощает «десантника» каким-то порошком, предусмотрительно спрятанным от дождя в целлофановый пакетик. Следующие пять минут драчуны отстранённо смотрят на окружающую их воду, а затем… с утроенными силами начинают самозабвенно снова «метелить» друг друга.

Видимо, желая всё же прекратить этот театр абсурда, дождь обрушился уже сплошной стеной на двух, буцкающих друг друга, человекоподобных существ! — И существа вдруг… потеряли всякий интерес к «действу» и, не оборачиваясь, «поплыли» в разных направлениях…

Занавес!

Нина Осташкова-Зенкова

ПРОПАДАЮ

Я без ласки пропадаю:
Ты со мной угрюм и строг…
Я черствею, засыхаю –
Не присмотренный цветок.
Слов холодных и суровых
У тебя полным-полно. –
Неужели, жалко слова,
Что согреть меня могло?
Я могу ответить грубо.
Будет ругань – ну и пусть!
Нет!.. «Сцеплю» покрепче зубы…
Или лучше – «отшучусь».
…Эти «шутки» слышат дети.
Как не можешь ты понять? –
Им больней всего на свете
За обиженную мать!..
На истерзанной подушке
Мне в ночи не спать опять
И под маской равнодушной
Боль души моей скрывать, –
Что без ласки пропадаю,
Пропадаю без тепла…
Пропадаю, забываю,
Что любимою была…

Нина Осташкова-Зенкова родилась в 1954 году в Западной Сибири. Окончила библиотечный факультет МГИК. Издала сборник «Доверюсь музыке стиха» (2005). Как автор и исполнитель — дипломант (2003) и лауреат (2008) фестивалей авторской песни, а также финалист поэтического конкурса «Библиопарнас».

Живёт и работает в Смоленской области.

Детям... Детям...

Людмила Хлыстова

СКОЛЬКО ВСЕГО ИНТЕРЕСНОГО!..

Рассказы для детей

ЛОВУШКА ДЛЯ ЁЖИКА

Дети играли в мяч на садовой аллее. Вдруг старшая из них — Юля — замерла и стала всматриваться в низкий кустарник возле дачного домика.

— Смотрите, ёжик! — вполголоса произнесла она.

В траве деловито расхаживал ежонок. Было видно, что он молодой, как говорится, непуганый. Ёжик с любопытством совал нос то в пёстрое семейство анютиных глазок, то в кем-то забытое опрокинутое детское ведёрко…

Дети затаились и наблюдали за колючим малышом.

Неожиданно ёжик, быстро перебирая маленькими лапками, направился прямо в сторону бросивших игру ребят. Он выскочил на аллею, увидел детей и остановился в растерянности.

— Давайте поймаем его! — предложила Юля и загородила ёжику ладонями пути к отступлению.

Артёмка и Вероника тоже сложили ладошки, устраивая колючему проказнику западню. Лишь маленькая прореха осталась в кольце из детских рук, — ладошек не хватало.

— Паша, скорей! – крикнула Вероника, боясь, что ёжик убежит из «ловушки».

Хлыстова Людмила Александровна, прозаик, член Союза писателей России (2011) родилась в с. Самарское Ростовской области в 1951году. Отец — юрист, мать школьный учитель. В 1961 году семья переезжает в Таганрог. Рассказы Людмилы Хлыстовой публиковались в журналах «Дон»,в альманахах «У солнечных часов», «Дон и Кубань» и др.

Хлыстова автор пяти книг прозы и поэзии, Лауреат областных литературных конкурсов в честь 150-летия А.П. Чехова и 70-летия Победы в ВОВ.

Живёт и работает в городе Таганроге Ростовской области.

Трёхлетний Павлик, с опаской глядя на невиданную «колючку», подставил ладошки.

Кольцо замкнулось. Ежонок потыкался то в одну, то в другую сторону, но дети крепко держали «ловушку». И тут зверёк, что-то сообразив, ринулся прямо на Павлика. Видно, почувствовал «слабое звено»!

Смотрит Паша — катится на него колючий шар, ещё и фыркает! Испугался и разнял ладони.

Недолго думая, пленник «стреканул» в заросли соседского малинника и ушёл!

А дети ещё долго смеялись и подтрунивали над Павликом…

ТАНЕЧКА И БАРСИК

В одной семье жил красивый белый котик Барсик. Молодой, озорной и непослушный. Хозяйку его звали Танечкой. У Танечки были две весёлые косички, и она уже ходила в школу.

Жили они в просторной, солнечной квартире, — тут и там стояли диванчики и кресла, на которых лежали яркие подушки. Барсик обожал на них валяться. А пол был устлан ковриками, о которые отлично точились коготки. Одно плохо: квартира находилась на шестом этаже, и Барсика не отпускали гулять на улицу.

Танечка очень любила своего котика, хотя иногда журила его за проделки и даже наказывала. Однажды, когда Барсик вздумал порыться в цветочном горшке, хозяйка накричала на него и потрепала по загривку. Барсик с испугу забрался под диван и целый день не выходил к Танечке. Потом они помирились, и хозяйка дала ему целую мисочку вкусных сочных рулетиков «Вискас».

Как и всем кошкам, Барсику нравилось сидеть на подоконнике. Он никогда не стоял лапами на земле, но, кажется, там, внизу много занятного. На улице, едва не задевая крыльями оконное стекло, носились и кричали стрижи. Эти надоедливые птицы очень беспокоили Танечкиного дружка. Он вставал на задние лапы, следил за ними и недовольно мурчал. Однажды Барсик даже прыгнул на открытую форточку, чтобы поближе разобраться с этими крикунами. Но Танечка ахнула и быстро сняла его с подоконника.

— Нельзя туда, нельзя! — встревоженно говорила она, прижимая его к себе. — Там очень высоко, Барсик!

Барсик обиженно фыркал и сердился из-за того, что ему помешали. «Танечка, видно, совсем глупая, если так часто повторяет это своё «нельзя», — решил котик. — Почему нельзя сидеть на форточке? Почему нельзя грызть шнур от телевизора, если чешутся зубки? Почему нельзя ходить по столу, если там так вкусно пахнет… И драть когтями бабушкин шифоньер, почему нельзя?..»

Как-то бабушка вышла на балкон и не заметила, что Барсик выскочил за ней. Он хорошо знал: на балконе ему гулять запрещено, но при каждом удобном случае оказывался там. Сколько всего интересного было на балконе!

Там стояли вёдра и кастрюли, старое плетёное кресло-качалка, растрёпанный веник, который Барсик пробовал грызть, ящик с картошкой, — от него остро пахло чем-то чужим, таинственным и влекущим.

Однажды на балкон упала бабочка. Как заправский охотник Барсик прыгнул на неё и поймал. Она беспомощно трепетала цветными крыльями, а котик, прижимал её лапкой к полу и играл с ней, пока бабушка не загнала его с балкона в комнату.

Наверное, сегодня бабушка была чем-то озабочена. Она повесила сушить бельё и ушла, забыв про Барсика. Шалун нарочно спрятался за ящик с картошкой, и старушка его не увидела. А Танечка не вернулась ещё с прогулки, заигралась с подружками.

Котик остался один и обрадовался свободе. За распахнутой рамой балкона, совсем рядом свистели крыльями и дразнились неугомонные стрижи. Заметив Барсика, они стали кричать ещё сильней и презрительней, проносясь над балконом.

Молодой кот мягко вспрыгнул на кресло качалку и напрягся, глядя в небо. Его глаза горели огнём, уши прижались, кончик хвоста слегка вздрагивал. Древний инстинкт превратил его в стрелу, готовую сорваться с тетивы. Стрижи орали и пикировали чуть ли не на Барсика. И когда самый нахальный стриж чиркнул крылом перед его носом, кот яростно оттолкнулся и прыгнул…

Танечка приготовила Барсику гостинчик — сосиску. Она долго искала и звала его. Но милого котика нигде не было. Наконец она заметила, что дверь на балкон приоткрыта. Замирая от страшной догадки, Танечка бросилась на балкон. Барсика и там не было. На кресле-качалке скомкан коврик, и в его ткани застряли ворсинки от пушистой кошачьей шкурки… Танечка выглянула вниз и стала всматриваться в уже погружающуюся в вечерний мрак большую клумбу под балконом. Какой-то смутный комочек белелся среди пёстрых чернобривцев и растрёпанных астр.

— Барсик, Барсик, — срывающимся голосом закричала Танечка. Ей показалось, что комок слабо шевельнулся.

Плача, девочка пустилась на первый этаж по лестнице, не дожидаясь медлительного лифта. Одна отчаянная надежда безудержно гнала её вниз: хотя бы Барсик был жив!

Она мчалась вокруг дома к тому месту, где ей померещилось призрачное движение на старой клумбе.

— Барсик!

Жалобное, еле слышное «м-мя-у!» раздалось в ответ. Это был он.

— Барсик, миленький! — Танечка присела на корточки возле лежащего любимчика, осторожно взяла его на руки.

Котик был цел, но сильно напуган, и дрожал.

Целуя, Танечка несла его домой и приговаривала:

— Бедный, бедный Барсик, зачем ты не послушался и прыгнул за балкон… Больше никогда-никогда так не делай!

— Мур! — тихонько отозвался котик. Теперь он понял, что его хозяйка действительно очень умная и добрая девочка.

Памяти писателя...

Владимир Мостипан

(1938 — 2016)

НЕБЕСНЫЕ ВОЛНЫ

Отрывок из фенологического этюда «Грусть ли осень?!»

Свежесть — ощутимо кусается… Ковровая листва набрякла. — Приговор ей уже вступил в законную силу.

Неспешный полёт растянувшейся грачиной стаи. — На поля летят кормиться, а заодно досадить новоиспечённым латифундистам. Колхозам и совхозам почему-то не досаждали. А этим!..

Озимые так сочны, так свежи! Как тут ими не полакомиться…

Попитькали и исчезли синички.

И опять эхо-отзвук, вроде далёкого выстрела, протяжный крик вороны… Ох, уж эта всегдашняя вещунья осени! — Нет, чтобы удалиться с грачами на поля и хоть на время оставить в покое городские окрестности.

Паучков нет и в помине, а их удивительные творения все ещё выдерживают порывы не слабого ветерка. Когда — солнышко, паутинки засвечиваются и предстают пред вашим взором, как ожерелья.

Тишина. —

«Несказанная тишь поутру.
Даже листик иной не шевелится.
Где-то прячется солнечный круг.
Благодать-то, что даже не верится...»

…Кто-то «закартавил» вверху. — Вздрогнул даже. Подумал, что журавушки. Пролетали ведь раньше. Наверное, с заказника в Орловском районе. — Увы!

От редакции: Весной 2016 года ушёл из жизни наш товарищ, член Ростовского регионального отделения СП России, замечательный писатель-публицист Владимир Иванович Мостипан. Публикуемый в номере отрывок из его фенологического этюда «Грусть ли осень?!» посвящается памяти писателя.

Стайка крупных чаек. Осень и их «строит» по ранжиру. Некоторые чайки с Дона не улетают. Что вверху, — да. Потому и строятся. Потому и тренируются. У чаек то клин, то косая прямая: друг за дружкой…

…Небо волглое.

Нате! Ворона.

«...Нотки осени вороньи в хмуроватом поднебесье.

Благовест в далёком звоне. Притуманенные веси...» — Небо не обмануло. Полдня —ливневый дождь. Вкупе с ветерком, его косые струи с деревьями не церемонятся. Срывают последнюю листву и кидают её подальше от родимых дерев. Тучи ползут, низвергая каскады воды. От них «...Сумеречность тени...», и сразу же на человека наваливается чувство обречённости и отрешённости. Мысли становятся аморфными; человек погружается во вселенские думы… После таких дождей листва, особенно берёзок, сброшенная на землю, смотрится хорошо отшлифованным золотом. Заметно посвежела вторично взошедшая поросль. Чего стоит вид чистотела! Он очень свеж, зелен, воинственен. Это растеньице стоически будет переносить как выпады капризной осени, так и проказы матушки-зимы. В морозы чистотел сникает, а в оттепель, как ни в чём не бывало, снова зелен! — Словно игра в прятки: кто кого.

«...Силу крыльев обрели на болотах журавли...» — Наступает пора поздних перелётов. Для нас, южан, — это гусиные стаи. «Журавли» — образ. Речь идёт о бессчётном количестве больших и малых мигрирующих птиц.

Говоря о перелётных, подспудно всегда встаёт вопрос: «Почему?» В последнее время появилась ещё одна версия о тёплой и сказочной Гиперборее — некогда северном «рае». Не зря же на Ямале находят останки мамонтов и мамонтёнков. Вот де, мол, в генетическую память птиц «запала» эта земля, и они вновь и вновь возвращаются сюда. Возможны и другие причины, ведь: «...Какая даль, какая ширь, какая неба бездна...» А сколько воды, корма и... конечно же, лавина солнца полярным днём!

Шутка ли — круглосуточный свет. Вспоминаю полёты, по большей части в вертолётах на Крайнем Севере, — в моих глазах до сих пор «стоят» удивительные картины летней необозримой тундры, с её отодвигающимися горизонтами. Вот где воистину панорама: небесный купол с ярким солнцем, вода и твердь… вода и твердь. Иногда не поймёшь, чего больше — воды или земли. Земля вся в зелени: во мхах, в клюквенниках, северных лилиях, болотных ромашках, брусничниках, голубичниках, морошниках, осоках, пушицах...

Мне посчастливилось не только, задрав голову, встречать и провожать гусиные стаи, а побывать в местах святая святых их «воспроизводства». Будучи на севере, мне приходилось долетать до 72-ой параллели Ямала. В район осваиваемого газоконденсатного месторождения Бованенково. Ямал — могучий природный «инкубатор»! На нём обитает до девяносто двух видов птиц. — Гуси, краснозобые казарки, лебеди, почти все виды куликов, чаек и много-много других… По весне ещё холодно, ещё на реках, озёрах, болотах — лёд и лишь кое-где блюдца оттаявшей воды… а птицы уже тут.

Стаи подлетают в таком количестве, что кажется это вовсе не стаи, а тёмные небесные волны. — Заняв свои кочки, облюбованные возвышенные места, птицы, не обращая ни малейшего внимания на погоду, занимаются амурными делами…

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Главный редактор
Галина Студеникина

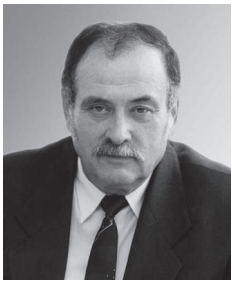
Редактор отдела
прозы-публицистики
Ксения Баштовая

Редактор отдела поэзии
Дмитрий Ханин

Корректор
Юлия Жура́влева

Вёрстка
Диана Кухмистрова

Корректор
Ольга Лозбенева



Директор издательства
«Донской писатель»
Алексей Береговой

Вниманию писателей и читателей!

Редколлегия журнала «ДОН_новый» сообщает, что с 2016 года журнал будет выходить с периодичностью — 1 номер в полугодие или 2 номера в год.